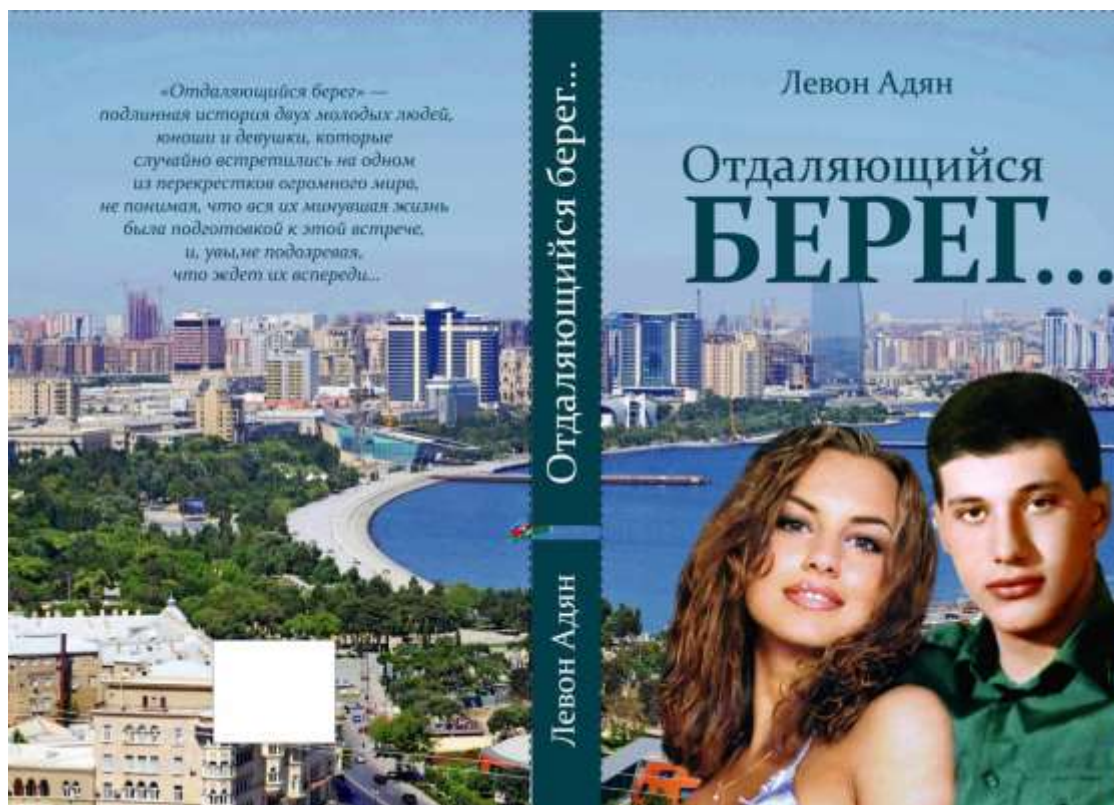




Левон Адян

ОТДАЛЯЮЩИЙСЯ БЕРЕГ

Роман

Перевод с армянского автора

О, как печально видеть глаза птицы с перебитыми окровавленными крыльями, которая напрасно бьётся ими о камень, чтобы снова взмыть ввысь — к небу и солнцу.

Амастег, западноармянский писатель

В звонке секретарши не было ничего странного. Её манера говорить и задушевно, и при этом наступательно тоже была привычной. Но то, что произошло потом, по-настоящему меня удивило.

— Сидишь себе как ни в чём не бывало дома, отдыхаешь и знать не знаешь, что к тебе пожаловал гость из Еревана.

— Любезная Арина, — с беззлобной иронией сказал я, полагая, что в эфире сейчас идёт передача, в отделе, кроме неё, ни души, вот она, скучая в одиночестве, и позвонила. — Прошу прощения, начисто позабыл доложить вам, что по устной договорённости с главным редактором я готовлю дома срочное сообщение. По всей вероятности, главный в свой черёд забыл предупредить вас об этом. Прошу покорно, будьте снисходительны, простите нас и примите искренние заверения в глубоком почтении.

Арина приходилась мне по мужу дальней родственницей. Года три назад летом явился в редакцию мой родственничек и начал с того, что женили они младшего сына на девушке из Карабаха, сноха оказалась хоть куда, хорошо печатает и в компьютере разбирается, но с армянским образованием здесь на работу не устроиться, коли можешь, дескать, помоги, с институтом у неё порядок, окончила в нынешнем году с золотой медалью. «Институтов с золотой медалью не заканчивают, — улыбнулся я, вполне, впрочем, добродушно. — Может, университет?» — «Мне-то почём знать, может, и университет, — виновато согласился дальний родственник. — Я работаю, откуда мне про такие вещи знать?» Я попросил главного редактора, возражать он не стал: «Ну, раз уж ты говоришь, не буду же я против». — «Пусть утром придёт, — сказал я, выйдя из кабинета шефа. — И пусть возьмёт документы».

Так Арина и очутилась в редакции армянских программ Госкомитета по радио и телевидению Азербайджана. С первого своего дня в редакции стройная, с нежным, хорошеньким смуглым личиком и огненным блеском чёрных глаз Арина выказывала мне явную симпатию. Хотя это вовсе не мешало с присущей ей горячностью и порывистостью потчевать меня пряностями из золотого фонда своего неисчерпаемого карабахского лексикона: ну ты и тип, где тебя вчера носило? Или: ты с кем это ласы точил, битый час дозвониться не могла.

— Что за гость? — спросил я, чувствуя, что Арина не одна, иначе вряд ли она молча проглотила бы мои беззлобные укольчики.

— Я же сказала — гость из Еревана, — прикидываясь обиженной, ответила она. — Ереван — это столица Армении.

— Молодец, — откликнулся я, — просветила. Передай ему трубку.

— Здравствуйте, Лео, — послышалось в телефоне после паузы. — Меня зовут Армен, Армен Арутюнян, я начинающий поэт. Привёз вам привет от Авика Исаакяна, внука великого нашего поэта Аветика Исаакяна, — скороговоркой протараторил незнакомый мне голос. — Видите ли, сегодня мне непременно надо вас повидать; это что-то вроде мечты, она должна исполниться, мне, Лео-джан, нужно встретиться с вами, у меня важный разговор, не телефонный, сами понимаете. По словам Авика, здесь, вдали от родины, ты, Лео-джан, чего уж тут скрывать, единственный, кто способен протянуть мне руку помощи. Могу я прямо сейчас зайти к тебе? Девушки в общих чертах объяснили мне, где твой дом. Замечательные девушки, между прочим, сама любезность и добропорядочность. Вы ведь живёте по соседству с иранским консульством, верно?

— Верно, — невольным эхом отозвался я, мало что поняв из его скороговорки. — Дом тридцать, второй подъезд, квартира шестнадцать.

Не прошло и четверти часа, как Армен позвонил в дверь. Улыбчивый, плечистый, он производил приятное впечатление.

— Вы впервые в Баку? — спросил я, чтобы хоть что-то сказать. Предложил ему присесть и принялся готовить кофе.

— Впервые, — кивнул Армен. Сесть он не сел, предпочёл пройти по моему жилью и внимательно его осмотреть. — Я здесь меньше недели, остановился у родственника в Баилове. В огромном городе живёшь, Лео-джан, замечательном, беспокойном, жизнь здесь ослепительная. Жить в большом городе — счастье. А море! Море, оно чего угодно стоит! Я прямо-таки влюбился в Баку, честное слово, полюбил его всем сердцем, и если дела мои пойдут на лад, я его сто лет буду помнить. Правильно сказал Маяковский, есть в нём что-то такое, что тянет людей, притягивает. — Армен присел на краешек дивана, тут же поднялся и снова зашагал. — И ведь это был армянский город, Лео-джан, армянский, как и Тифлис в своё время. Слышал анекдот? — он остановился. — Армянский народ — хороший народ, говорит езид. Построили Тифлис — отдали грузинам, построили Баку — отдали азербайджанцам, достроят Ереван — нам отдадут, а сами уедут в Америку. Здорово, да? — он засмеялся. — Познакомился я вчера с пастырем здешней армянской церкви Арабачяном. Показал он мне старые, до 1914 года, церковные книги. Так вот, даже после погромов пятого-шестого годов на территории нынешнего Азербайджана насчитывалось миллион сто двадцать три тысячи армян, в одном только Карабахе действовало двести двадцать церквей. В сентябре восемнадцатого года турки по вине Сталина взяли Баку. По дороге громили и грабили армянские сёла, сотни сёл от Нухи до Шемахи, который, между прочим, до тридцатого мая 1859 года, когда там случилось землетрясение, был заметным армянским центром. И во всём этом, Лео, виноват Сталин. Весной восемнадцатого года с подачи Шаумяна на него как агента царской охранки завели уголовное дело. Через своего друга, главаря мусаватистов Мамед-Эмина Расулзаде Сталин, понятно, пронюхал это и поджидал удобного случая, чтоб отомстить. Случай вскоре подвернулся. Летом того же восемнадцатого года англичане с одной стороны, турки и немцы — с другой всеми мыслимыми и немыслимыми способами стремились овладеть городом. По приказу Троцкого, тогдашнего российского наркома по военным делам, Сталин из Царицына, где он в ту пору находился, должен был в кратчайший срок отправить против турок девяти тысячную дивизию Петрова. Ты знал это? Так он не только не выполнил приказ Троцкого, не только послал вместо дивизии небольшой отряд под началом того же Петрова, но и продовольствие и вооружение, добытые с величайшим трудом и предназначенные для Баку, отправил вовсе не туда, по сути дела обрёк Баку на верную гибель. На глазах всего человечества целый народ подвергался грабежу, уничтожению, и никто не возмутился, не вмешался. — Армен замолчал, долго смотрел в окно, потом, поворачиваясь ко мне, сказал упавшим голосом: — Если Баку не был армянским городом, почему двадцать второго августа того же восемнадцатого года, то есть за двадцать дней до погромов, ультиматум главкома турецкими войсками Мурсала и начальника германского генерального штаба Паракена был предъявлен именно Бакинскому Армянскому Национальному Совету об условиях сдачи Баку без боя? А может, ультиматум преследовал иную цель: чтобы всю вину за преднамеренный геноцид взвалить именно на армян — жертв этой вакханалии... Конкретно здесь три дня и три ночи и ещё два последующих месяца, пока сюда не вошли англичане, город был охвачен убийствами, грабежами, погромами армян, — тем же упавшим голосом продолжал он. — Только материальный ущерб, нанесённый жителям, согласно данным контрольной комиссии, которую создали при английском командовании, составил миллиард рублей золотом. Было убито тридцать тысяч армян, по данным этой же комиссии, около десяти тысяч без вести пропали, из них сто сорок две жертвы — девушки и малые дети. А на месте нынешнего парка имени Кирова было большое армянское кладбище, Арабачян сказал, что эти тридцать тысяч там и похоронены. По его словам, раньше там стояла армянская часовня святого Воскресения, большевики разрушили её. Так же, как разрушили не только церковь, построенную царём Вачаганом, где в 1806 году армяне отпевали выброшенное в мусорный бак обезглавленное тело генерала Цицианова, убитого Бакинским ханом, но и ещё пять армянских церквей города, но и ту, что была у Девичьей башни, ту, что в Арменикенде, и ту великолепную церковь в самом центре города, воздвигнутую в 1911 году по проекту архитектора Тёр-Ованнисяна, одно из самых больших армянских церковных сооружений. Его, как говорят, около трёх лет рушили, применяли даже танки, прочую технику, но всё без толку. И тогда крестообразное здание консерватории имени Узеира Гаджибекова, это и ты, наверное, знаешь, воздвигли на чудом уцелевших капитальных стенах этой церкви. Если бы нам кто и мог протянуть руку помощи, Лео, то только февральская революция, но большевистский переворот сокрушил все надежды. Я тебе вот что скажу, большевики нам много вреда причинили. Очень много! Не зря Аветик Исаакян сказал, что ни иттихад, ни царизм, ни Германия с Антантой так основательно не разрушили наш дом, как большевики. Это зверское движение со всеми своими сподвижниками — они-то и привели турок в Баку... — Армен умолк и какое-то время молча расхаживал по комнате. — Я говорил с твоим главным редактором, — неожиданно поменял он тему, — вроде бы неплохой он парень, этот Владимир Абрамян, а, Лео? Он меня понял, но попросил переговорить с тобой. Ну, вот я и пришёл. Дело, Лео-джан, касается убийства.

Я в изумлении уставился на него: „Что-что?..“

— На почве ревности, — спокойно пояснил Армен. — Словом, чего мне скрывать, секретарь райкома нашего Вардениса положил глаз на мою жену. Она у него работала... Мне передали. Ну, а я решил покончить с ним. Такая вот

проблема. Милиция, прокуратура, понятное дело, для секретаря райкома все они свои люди. Короче говоря, отец и мать бросились в ноги, просили, умоляли, чтоб я не делал этого, послали сюда, к родственникам, от греха подальше.

— А жена?

— Жена... — Армен нахмурился, покачал головой. — Что тебе сказать? Красивая она, чертовка, очень красивая.

Он глубоко вздохнул и снова покачал головой.

— Ах, Шогик, Шогик... Её я отвёз в Масис, ну, ты знаешь, близ Еревана, к родителям. Такие вот дела, брат... Я задержусь здесь месяцев на семь-восемь, за это время хотелось бы выпустить книгу, небольшой сборник стихов, рассчитываю в этом, Лео, на тебя. Понимаешь, мне нужна моральная поддержка. Хочу вернуться в Ереван с книжкой в руках. Верней, в Масис. А ещё организовал бы ты передачу по радио, это, думаю, нетрудно.

— Если стихи хорошие — без проблем.

— Прочешь?

— Прочти.

— Стихи посвящены Карабаху. Патриотические, так сказать, стихи, — сказал Армен и принялся с воодушевлением декламировать:

Чем край, в котором он растёт
нагорней, непокорней,
Чем дальше от своей родни,
тем он сильней, упорней,
Тем гуще ветви у него,
тем глубже, крепче корни,
Тем соком жизни он полней,
армянский тополь наш.
Чем горше дни его, ведь он
один на горной круче,
Чем больше бьют его дожди,
и молнии, и тучи,
Тем тянется упрямей ввысь,
красивый и могучий,
Тем выше он и зеленей,
армянский тополь наш.
Ввысь тянется из-под скалы,
стремится к небу рьяно,
Чтоб видным быть, чтоб слух о нём
дошёл до Еревана,
Мол, погляди, я был и есть
и буду постоянно,
Чтоб ни случилось, верь и знай,
армянский тополь ваш.

Он взглянул на меня. Таинственно улыбнулся.

Я молча смотрел на Армена.

Отец Армена говорил об этих стихах — они не просто о тополе, нет, о карабахском тополе, тот, словно человек, целеустремлённый, упрямей и выше. Место у него тесное, со всех сторон его продолжают теснить, а он всё равно тянется вверх над ущельями и горами, чтобы разглядеть тополь, растущий в Араратской долине, и чтобы тополь Араратской долины заметил его — такой же армянский тополь из армянского Карабаха.

— Что скажешь?

В эту минуту я достал из серванта бутылку коньяка «Апшерон».

— Сам не пробовал, — уклончиво ответил я, не глядя на него. — Говорят, неплохой. Гейдар Алиев лишь «Апшерон» и пьёт, сам видел.

— Ну ты даёшь, — усмехнулся Армен. — Я ведь о стихах.

Ситуация сложилась щекотливая. Помявшись, я произнёс:

— Знаешь, в 59-м году, когда Сильва Капутикян приехала в Карабах, мой отец учился в десятом классе. По его словам, она как раз тогда и написала это стихотворение. Сама сказала про это на встрече со школьниками.

Мне показалось, Армен смутился. Но его замешательство длилось долю секунды.

— Ну и ну, — как ни в чём не бывало произнёс он. — Выходит, я заучил наизусть чужие стихи. Знал, что ты коренной карабахец, оттого и прочёл. Карабахцы, скажу я тебе, сильный народ. Недаром Магда Нейман превозносит их до небес. Ты читал?

— Конечно.

— Говоришь, «Апшерон» неплохой коньяк? — Меня уже не удивляло, что он поминутно перепрыгивает с темы на тему. Он потёр ладони. — А ну налей, поглядим. Сталин тоже писал стихи. «Распустилась роза, нежно обняла фиалку, и жаворонок заливается под облаками».

На следующий день к концу работы Армен появился в редакции. Он был не один. С девушкой, увидав которую, я непроизвольно поднялся со стула и, заворожённый поразительной её красотой, так и обмер.

Армен заметил это и тотчас воодушевился. Девушке было с виду лет семнадцать-восемнадцать, белое под стать белейшей её коже платье туго обтягивало тонкий стан. Золотистые с каштановым отливом блестящие волосы мелкими волнами падали на плечи, тонкие стрелы бровей, красивый нос с чувственными ноздрями, алые, живописно очерченные и слегка припухлые губы дополняли картину. Глаза же... синие её глаза по-весеннему нежно лучились, устремляясь то на меня, то на Армена.

— Лавна чэ, шан агджикы?¹ — по-армянски сказал Армен.

— Лавикна², — согласился я, всё ещё не в силах оторвать от неё глаз.

— Что он говорит? — девушка с улыбкой посмотрела на меня; необыкновенную прелесть придавал ей жемчужный ряд зубов, особенно же — два передних, как у Орнеллы Мути, с едва приметной щербинкой.

Ответить я не успел. Армен подошёл ко мне и, приобняв за плечи, торжественно представил девушку:

— Махмудова Рена, студентка третьего курса медицинского института, первая красавица Баку.

Рена негромко рассмеялась и, сияя лучистыми своими глазами, протянула мне слабую руку. Я не хотел какое-то время выпускать её нежные холодные пальцы с перламутровыми ногтями и, не мигая, взирал на неё, словно стремился навсегда запечатлеть колдовскую прелесть этого светозарного лица с его девичьим, немного даже детским выражением.

— Да отпусти ты её руку, — рассмеялся Армен; он получал видимое удовольствие от эффекта, произведённого на меня девушкой.

Рена села напротив меня, по ту сторону стола, закинув ногу на ногу, как бы намеренно демонстрируя гладкие, будто выточенные из мрамора, колени.

— Садитесь, чего вы стоите? — певуче произнесла она, взглядом убеждая подчиниться. Как будто, чтобы непринуждённо чувствовать себя в собственном кабинете, требуется чьё-то позволение либо понуждение.

Она откинула голову назад, волосы взметнулись и сызнова легли волнами на плечи.

— Ты не против, если я позвоню в Ереван? — спросил Армен и, не дожидаясь ответа, подтянул к себе телефон, достал из кармана записную книжку и положил на стол. — Смею надеяться, ваш телерадиокомитет не бедствует и государство не обанкротится от одного-двух моих звонков.

— Звони, о чём речь? — кивнул я и, чтобы не стеснять его, вышел из кабинета.

Шефа не было, должно быть, ушёл домой. Редактор отдела последних известий Лоранна Овакимян — лет около тридцати, высокая, стройная, совершенно не похожая на армянку, — склонившись над столом и упрямо сжав чувственные губы, редактировала текст. Сложением она смахивала на Мадонну, да и волосы у неё были рыжеваты, как у этой заокеанской звезды. Ходили слухи, будто прежний главный редактор, одно время без памяти в неё влюблённый, посвятил ей множество стихов. Я как-то не вполне серьёзно поинтересовался, насколько правдива эта история. Лоранна не подтвердила, но и не опровергла слухов и со смехом сказала: «Влюблённый старикан — одно из величайших недоразумений природы».

Теперь этот прежний главный редактор уже с месяц является к концу дня в угловую Аринину комнатку и, устроившись поудобней, диктует свои мемуары.

— Что это у тебя за девица? — не отрываясь от работы, издали начала Арина.

Прежний шеф обернулся и, увидев меня в дверях, вежливо поприветствовал.

— Знакомая твоего душевного друга Армена, — сказал я. — Ещё вопросы?

Арина выкатила на меня большие чёрные глаза, но смолчала.

— Мне-то показалось, он эту девицу тебе привёл. — Она всё-таки не сдержалась и куснула меня.

— Да, есть у него такая мыслишка, — равнодушно подтвердил я. — Тебе она что, не по вкусу?

— Эффектная девушка, — вмешалась Лоранна. — Они до тебя зашли сюда, Армен сказал, что она азербайджанка, в медицинском учится. Редкая красавица, настоящая топ-модель. Я женщина, и то диву далась. Знаешь, Лео, когда Гагарин увидел Землю с орбиты, только и выдохнул: «Ну и красота!» Вот и я то же самое подумала, глядя на неё. А ещё Фета вспомнила: «Есть ночи зимней блеск и сила, есть непорочная краса».

— Где этот изменник нации её выискал? — любопытствовала Арина и, встав из-за стола, подошла к нам. — Извините, Самвел Атанесович, я подустала, — бросила она через плечо. — Того гляди давление подскочит.

¹ Хороша, нет, чертовка? (арм.).

² Хорошенькая (арм.).

Лоранна прыснула — знала, только лишь Арине расхочется печатать, у неё тут же подскакивает давление. По спецзаказу.

— Ну, что на это скажешь, — уныло произнёс экс-главный. — В понедельник продолжим.

— В прошлый раз Армен интересную вещь сказал, — засмеялась Арина, — мужчины, дескать, любят глазами, а женщины ушами.

— А по-моему, — возразила Лоранна, — мужчины слушают ушами, а женщины — глазами. Те — чтобы понять, о чём им толкуют, а эти — чтобы понравиться всякому, с кем говорят.

— А ещё Армен сказал: если дышишь, значит, любишь, если любишь, значит, дышишь. Это очень верно, потому что без любви жизни нет и быть не может. У кого-то я прочла, ах да, у Блока: «Только влюблённый имеет право на звание человека». Армен говорит, будто в Индии, когда девушка выходит замуж, ей ставят на лбу красную метку. Правда?

— Правда, — подтвердил я. — А жениху дарят снайперскую винтовку — чтоб они вместе состарились, верные друг другу.

— Да ну тебя! — отмахнулась Арина, но в голосе у неё прозвучала нотка восторга. — Армен ещё говорит...

— Послушай, — прервал я её, — у тебя Армен с языка не сходит. Уж не ревнуешь ли? Вообще-то не ревнует тот, у кого не осталось надежды. Знаешь, из чего состоит ревность? Из ущемлённого самолюбия и малой дольки любви в нём.

— Муж ревнует — стало быть, любит, а не ревнует — стало быть, ещё ничего не знает, — засмеялась Лоранна. Но Арина и бровью не повела, её занимал я.

— Самолюбие... Ну да, ревную, ты-то как догадался? — Глаза Арины яростно сверкнули, но она сдержалась, и в уголке рта заиграла сдавленная усмешка. — Между прочим, он меня приглашал в ресторан. — И повернулась к экс-главному: — Не надо думать о смерти, потому что бессмысленно думать о неизбежном. Бальзак сказал, что нужно стремиться к прекрасному. Так что думать надо о жизни, Самвел Атанесович, о хорошем и красивом.

— Это вам, Ариночка, положено думать о хорошем и красивом, — разъяснил экс. — Мы живём исключительно воспоминаниями, потому что, когда старость одолевает, не только лишаемся способности думать о хорошем и красивом, но и теряем на это надежду. Ты что, не читала моих стихов: «Ах, проводи меня до дому, почувствуй дрожь моей руки, тогда и ты поймёшь однажды, о чём тоскуют старики»? Так-то во-от, — тягуче произнёс он и, украдкой глядя на Лоранну, добавил: — Старики — всё равно что увядшие цветы, а кто ж их, увядшие цветы, любит?

— Что случилось, Самвел Атанесович? — спросил я. — Что за упадничество, что за пессимистические разговорчики?

— Не знаю, что и сказать, Лео, — бывший шеф снял очки в поблёскивающей жёлтой оправе и принялся вытирать стёкла. — Я тут просил совета у наших девушек... Понимаете, вот уже тридцать лет состою депутатом Верховного Совета республики, в последний раз меня даже членом Президиума сделали. Ясно, что как умру, меня похоронят в правительственном пантеоне. Но ведь жена-то моя похоронена на армянском кладбище, у стадиона. И на что ж это похоже — она там, я тут?

— Обратитесь в ЦК, пусть после вашей смерти её перенесут к вам, — посоветовала Лоранна.

— Да нет, — с сомнением произнёс экс. — По-вашему, они согласятся? — он вопросительно посмотрел на меня. — Это реально?

Наш внештатный переводчик Сагумян, деликатный старичок с короткой бородкой и тихим голосом, сидя за столом в глубине просторной комнаты, переводил официальный материал телеграфного агентства для вечернего выпуска радионовостей. Он оторвался от своих бумаг, на минутку перевёл взгляд на экс-главного и сокрушённо покачал головой. А я никак не мог взять в толк, о чём, собственно, идёт речь.

— Или наоборот, — вмешалась Арина. — Пускай вас перенесут к ней. Только и это бесперспективно. Пантеон есть пантеон...

Лоранна зажала рот ладонью, чтобы не фыркнуть. Я укоризненно глянул на Арину: что ты мелешь!

— Ну, я пошёл, — сунув папку в авоську, сказал бывший. — Заказал продукты в распределителе. Принесут, а меня нет, унесут обратно. — И, повернувшись ко мне, небрежно сказал: — Давненько, Лео, вы не даёте моих литературных опусов. Ни по телевидению, ни по радио. Неужто уровень у меня ниже, чем у Кости Хачаняна, а ведь его-то стихи у вас не залёживаются. У меня есть кое-что новое, те, кому я это показывал, одобрили. Мне хотелось бы выступить. Если надо, поговорю с Владимиром.

— Не надо, — сказал я. — Занесите, дадим в конце месяца.

— Спасибо, — поблагодарил он, и в его голосе послышалось подобострастие. — А то ведь мои читатели подумают, что я умер.

Он попрощался и, помахивая авоськой, ушёл.

— Гляньте-ка, как он присмирел. Ну и притвора, — неприязненно прокомментировал этот диалог Сагумян. — Жизнь прожил, целую жизнь, а ни войны, ни тюрьмы, ни ссылки не видел, всё его миновало, не то что других. Всегда был обеспеченным, как сыр в масле катался. Страна рушится, а ему только бы перезахоронить жену в пантеон. А ведь она, между прочим, обыкновенным врачом была.

— Каждому своё, — с горькой иронией сказала Лоранна. — Нет у человека других забот. Дочь устроена в Ереване, сын в Москве, живут как у Христа за пазухой, о чём ему тревожиться. В магазинах хоть шаром покати, а ему всё готовенькое по заказу приносят. «Назовите-ка цифру — сколько наших часов, бессчётных и неисчислимых, улетели-канули в простые и тяжкие времена по очередям и шествиям». Паруйр Севак, земля ему пухом. Вчера ради полкило сосисок простояла четыре часа.

— Зато республика что ни год перевыполняет планы и получает переходящее красное знамя. Чего же тогда в магазинах-то шаром покати? — съязвил из своего угла Сагумян, оторвавшись от перевода.

— В курсе ли ты, Арина, — обратился я к ней, — что сказал о тебе Цицерон?

— Обо мне? — она ткнула себя в грудь. — И что же?

— Он сказал — держи язык за зубами, коль скоро то, что ты собираешься сказать, не лучше молчания. Или что-то в этом роде. О чём ты толковала? Какие такие перспективы у покойника? Ты говоришь, а потом думаешь, или всё-таки наоборот?

— Ты о чём, я что-то не соображу. — В глазах смешинки, улыбка не сходит с лица, сверлит меня взглядом.

— О чём? Видишь ли, люди, помимо всего прочего, отличаются друг от друга ещё и тем, что некоторые сперва думают, а потом открывают рот, а другие несут без разбору, что в голову взбредёт. Ты себя к какому типу относишь?

Те же смешинки в глазах, та же улыбка в пол-лица.

— Опять не дошло?

— Нет. — Арина тряхнула головой, по-прежнему не сводя с меня глаз.

— Хотелось бы знать, что ты без конца печатаешь, из-за чего тронулась умом?

— Воспоминания, — с готовностью ответила она. — Книгу воспоминаний о людях, которых Самвел Атанесович видел... и не видел.

— Обычно в книге воспоминаний автор описывает свои личные впечатления о встречах с каким-либо примечательным человеком, — бесстрастно сказал я. — А рассказывать о тех, кого никогда не видел, — это что-то новенькое.

— Новенькое, — раздражённо хмыкнула Арина. — Мне-то почём знать. Он пишет, я печатаю, вот и всё.

— Да нет, он пишет оттого, что ты печатаешь. Это твоя вина, — с серьёзным видом изрёк я. — Откажись ты печатать, он бросит писать.

— Бросит писать... Так что же выходит, оставим книгу на полуслове? — Арина растерянно смотрела на меня.

Лоранна сказала ей сквозь смех:

— Помолчи ради бога, у меня сил нет смеяться.

— А что касается ресторана, то непременно сходи, — посоветовал я. — Не то парень обидится.

— Парень обидится. Уф... — состроила рожицу Арина. — Хорош родственничек, нечего сказать.

Изображая оскорблённую невинность и вонзая каблочки в паркет, она устремила в свою комнату. Я в приподнятом настроении вышел в коридор и направился к себе, с каким-то странным восторгом предвкушая, что сейчас увижу Рену.

Армен уже закончил говорить по телефону, положил трубку и сказал:

— Спасибо, Лео, я позвонил.

Рена просматривала газету, потом отложила её, на мгновенье задержала взгляд на мне и неуверенно произнесла:

— Это правда, что у вас сегодня день рождения?

— У меня?

— Или он выдумал? — Рена подозрительно покосилась на Армена.

— Вот что, Рена, — медленно начал Армен, строя в мою сторону гримасы: мол, подыграй мне, но, видя, что из-за моего тугодумия либо несообразительности его затея пойдёт насмарку, решительно взял инициативу в свои руки и затараторил: — Видишь ли, милая Рена, дело в том, что у нас в Армении существует издавна почитаемая традиция — накануне дня рождения пойти в ресторан на так называемый пробный день рождения, ну, или, скажем, в кафе. Там за чашечкой кофе, стаканом коктейля или бокалом шампанского мы обсуждаем, как провести мероприятие, чтобы, так сказать, не нарушить давно укоренившийся в народе обычай. Моё предложение — следует соблюсти этот священный старинный обычай. У нас видят в нём едва ли не закон.

— Здесь ничего такого не существует, — простодушно сказала Рена.

— Здесь нет, а там да, — отрезал Армен и встал. — Словом, милая Рена, не будем терять время понапрасну и обижать Лео, он, уж будь уверена, достоин хорошего к нему отношения. Идём в «Новый интурист», он вроде бы недалеко. Ну а что там пить, кофе или, к примеру, шампанское, разницы никакой.

Рена попыталась деликатно воспротивиться:

— Простите, прошу вас, я не могу... Вы ведь сказали, что мы поднимемся всего на две минуты. Вы попросили...

— Нет, нет, — продолжил ломать комедию Армен, — нельзя игнорировать старинный обычай братского народа. Нет, нет и нет, я обижусь, Рена-джан, честное слово, обижусь, Лео тоже обидится. Лучше бы позвонила кому-нибудь из своих

подружек, но так, чтобы девушка была на славу и понравилась Лео. Ты говорила, что у тебя есть подружка-армянка, зовут её, помнится, Римма, твоя однокурсница. Красивая?

— Красивая. Только какое это имеет значение? Всё равно с незнакомыми ребятами она никуда не пойдёт. Я...

— Послушай, поначалу все друг с другом не знакомы, что за беда? — гнул своё Армен. — Твоё дело позвонить. Если откажется наотрез, позвони другой подружке. Посидим, послушаем музыку, отвлечёмся на час-другой от будничной суеты. Тем более, впереди суббота и воскресенье. Я, по-твоему, не прав? Если не прав, так и скажи. Позвони, Рена, старших надо слушаться. Лео, дай сюда телефон. О расходах не беспокойтесь, всё беру на себя. Приглашаю вас.

У Рены были в эту минуту беспомощные глаза.

— Прекрати, Армен, не надо никуда звонить, — внезапно вырвалось у меня. — Мне не хочется.

— Вот те на! Чего тебе не хочется? В ресторан идти? Не понял, — напирал на меня Армен. — Ты что, не губи дело! — воскликнул он по-армянски. — При таком друге, как ты, и враги ни к чему. Не слушай его, Рена, звони.

— Повторяю, Рена, не надо никуда звонить, — на сей раз уверенно, без колебаний сказал я. — Мне, даю слово, никто не нужен. — Я чуть было не добавил: кроме тебя, — но, слава Богу, сдержался.

Рена словно бы прочитала мои мысли, в её синих глазах блеснул озорной лучик.

— Ну, стало быть, пойдём втроём, — тут же решил неуступчивый Армен.

Ровно через полчаса он уже провозглашал тост:

— По-моему, не правы те, кто грустит от мысли, что через сто лет их не будет. Это то же самое, что плакать и стенать от мысли, что тебя не было сто лет назад. А вот что говорит по этому поводу Омар Хайям: «Пока мира не открыли двери, он вовсе не испытывал потери. Ну а не станет нас, то и тогда не обеднеет мир по крайней мере». Главное — нынешний, текущий день, а посему давайте выпьем за день, который мы сию минуту проживаем, за эту самую минуту, когда мы сидим здесь и вместе радуемся. На высоком утёсе были высечены письма. Богатые, читая их, плакали от горя, бедняки радовались, а влюблённые воздавали должное каждому совместно проведённому мгновению. Между тем на высоком утёсе была высечена простая и ясная фраза: всё это временно. В жизни, конечно же, сладостных дней будет немало, невозможно, чтоб их не было вовсе, пусть же в ряд этих счастливых дней попадёт и этот — день нашего знакомства. Хороший день, честное слово. Твоё здоровье, Рена-джан, будь всегда такой красивой и желанной. И за тебя, Лео-джан, и за меня, и за этот день, и за этот миг.

Весь второй этаж «Нового интуриста» занимали рестораны, уставленные зеркалами, устланные и увешанные коврами с восточным орнаментом, разукрашенные сценками из сказок. Собственно, они, эти рестораны, соответствующим образом и назывались: «Ковровый», «Восточный», «Зеркальный», «Хрустальный».

Мы сидели в «Восточном», который находился в правом крыле гостиничного здания, чьи высокие и широкие окна смотрели на море. Морские волны играли под вечерним солнцем.

Повсюду звучала музыка, по большей части турецкая, которая за последние два года стала массовой. Изюм всех уголков города от приморского парка до дальних предместий доносились голоса турецких певцов Якуба Зуруфчи, Тезджан, Седен Гюлер, Таркан...

Оркестранты переключились на танцевальную мелодию: «Хау ду ю ду, мистер Браун, хау ду ю, ду ю, ду...»

— Это справедливо, Лео? — прикуривая от зажигалки, Армен повернулся в кресле. — Мы вдвоём сидим с одной девушкой, а вон там, — он кивнул на компанию в двух-трёх столах от нас, — там целый девичий цветник, и с ними двое мужчин. Надо бы одну из этих девушек пригласить к нам. Посмотри, какая хорошенькая брюнетка танцует. Если нравится, я мигом приглашу её за наш столик.

По круглой танцплощадке в бурно льющемся из прожекторов потоке света всех цветов радуги кружились парочки. Особо привлекала внимание одна из них — полноватый парень и стройная брюнетка. Танцевали они самозабвенно и порознь, не касаясь один другого, но не отрывая друг от друга взглядов; улыбка не сходила с их лиц.

Мелодия оборвалась, однако, едва парочки разошлись, грянула новая.

— Спрашиваю последний раз, Лео, потом пожалеешь.

Рена пригубила шампанское и выжидательно посмотрела на меня.

— Я-то при чём? Тебе надо, ты и приглашай.

Армен вскочил с места и, огибая столы, направился через весь зал.

— Одиссей двинулся завоёвывать Трою, — пошутила Рена.

Спустя минуту брюнетка уже танцевала с Арменом. Он, должно быть, говорил ей что-то забавное, потому что она без удержу смеялась, иногда склоняя голову к его плечу.

— Я хотела бы позвонить домой, — сказала Рена, слегка подавшись вперёд. — Интересно, телефон-автомат здесь есть? — Её лицо выразило озабоченность. — Наши могут беспокоиться. Я достал из-за пояса радиотелефон, ещё не вошедший в широкий обиход, включил и протянул ей, про себя радуясь, ибо домашний её номер останется в механической памяти. Избавленная от необходимости искать, откуда позвонить, Рена с благодарностью взглянула на

меня. Взяла трубку, стала нажимать кнопку за кнопкой. Подождала, пока на другом конце провода откликнутся, и заговорила. Музыка заглушала её голос, и я видел только, как время от времени на красивых её губах расцветала улыбка.

Рена закончила разговор и, в хорошем расположении духа возвращая телефон, произнесла:

— Спасибо. Я предупредила, что немного задержусь. Они уже начали беспокоиться.

Музыка затихла. Приобняв девушку за обнажённые плечи и лавируя между столиков, Армен приближался к нам.

— Нет, это не Одиссей, — со смехом сказал я Рене, — а сын царя Трои Парис. Он похитил Елену и везёт её из Спарты в родные пенаты. И если тот вон увалень — Менелай, муж Елены, то наша гибель неминуема.

Прямо перед этим Армен с брюнеткой, явно подвыпившей и оттого покрасневшейся, подошли к нашему столику.

— А не начнётся ли у нас война ахейцев с троянцами? — спросил я.

— Какая война? — не понял Армен.

— Ты хотя бы поинтересовался, она одна или с мужем?

— Нашёл труса, — хмыкнул в ответ Армен и показал мне большой палец, мол, всё в ажуре. — Знакомьтесь, Маргарита Войтенко, — представил он девушку. — Знали б вы, через какие препятствия я прошёл, одолевая непреклонность очаровательной Маргариты. Ни за что не соглашалась присоединиться к нам. Нет, нет и снова нет.

— Неправда, — замотала головой новая знакомая. — Вздор. Я по доброй воле и в охотку пришла к вам. И, глядя на ваш стол, вижу, что вовсе не ошиблась. — Она рассмеялась и протянула руку сперва мне, затем Рене. — Боже мой, глаза разбегаются: чёрная икра, красная икра, шашлык, цыплёнок табака, ананас... Пир горой, роскошь! ОБХСС не боитесь? Вы что, иностранцы, не слыхали про наши временные трудности? Быстренько усади меня, Армен, я чего доброго упаду в обморок.

Мы посмеялись.

— Минутку, Маргарита-джан, минутку. — Армен бесцеремонно пихнул меня коленом. — Подвинься, — пояснил он по-армянски, — для тебя же стараюсь.

— И напрасно, было же сказано.

— Ну-ка, ну-ка, — внезапно перешла на армянский Маргарита. — Я для вас что, товар на продажу?

Рена с недоумением взирала на нас, не понимая, что происходит, а мы с Арменом попросту оторопели.

— Прости великодушно, Маргарита, — принялся забалтывать девушку Армен, — мне и в голову не пришло, что ты армянка и знаешь язык.

— Не было повода раскрываться, — пожала плечами девушка. — У человека был сын, от рождения немой. Отец, понятно, горевал из-за этого. Пошли они как-то в лес по дрова. Рубит отец дерево, на шаг отступит посмотреть, куда оно рухнет, и снова рубит. И вдруг слышит истошный вопль мальчонки: «Папа, берегись!» Отскакивает, окидывает взглядом упавший бук и растерянно спрашивает: «Отчего же ты до сих пор не говорил, коли можешь?» — «Повода не было», — отвечает сын. И у меня повода не было, — развела руками Маргарита. «Ты армянин, армянка я, и да продлится жизнь твоя», — пропела она, ухватив Армена за локоть. — Ты меня сюда пригласил, значит, я с тобой рядом и сяду. — Лео, — распорядилась она, — пересядь, пожалуйста. Надеюсь, ты не против? — и она подняла глаза на Армена.

— Разумеется, — с готовностью согласился Армен, не видя другого выхода. — Мы же веселимся, а не конфликтуем. Лео, дорогой, пересядь к Рене. Коли Маргарита повелевает, наше дело подчиняться. — И он покорно наклонил голову. — Огонь, а не девушка. Я армянин, армянка ты, бокалы наши налиты. Лео пьёт коньяк, Рена шампанское, я водку. А ты, душа моя, что предпочитаешь?

— А мне всё по вкусу, не знаю, на чём и выбор остановить, — задумалась Маргарита. — Ладно, налей водки.

— Водки так водки. Я сел по соседству с Реной, на место, которое занимал Армен. Официантка переставила наши с ним приборы, принесла что нужно новой нашей даме. Я порадовался неожиданной этой рокировке и с благодарностью тайком подмигнул Маргарите, а плутовка сразу смекнула, в чём дело, и протянула мне ладонь — мол, хлопни по ней в знак взаимопонимания.

Мы не спеша вкушали ресторанные яства, перемежая их шутками-прибаутками.

— Женщины зависят от мужчин, от их с нами обращения, — сказала Маргарита. — Но коль скоро женщина независима по натуре и уверена в себе, то ей нужен не просто надёжный и успешный спутник, а тот, кого она сама для себя выберет. Именно так, а не наоборот.

Армен торжественно поднял бокал.

— Итак, ветер и солнце поспорили, кто быстрее разденет женщину. Ветер принимается что есть мочи дуть, а та знай кутается в одежду. Но вот восходит солнце, сияющими своими лучами разогревает небо и землю, и женщина, не в силах противиться зною, снимает платье. Солнцу приносит победу тепло. Предлагаю последовать его примеру. Выпьем же за здоровье наших милых Рены и Маргариты и за наше с Лео тёплое к ним отношение.

— Прекрасный тост, — одобрила Маргарита. — Развивая же свою мысль, добавлю, что неизменно чувствовала себя свободной, у меня во всех ситуациях есть своё мнение и собственный взгляд на вещи. Кстати, знаете, почему Бог создал нас, женщин, сколь обольстительными, столь и глупыми? — она кокетливо указала на Рену и себя. —

Обольстительными, чтобы вы нас любили, ну а глупыми, чтобы мы любили вас. Одним словом, так и быть, выпьем в моём и Рены лице за женскую красоту, а ещё — за вашу неисчерпаемую щедрость. А насчёт того, чтобы раздеться, то я вовсе не против. Готова прямо сейчас.

Армен захлопал в ладоши.

— Выпьемте за тех мужчин, которые пьют за нас и в наше отсутствие, — несмело произнесла Рена, бросив на меня пронзительный и, как мне почудилось, ласковый взгляд. — Нет, — поправились она, — выпьемте за тех мужчин, которые и без нас выпьют за нас. Ах, нет, нет, — она с изяществом покачала головой, снова бросила на меня мимолётный взгляд, покраснелась, обворожительно засмушалась. — Выпьемте за тех мужчин, которые мысленно пьют за нас.

Оркестр заиграл новую мелодию: «Грустной песней своей я красавицу не разбужу, сладкий сон её не потревожу...» Медленное танго. Дамы приглашают кавалеров. Маргарита потянула Армена на танцплощадку.

Рена подняла на меня глаза, небрежно откинула волосы с широкого красивого лба.

— Пойдёмте. — Она ласково вложила руку в мою ладонь. Я сжал её пальцы, и мы рука об руку встали из-за стола.

Я не мог оторвать от неё взгляда. Рена временами смущённо улыбалась, отводя глаза. Обнимая правой рукой её талию, я чувствовал тепло хрупкого девичьего тела, прекрасные волосы Рены касались моего лица, и всё это вместе — телесное тепло, запах волос, ослепительная белизна кожи, тонкий аромат духов «Клима» — напрочь выводило меня из равновесия. Я чувствовал также, как благоухала белая кожа; одна её рука лежала у меня на плече, нежные пальцы другой нерешительно подёргивались в моей ладони с испугом быющей о стены робкой птахи. И снова мы сидели за столом, и снова гремела музыка, одна мелодия практически без перерыва сменяла другую, и мы снова и снова танцевали; Маргарита понесла угощение — выпивку и фрукты — от нашего столика к столику своих подруг и снова вернулась к нам. Немного погодя она шепнула что-то на ухо Рены, и они вместе направились в коридор.

— Эта Маргарита — просто тронутая, — после их ухода сказал Армен. — Преподаёт в школе естествознание, они тут с подружками день рождения празднуют. Муж у неё украинец, работает в море, буровик на Нефтяных Камнях, депутат, пятнадцать дней он дома, пятнадцать в море. Так она приглашает меня к себе, каково? Всё-таки это здорово — жить в большом городе.

Мы услышали за спиной армянскую речь. Армен повернулся, прислушался.

— Приезжие из Армении, здешние так не говорят.

Он встал и направился к столу земляков. Немного погодя оттуда послышался дружный смех. Я обернулся. То ли Армен рассказал им анекдот, то ли они ему. После минутной паузы снова грянул хохот.

— Всё верно, из Армении, — вернувшись, довольно сообщил Армен, словно нашёл на чужбине родственников, которых долго и безуспешно разыскивал. — Масштабные люди, с размахом, против таких игры нет. Работники ЦК и секретари райкомов, приехали на месячные курсы в высшую партийную школу. Ребята что надо.

Армен подозвал официантку и заказал для новых знакомых две бутылки «Ахтамара». В проёме зеркальных дверей одновременно появились Рена и Маргарита. Рена шла впереди — высокая, красивая, улыбчивая.

— Ты только посмотри, Лео, какой взгляд, как сложена, что за ноги, — сказал Армен. — Чудо да и только! А характер... Доверчивое дитя, будто и не городская девушка вовсе.

— Извините меня, пожалуйста, мне пора, — вернувшись и присев, произнесла Рена; с виноватым видом переводя взгляд с меня на Армена. — Уже поздно. Спасибо вам большое, но наши беспокоятся...

— Потерпи минутку, Рена-джан. Мы с Лео выпьем на посошок и пойдём, — не дал ей закончить фразу Армен. Рюмки были полны, и он поднял свою: — Нынче мы собрались вместе первый и, Бог даст, не последний раз. Подними рюмку, Маргарита.

— Я не могу больше пить, — качнувшись, Маргарита прислонилась к плечу Армена. — Пётр Первый сказал, что не можно пить мало водки, но и много тоже не можно. Так что я пас, больше ни капли. Но к тому, что сказала раньше, добавлю. Есть всё-таки один мужчина, по крайней мере сегодня, от которого я чувствую себя в полной зависимости. И я безумно этому рада. Скажу вам по секрету, что мужчина этот Армен, и я обещаю до завтрашнего дня хранить ему безоговорочную верность. Благодарю вас за компанию, приятно было с вами познакомиться. Вечер выдался незабываемый, но, как ни жаль, пить я больше — ни-ни.

Мы выпили. Маргарита послала всем на прощанье воздушный поцелуй и, напоказ покачивая бёдрами, направилась к подругам.

— Я тоже вам благодарна. Вечер и правда был чудесный, — смущённо сказала Рена. — Надеюсь, на день рождения Лео вы меня тоже пригласите, — она посмотрела на меня, и меж её охваченных багрянцем губ блеснули зубы. — Могу я на это надеяться, или вы забудете?

— Ну, чтобы не забыть, договоримся сию минуту, — предложил я. — Завтра к четырём я жду звонка Армена. Приглашаю вас в ресторан «Гюлистан». Вы бывали там?

— Нет.

— Новый ресторан. Шикарный, со многими залами. Армен, надо думать, не был там тоже.

— Не был, — подтвердил Армен, закуривая. К нашему столику подошёл крупный, с большим животом человек в чёрном костюме.

— У вас всё хорошо? — любезно осведомился он. — Мы стараемся выложиться, только бы угодить нашим гостям.

— Выпей с нами, Рауф Алиевич. Коньяку или водки?

— Ни то, ни другое. — Мужчина скрестил на груди руки. — Спасибо, никак не могу. На работе ни капли, это закон.

— Рауф Алиевич метрдотель, — пояснил Армен и представил нас.

— Очень приятно, — вежливо склонил голову метрдотель. — Посмотрите, ни одного свободного места. И так постоянно. Но для вас, имейте в виду, местечко всегда найдётся. Милости просим.

Не дожидаясь, пока Армен рассчитается, мы вдвоём с Реной спустились на первый этаж и вышли на улицу, освещённую яркими неоновыми огнями.

На выстроившихся друг за другом такси горели зелёные лампочки.

Чуть поодаль за прибрежным парком виднелось море; оно переливалось, куда ни глянь, отсветами луны и звёзд. Громкоговорители приглашали на прогулку, кружилась карусель, детские смех и возгласы сносило вдаль ветром, они, тем не менее, возвращались и слышались отчётливо, совсем рядом.

— Вам случайно не холодно? — я потянулся снять пиджак. Рена благодарно покачала головой.

— Нет, нет, спасибо, — сказала она, провожая взглядом прогулочный катер, направлявшийся к острову Наргин; оттуда доносилась музыка, и порывы ветра то заглушали её, то приближали.

Столпившиеся у машин таксисты с явным интересом уставились на Рену. Мне это не понравилось, и, взяв девушку под руку, я подвёл её к первой в очереди машине и открыл дверцу.

— Довезём в целости и сохранности до самого дома. — Усадил её на заднее сиденье, сам сел рядом с водителем.

— Нет, это ни к чему, — возразила Рена, коснувшись моего плеча. — Брат обычно встречает меня на остановке. Пожалуйста, лучше до метро.

Водитель уже сидел за рулём. Я попросил его чуточку повременить. Армен торопливо сбегал по лестнице.

Возле станции метро рядом с горсоветом мы проводили Рену до вестибюля, ещё раз договорились, что завтра Армен позвонит Рене и мне, и мы вместе пойдём в «Гюлистан». Рена зашла в метро, у эскалатора обернулась и помахала нам на прощанье рукой.

Армен остановил такси.

— Эта тронутая ждёт меня дома, — доложил он. — Продиктовала мне адрес и номер телефона. Предупредила, если, мол, опоздаешь, я повешусь.

— Ступай, — засмеялся я. — И прихвати на всякий случай верёвку. Вдруг опоздаешь, а у неё своей не найдётся.

Армен открыл дверцу такси.

— Садись, подвезу.

— Да мне тут два шага. Лучше пешочком. До завтра.

Машина тронулась, но, не проехав и ста метров, остановилась и с включёнными красными огоньками сзади покатила вспять.

— Не займёшь мне денег, — сказал Армен, выйдя из машины, — рублей пятнадцать-двадцать?

— Конечно.

Машина снова сорвалась с места, и я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Я пересёк проспект и зашагал в сторону дома. Шёл медленно, и сердце усиленно билось от чего-то смутного, неуловимого, но влекущего. Что это было, я не мог осознать, это не поддавалось никакому описанию, ни тем паче какому-либо определению, однако ж я чувствовал — от этого неведомого и неопределённого мир окрест меня тысячекратно в моих глазах увеличился, случившееся давеча — стало в тысячу крат знаменательней. Рядом со мной проходили парочки, погружённые в себя, я не смотрел на них, но в лёгком своём опьянении полагал, что они непременно счастливы, ну а коли нет, я сам искренне желал им испытать счастье, ибо переживал в эту минуту ту лёгкость и благодать, которую, должно быть, и величают счастьем.

Что со мной творилось? Я ни на миг не забывал о Рене, видел перед собой её лицо, губы, глаза, слышал тончайшие модуляции её голоса, прелестную шею, от которой, как от едва-едва распускающейся розы, тянуло благоуханьем. Боже ж ты мой, неужели я так вот сразу взял и влюбился? Сам себе удивляясь, я несколько натужно иронизировал над собой. И было из-за чего. Ведь ещё утром я знать не знал о существовании этой девушки, теперь же одна лишь мысль о ней доставляла мне ни с чем не сравнимую радость.

Хотелось взять себя в руки, прогнать прочь эти выбивающие почву из-под ног мысли, занять ум чем-нибудь иным. Однако не получалось. Я завидовал Армену, но без особого надрыва, просто жалел, что не мне, а ему повезло познакомиться со столь удивительной девушкой. Надо выкинуть её из головы, приказывал я себе, выкинуть, и всё тут, это ведь, как ни крути, не очень-то прилично: неотступно думать о той, на кого, судя по всему, Армен имел самые серьёзные виды; к слову сказать, это ведь он и привёл её ко мне. Но ни по дороге, ни дома никакая другая мысль просто

не лезла в голову, я сызнавал видел перед собой Рену. И, вспоминая, какова она, нервничал и сходил с ума, как юнец. Этот её застенчивый и внимательный взгляд, и влажный блеск зубов сквозь полуоткрытые губы дивной лепки, и обжигающее прикосновение холодных пальцев...

Одним словом, голова шла кругом. Под звуки классической музыки приятно было думать и вспоминать, вспоминать и думать. И ночью, во сне, я снова был с Реной, с увлечением обнимал её, лепетал что-то насчёт единственной и неповторимой любви, целовал и не верил этому, подсознательно чувствуя и отдавая себе отчёт, что дело-то происходит отнюдь не наяву, а наяву такое вряд ли произойдёт. И всё равно дух у меня перехватывало мальчишеским упоением и восторгом.

Меня разбудил телефонный звонок. Под впечатлением сна я ринулся к аппарату, почему-то вообразив, что это Рена. Но звонила вовсе не Рена, а мать из Сумгаита. И меня пронзило чувство острого стыда, поскольку моё воодушевление погасло, как огонь на ветру. Мама беспокоилась из-за того, что вечером я вопреки договорённости не поехал домой и что до меня тщетно пыталась дозвониться сестра из Ставрополя. Я объяснил, что принимал гостя из Еревана, и пообещал непременно появиться в пятницу.

Умылся, обошёлся лёгким завтраком и принялся готовиться к вечерней встрече. Как девица, вертелся перед зеркалом, меняя наряды и подбирая галстук. В конце концов остановился на чёрном костюме, голубой рубашке и бежевом с фиолетовым отливом галстуке. Из одеколонов предпочёл «Дракар», подаренный мне к 23 Февраля Ариной и пришедшийся как нельзя кстати. В полдень позвонил Армен.

— Ну как ты? — осведомился я. — Маргарита не повесилась?

— Ещё как повесилась, — ответил Армен. — Аж до утра провисела у меня на шее. Дело вот в чём. Я пошёл за билетами в кино, да надел не те брюки, деньги остались дома. Только сейчас обнаружил. Не знаю, как и быть. Надумал, пока суд да дело, сходить с Реной в кино.

— Зайди, что-нибудь придумаем, — сказал я. Должно быть, он вчера здорово поиздержался, мелькнуло у меня в голове. — Адрес не забыл?

— Да ты что! — бодро сказал он. — Шутишь?

— Вот и славно. Заходи, выпьем кофе.

Армен пришёл через полчаса.

— Двадцати пяти рублей достаточно?

— Более чем, — ответил он. — Спасибо, Лео-джан, выручил. Ты настоящий друг. Я этого не забуду.

Он побрился, мы выпили кофе. Проводив Армена, я беспокоило расхаживал, то и дело поглядывал на часы. А время, как назло, двигалось вперёд медленно-медленно. Чтобы скоротать хотя бы час, я попробовал заняться чтением, но из этой затеи ничего путного не вышло, один и тот же абзац я перечитывал по нескольку раз и мало что понимал. Мысли были неотлучно заняты Реной.

Зазвонил телефон. Наконец-то! Сердце забилося учащённо. Волнуясь, я поднял трубку.

— Алло.

— Здравствуйте, Лео, это вы?

Голос незнакомый.

— Здравствуйте. Да, я.

— С вами говорит Рауф Алиевич из «Нового интуриста». У вас всё благополучно?

— Благодарю. Вчера всё было замечательно, вечер удался.

— Очень рад. Мы стараемся всячески угодить гостям. Приходите ещё. Но, видите ли... — Он замялся, потом выпалил: — Вы вчера ушли, не расплатившись...

— То есть как? — обомлел я. — Быть этого не может.

— Мы долго думали... хотели даже сами скинуться, но сумма слишком уж велика. Сами понимаете, триста рублей...

Последовала долгая пауза. Я слов не находил от изумления, собеседник же терпеливо дожидался моего ответа.

— До которого часа вы пробудете на работе? — наконец спросил я, всё ещё не в силах переварить услышанное.

— Вы могли бы прийти завтра?

— Да, конечно.

— Приходите, пожалуйста, часам к пяти-шести, я буду вас ждать.

Это было странно, чрезвычайно странно. Не лезло ни в какие рамки. Я помнил, Армен несколько раз отлучался, пропадал из зала. Может, он договорился с кем-то, а этот кто-то запаздывал? Как бы то ни было, в голове новость не укладывалась. Это ведь Армен зазывал нас, а мы отнекивались, а не наоборот. Это ведь он специально ходил, чтобы рассчитаться, а мы с Реной поджидали его внизу. И потом... откуда метрдотель узнал номер моего телефона? Неужели позвонил в комитет? В мозгу, не давая по-настоящему опомниться, мелькали самые разношёрстные мысли.

Около четырёх дня снова позвонил Армен. Я ни словом не обмолвился про звонок Рауфа Алиевича; сослался на неотложное дело и предупредил, что наша с ним встреча не состоится.

— Значит, завтра? — спросил Армен.

— Завтра, — сказал я и положил трубку.

Но завтра Армен не позвонил. Те же разношёрстные мысли сызнова не давали мне покоя. Я вспомнил, что телефон Рены у меня зафиксирован. Да, вот он — 92-69-98. Я неуверенно набрал 9, 2, 6, 9, 9 и мгновение поколебался, набирать ли последнюю цифру. Сердце отчаянно колотилось. Наконец я набрал-таки заключительную восьмёрку. На той стороне провода трубку сразу же сняли.

— Алло.

— Алло, — нетвёрдо выговорил я.

— Здравствуйте, Лео, — произнёс грудной мелодичный голос.

Странная штука, раз уж тебе нравится человек, то и голос его тоже нравится. Слава Богу, она узнала меня, и вообще впечатление такое, будто она ждала моего звонка. Как же мало нужно человеку для счастья — эта довольно банальная мудрость оказалась абсолютно справедливой. Я в мгновение ока забыл Армена, ресторанный долг и вообще всю эту невразумительную историю.

— Здравствуйте, Рена. — Как и в пятницу в редакции, я непроизвольно поднялся на ноги. — Как поживаете?

— Хорошо. А вы?

— Благодарю. У меня тоже всё хорошо. Рена, я хотел бы повидаться с вами по важному делу. Это возможно?

— Ну конечно. Где и когда?

— У метро «Баксовет». В пять.

— Договорились. В пять я буду.

— Спасибо.

Минуты две я ходил по комнате с телефоном в руке, мне чудилось, он ещё хранит дыхание и голос Рены. Что ни говори, у девушки, которую любишь, самый сладостный голосок из всех существующих. Так что же выходит, я её люблю?

На Рене была бирюзового цвета блузка, шею украшала тонкая золотая цепочка, волосы, как и позавчера, небрежно падали на плечи. Ещё стоя на эскалаторе, она дружески мне улыбнулась; в улыбке померещилось что-то колдовское, по крайней мере на меня Ренино колдовство магическим образом действовало, как и матовый блеск и сияющая свежесть её припухлых губ.

— Привет! — Рена протянула мне руку; я с радостью отметил, что девушка не спешит отдернуть её. — Давно ждёте?

— Только что подошёл, — сказал я, хотя уже минут пятнадцать околачивался в вестибюле, тщетно выискивая её в бесконечном людском потоке.

Мы вышли на улицу. Погода стояла погожая, приятная.

— Армен вчера собирался с вами в кино, — сказал я. — Хорошая была картина?

— В кино? Вчера? Вчера был день моего рождения, мне исполнилось девятнадцать, — удивилась Рена и покраснела.

Я понял, что слова про день рождения случайно у неё вырвались.

— Я весь день провела дома, — добавила она как-то неуверенно, — никуда не ходила. И Армен мне не звонил. Да и не мог позвонить, он же не знает моего телефона.

Я совершенно запутался.

— Поздравляю вас от всего сердца, хоть и с опозданием!

Она смущённо меня поблагодарила.

— Помните, у нас был разговор о ресторане «Гюлистан». Армен должен был условиться с вами и перезвонить мне. На что ж он рассчитывал, если не знал вашего номера?

— Видимо, собирался взять его в последнюю минуту. Но не вышло.

Возникла пауза.

— Простите, Рена, за бестактный вопрос. Давно вы знакомы с Арменом?

В глазах у девушки выразилось явственное недоумение.

— Я видела его всего дважды, и оба раза по чистой случайности. Впервые здесь, у метро, несколько месяцев назад. Я шла из публичной библиотеки, он спросил, как пройти куда-то, я объяснила. А позавчера я заглянула позвонить на почту — первый этаж вашего здания. Он тоже куда-то звонил, опять поинтересовался чем-то. Потом упросил подняться в редакцию — мол, у вас день рождения, и вам будет приятно, если вас поздравят двое. Он очень просил, сама не знаю, что на меня нашло, но я согласилась на минутку подняться. Вот, собственно, и всё наше знакомство.

Точь-в-точь избавившись от ноши, я свободно вздохнул.

— И весь этот сыр-бор — день рождения, предварительный день рождения — был, конечно же, выдумкой. — Рена широко улыбнулась; было видно, что она в этом ничуть не сомневается. — Разве не так?

— Ну... — я увернулся от прямого ответа. — Значит, у Армена не было вашего номера?

— Конечно, нет.

— Занятно.

— По правде говоря, от вашего звонка я тоже была в некоторой растерянности. Так и не поняла, вы-то мой телефон откуда узнали.

— Не скажу, — шутливо заявил я, но не стал интриговать. — Помните, вы позвонили домой с моего радиотелефона?

— Помню.

— Радиотелефон имеет обыкновение фиксировать номера, по которым звонят. Вот, что значит техника!

— Ах вот оно что, — рассмеялась Рена. И, подняв на меня бирюзовые свои глаза, поинтересовалась: — О каком важном деле вы говорили?

— Позавчера мы ушли из ресторана, не расплатившись.

— Да что вы! — Рена даже отпрянула; прижала ладони к щекам и, сама не своя, воскликнула: — Не может быть!

— Вы помните метрдотеля, Рауфа Алиевича? Того, кому Армен нас представил. Так вот он мне позвонил в этой связи.

— Какой стыд... — Рена была не в силах унять эмоции. — Как же нам быть?

— Метрдотель ждёт нас.

— Минутку, — растерялась Рена. Губы у неё шевелились, будто она производила про себя какие-то подсчёты. — Я не могу сказать этого папе, маме тоже, брату тем паче. А вот невестке, жене брата, могу. Ирада поможет. И, кстати, моя стипендия за два месяца при мне...

— Да успокойтесь вы, ничего не надо. — Её тревога растрогала меня. — Пойдёмте.

— А без меня нельзя? — Голос девушки звучал умоляюще.

— Чего нельзя, того нельзя. Не то и толковать было бы не о чем. — Я говорил решительно, и Рена сдалась. Взял её под руку и быстро, чтоб она не передумала, повёл к стоянке такси.

Рауф Алиевич встретил нас уважительно и с достоинством.

— Подобного в моей практике ещё не бывало, — сокрушённо признался он, — то есть изредка случались инциденты, не без того, но чтобы такие почтенные гости ушли, не расплатившись, от этого бог миловал.

Мы не пошли в Восточный зал, устроились в Зеркальном, у окна, местечко Рене приглянулось. Оркестрантов на сцене пока что не было, на стульях лежали инструменты: на одном саксофон, на другом труба, на третьем тромбон; контрабас в футляре прислонили к стене. Музыканты уже подошли и в полном сборе стояли подле сцены, переговаривались и время от времени окидывали взглядами зал.

Рене я заказал полусладкого шампанского, себе коньяку. Нас обслуживала бледная, худенькая, но привлекательная с виду русская девушка; любое пожелание она выполняла с такой готовностью, словно это доставляло ей неслыханное удовольствие.

Перед стойкой бара восседали на высоких стульях две девицы с длиннющими ногами; про такие говорят — они начинаются от плеч. Потягивая через яркие соломинки джин с тоником и долькой лимона, девицы регулярно присматривались оценивающими взглядами к мужчинам в зале.

Обстановка царила приятная, музыка звучала негромкая, ненавязчивая. Вдобавок мне льстило, что все, кто сидел за столиками по соседству, заметили мою спутницу и не упускали повода лишний раз оглянуться на неё. Мы же с Реной оживлённо говорили о том о сём, я что-то рассказывал, она что-то рассказывала... И мало-помалу тесное наше общение стало буквально сводить меня с ума, с каждой минутой девушка всё сильнее очаровывала меня. Между прочим, она умела слушать и реагировала на услышанное всегда впопад — смеялась, хмурилась. И тут я с изумлением увидел Армена — длинное стенное зеркало напротив отражало его. Беспечно и неторопливо с сигаретой во рту он поднимался на второй этаж. Позавчера не заплатил по счёту, теперь явился закрыть долг, подумалось мне. Обернувшись, я помахал ему рукой, он, однако, меня не заметил. Девицы у бара были, похоже, знакомы с ним. Он, во всяком случае, им улыбнулся. И в ту же секунду блуждающий его взгляд упал на нас с Реной. Армен всплеснул руками и направился к нам.

— Ну и встреча! С утра звоню, звоню, всё без толку, а вы вон где. Что пьёте? — он оглядел стол. — Шампанское, коньяк. А как насчёт водки? — Сел в свободное кресло и не забыл сделать Рене комплимент: — Вы, как всегда, восхитительны. Хотите новый анекдот? Идёт по улице девушка, следом за ней парень. Куда она, туда и он. Идут, идут. Она поворачивается и спрашивает: зачем вы меня преследуете? «Едва вы повернулись, я и сам подумал: зачем?»

Мы вежливо улыбнулись. Я подозвал официантку, заказал Армену водки. Что он мне звонил, я, конечно, не поверил. Однако промолчал. Умолчал и об истории с неоплаченным счётом. И сделал знак подошедшему на минутку

Рауфу Алиевичу — не надо про это. Метрдотель понял и согласно кивнул. Армен между тем произнёс необычный тост:

— Пусть грядущий день принесёт нам мир, — сказал он, затем что-то вспомнил и задумчиво добавил: — Есть у меня приятель, азербайджанец родом из Грузии, собственно, никакой он мне не приятель, мы с ним только-только познакомились, да это неважно. Есть у него кое-какие связи в криминальном мире, вдобавок он приходится роднёй вашему Гасану Гасанову, секретарю ЦК. Так вот, по его словам, идёт молва, дескать, уголовников из тюрем выпускают. Обо всем мне он не говорит, но я вижу, чувствую, что готовится что-то плохое. Каждую субботу и воскресенье в здании филармонии проходят тайные совещания во главе с этим самым Гасановым... Пусть грядущий день принесёт нам мир, — с тем же задумчивым видом продолжил он свой тост, — и пусть люди не останутся без крыши над головой, и пусть нам не дано будет услышать плач и причитания по безвременным утратам. — Он взглянул на часы и, вставая с места, сказал: — Простите, мне предстоит встреча у метро «26 комиссаров». Минут через десять-пятнадцать я вернусь.

Тост Армена и в самом деле прозвучал необычно и странно, однако подумалось, что все это пустые разговоры. Мы его, правда, сразу же забыли, но в дальнейшем я частенько вспоминал зловещие эти слова Армена. После его ухода мне бросилось в глаза, что девицы у бара тоже исчезли. Их вытянутые кверху стаканы с едва ли наполовину выпитымджином остались на стойке.

Мы с Реной немного потанцевали. Меня снова приятно взволновала её робость и смущение, и щекотка от прикосновения её волос к моему подбородку, и хрупкое тепло её тела под моими ладонями, и лёгкая поступь в танце, и её радость, и то, как она, дуя на спадавшую на лоб и мешавшую ей золотистую прядь, дружески на меня смотрела.

Армен же так и не пришёл. Мы прождали и пятнадцать обещанных минут, и час, и два; напрасно.

— Его нет, — зафиксировал я, очередной раз поглядев на освещённое люстрой зеркало — в нём отражался весь лестничный пролёт вплоть до первого этажа. Видно, в моём голосе не было и тени сожаления; Рена обратила на это внимание.

— А тебе хочется, чтоб он вернулся?

— Нет.

— Почему?

— А тебе? — тоже перейдя на ты, вопросом на вопрос ответил я.

Рена покачала головой, привычным движением убрала волосы со лба. С ответом она не спешила.

— Нет.

— И почему же?

Я положил на её руку ладонь. Она руку не убрала.

— Потому что ты этого не хочешь.

Я ласкал её пальцы своими, и она не отнимала руки, потом её рука повернулась в моей ладони, и наши пальцы переплелись. Меня охватило волнение, сердце тревожно затрепетало и наполнилось необъятной любовью и умилением. Я прильнул губами к её длинным, нежным, чудным пальцам.

— Рена, — с замирающим сердцем взволнованно шепнул я, — хочу, чтобы ты поверила — нынче самый славный, самый красивый, самый удивительный и счастливый день в моей жизни. Ты веришь?

— Верю, — сказала она, и её губы запыхали, как никогда прежде. — Я хочу, — продолжила Рена дрогнувшим голосом, — хочу, чтоб этот день был первым и чтобы таким же стал последующий и все прочие дни. А сейчас пойдём, уже поздно.

Я поблагодарил официантку за чудесный вечер, не забыв при этом незаметно положить ей в карман красную купюру, рассчитался также с метрдотелем за позавчерашний вечер, и мы с Реной спустились на первый этаж.

Внизу, тщательно выбирая по одной, я купил у цветочницы девятнадцать белых голландских роз на длинных стеблях, одна другой краше, и поднёс Рене, за что она была безмерно благодарна. Растроганная и взволнованная, она прикоснулась тёплыми своими губами к моей щеке, отчего я застыл на миг как вкопанный.

Как и в прошлый раз, Рена воспротивилась, чтобы я провожал её до дому, и мы расстались у метро. Напоследок она шепнула мне:

— Я хочу, Лео, чтобы ты поверил — этот день тоже останется для меня бесконечно счастливым и незабываемым...

Рена уже затерялась в вестибюле метро, а я всё ещё стоял, словно не в силах шевельнуться: опьяняя, она словно всё ещё была рядом, и я чувствовал её тёплое дыхание, слышал пленительный голос, улавливал обольстительное благоухание и лёгкое прикосновение к своему лицу мягких её волос...

С планёрки я вышел в дурном настроении. Ехать в командировку вовсе не хотелось, но и отказать главному в просьбе я тоже не мог — не признаваться же, что влюбился как мальчишка, до полного безрассудства, жажду быть в городе, чтобы лишний раз увидеть её, мою красавицу с совершенным обликом и голосом, чьи мелодичные переливы пьянят меня? Сказать, что не видеть этого и не слышать несколько дней — трудно? И ради чего? Ради поездки в Мир-Баширский район, в дальнем уголке которого приютилось уединённое армянское село со странным названием Бегум-

Саров, где воздвигли памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне сельчан. И сельское руководство позвонило нашему начальству и попросило показать по телевидению церемонию открытия этого памятника. Что мне сказать на это? Пусть едет кто-то другой?

Ради десятиминутной передачи нам вчетвером — редактору, режиссёру, оператору и ведущему — предстояло преодолеть более трехсот километров по дороге, которая до самой Куры тянется по голой, мёртвой пустыне — ни дерева, ни травинки, только наводящая тоску асфальтовая дорога по безжизненной глуши.

Растительность появлялась только по ту сторону Куры. На неоглядных хлопковых полях работали женщины. В закусовых под открытым небом, разбросанных вдоль дороги, мужчины развлекались игрой в нарды да бесконечно пили чай, лениво поглядывая на снующие мимо них автомобили.

Бегум-Саров утопал в деревьях и цветах и казался настоящим райским уголком посреди мёртвой пустыни.

— Дай Бог армянину счастья! Сколько труда и умения вложено в эти сады! — расчувствовался оператор Беник, с трудом шагнув из машины на онемевших ногах. — К чему ни приложит руку, сухая земля расцветает. Прежде это село входило в Мартакертский район, потом его переподчинили азербайджанскому Мир-Баширу. В девятьсот пятом, в пору резни, его уничтожили дотла, нынче здесь опять райские кущи. Армянину на роду написано превращать пустыню в цветник. Я надеялся, что мы за день управимся со своим заданием, однако не тут-то было. Мы сильно задержались и вернулись домой только в четверг, ближе к вечеру. Весь обратный путь я воображал, как тут же кинусь к телефону, но по приезде заколебался и в конце концов передумал звонить. Рена ведь ничего не сказала на этот счёт при расставании. Получится, будто я навязываюсь, удобно ли? В редакции перекинулся двумя словами с шефом. Тот рассказал анекдот. Приезжает мужик из командировки, а на его кровати торчат из-под одеяла мужские ноги. «Кто это?» — спрашивает у жены. «Кто-кто? — напускается на него жена. — Сколько я тебя просила шубу купить, ты купил? А он купил. Ты меня на море хоть разок свозил? А он повёз. Плюс дача, машина, они ведь не с неба свалились. Теперь ещё на квартиру денег дать собирается». — «Если такое дело, — говорит муж, — укрой ему ноги, не дай Бог простудиться». Я собрался было распрощаться, главный спросил:

— Кофе выпьешь?

— Давай.

Главный обратился по селектору к Арине:

— Приготовишь Лео чашку кофе?

— С удовольствием, — отозвалась Арина; в её голосе слышались восторженные нотки. Главный многозначительно хмыкнул.

Через несколько минут, похожая на красотку с полотна Жана Лиотара «Шоколадница», с подносом в руках Арина торжественно вошла в кабинет, приветствуя меня лукавым взглядом.

Ответив на приветствие, я попросил:

— Арина, принеси, пожалуйста, газеты за последние два-три дня.

Кофе получился на славу, выпил я его с наслаждением.

— Вот спасибо! — Я поднялся. — Усталость как рукой сняло.

— Между прочим, приехал Леонид Гурунц. Сидит у Лоранны. Когда-то он работал здесь в русской редакции. Видел его? — спросил главный.

— Нет.

Заглядывая во все кряду двери, я направился к себе в кабинет. Было душно. Ослабил узел галстука, включил кондиционер. Уселся за стол. Покосился на телефон. И окончательно решил не звонить.

— Привет! — снова поздоровалась Арина, входя в кабинет, и положила передо мной газеты. — Вы задержались. Мы тебя ждали.

Она присела напротив меня в обычной своей позе — уставив локти в стол и подперев ладонью щеку; в уголках губ играла чуть различимая усмешка, как у женщин на скульптурах Антонио Кановы.

— Мне было любопытно, смогу я тебя простить?

— Меня? — Она с удивлением ткнула себя рукой в грудь.

— Тебя, тебя, — с шутливой строгостью подтвердил я и вдруг вспомнил: об Авике Исаакяне я говорил ей одной. Забыл уже, в связи с чем. Ах да, зашла как-то речь о Берии, вот я и сказал, что Авик, университетский мой преподаватель, был женат на его внучке, одновременно приходившейся правнучкой Максиму Горькому. Скорей всего она сболтнула про это Армену, и тот, не будь промах, отрекомендовался приятелем Авика.

— За что?

— Это ведь Армену ты наговорила про Авика Исаакяна?

— Вроде бы... Ну да, он зашёл к главному, потом расспрашивал о тебе — кто ты да что. Вот я и рассказала про Авика Исаакяна. Ну и про внучку Берии. Он, кажется, этого не знал. Да что стряслось-то? Я коротко поведал о нашем походе в ресторан.

— Армен не появлялся тут в моё отсутствие?

— Нет, — растерянно помотала головой Арина. — Ну и проходимец... А мы-то приняли его за приличного человека. Прости меня, пожалуйста, Лео. Я виновата.

— Да ладно, чёрт с ним. — Приятно было сознать Аринину искренность и чистоту, но и подтрунивать над её мечтательностью, эмоциональностью и наивностью тоже доставляло мне удовольствие. — А я уж подумал, не заодно ли ты с ним. Теперь вижу, что нет.

— Вижу, что нет. Да ты думаешь, что говоришь?! — Арина подскочила на стуле и зарделась, как несправедливо обиженный ребёнок. — Ты соображаешь или нет?

— Да брось, я же шучу. — Трудно было предположить такую обидчивость. — Шуток не понимаешь? Садись, главный рассказал анекдот. Садись, расскажу.

— Садись, расскажу... — Всё ещё дуясь, Арина снова села напротив меня.

— Преподаватель спрашивает студентку: «Как ваша фамилия?» — «Дарбинян», — отвечает та весело. «Что же в этом смешного?» — недоумевает преподаватель. «Я рада, что верно ответила на ваш первый вопрос».

— Главный ничего такого не рассказывал, — успокоившись, говорит Арина. — Ты сам это на ходу сочинил. Неплохой анекдот, остроумный, — похвалила она. — Но тебе, похоже, невдомёк — я окончила институт с отличием.

— Разумеется. Не то тебе не дали бы золотой медали.

— Эх ты, не стыдно смеяться над пожилым человеком. — Арина, гримасничая, передразнила меня: — «Может, не институт, а университет?» А он-то дома гордится, какой у него родственник отзывчивый. Кстати, он опять к тебе собирается, мой свёкор.

— Что, передумал и хочет изгнать тебя с работы?

— Наоборот. Рассчитывает, что ты и другую сноху поможешь куда-нибудь пристроить.

— Минутку, дай взять ручку. Сколько вас, говоришь, снох?

— Не бойся, всего три, — развеселилась Арина. — При этом один мой деверь всё равно не пустит благоверную работать. Жуть какой ревнивый.

— И на том спасибо. Всего лишь одна? Это меня радует.

— И я рада, что ты рад.

— Ага, ты рада, что я рад, что ты рада, что я рад.

Арина пришла в восторг от нехитрой этой скороговорки.

— О боже, здесь мне вконец голову заморочат. Словом, устроить надо бы жену старшего деверя.

— Как зовут?

— Сильва.

— Хорошенькая?

— Тебе-то какое дело!

— Надо же знать, кого рекомендуешь.

— На работе кто требуется — хорошенькая или специалист?

— Хорошенькая специалистка.

— Ишь ты какой, за словом в карман не полезешь.

— Лазил бы за словом в карман, ты бы безработной ходила. Кто твоя Сильва по специальности? Фамилия, возраст?

— Возраст... С этого б и начинал, — снова надулась Арина. — В общем, она экономический окончила.

— Буквы-то хоть знает?

Арина насупила брови.

— Что за буквы?

— Проехали. Фамилия, имя.

— Фамилия у нас общая — Дарбинян. Дарбинян Сильва, двадцать три года. В октябре двадцать три стукнет.

— У нас в бухгалтерии есть вакансия. Сеидрзаева, главный бухгалтер, мне, надеюсь, не откажет. Позвонить?

— Нет, обожди, — спохватилась Арина. — Надо же сперва поговорить с человеком. Завтра я Сильве скажу, ну а там уж... Это чья? — Она показала глазами на записную книжку в чёрном переплёте, заваленную ворохом бумаг.

— Понятия не имею. Может, Армен забыл? Возьми. Отдашь ему при случае.

Арина встала.

— Пойду, наш мемуарист ждёт меня, не дожждётся. Сил уже нет от его воспоминаний. — В дверях обернулась и с невинным личиком доложила: — Между прочим, та девушка приходила.

— Какая такая девушка? — равнодушно спросил я; внутри у меня всё всколыхнулось.

— Какая девушка... Мне-то откуда знать? — испытующе смерила меня взглядом Арина. — Та, которую Армен приводил. Спрашивала тебя.

— Меня? — безразлично кивнул я; это безразличие тяжело мне далось.

— Да, тебя. — Тот же испытующий взгляд. Арина медленно затворила за собой дверь. Я догадался, она пока что не уходит. И лишь спустя минуту в коридоре хлопнула дверь, и в Ариной комнате застрекотала пишущая машинка. Я рывком вскочил с места, дважды повернул ключ в дверном замке. Про себя решил: если трубку снимет не Рена, сыграю в молчанку. Набрал одну за другой пять цифр, а после заключительной восьмёрки попридержал диск и не без сомнения отпустил. Диск прошелестел и замер.

— Алло.

Она!

— Здравствуй, Рена, — хрипло сказал я, силясь унять нервы.

— Привет, Лео. Я дважды заходила в редакцию, не могла тебя застать.

— Мне неожиданно пришлось уехать в командировку, — оправдываясь, я не вникал, уместны ли мои слова. — И всё время думал о тебе.

— Спасибо. — Даже по телефону чувствовалось, как она смущённо улыбается в этот миг на том конце провода. — Это приятно. В понедельник ты никуда случайно не уезжаешь?

— Нет, нет, — выпалил я.

— Тогда после занятий я зайду в редакцию. Дождёшься меня?

— Что за вопрос!

Но Рена не клала трубку.

— Твои розы до сих пор не завяли. Все до одной распустились, и комната так и благоухает. — Она помолчала. — Розы напоминают о тебе.

— Люди встречаются друг с другом на перекрёстьях множества дорог, — сказал я, — не сознавая, что вся их минувшая жизнь готовила эту встречу.

— Да, так оно, видимо, и есть, — откликнулась Рена. — И невозможно узнать, что ждёт их после неведомых этих перекрёстков.

— Ты очень мне нравишься, Рена, — просто сказал я. — До понедельника.

— До свидания, — сказала Рена, но трубку всё-таки не положила. — Ты тоже... мне симпатичен. Я приду в понедельник, до свиданья.

— Цавед танем, — внезапно вырвалось у меня.

— Совет танем, — неловко повторила она. — Что это значит?

— Не совет танем, а цавед танем.

— Цавед танем.

— Нет, цавед танем.

— Цавед танем? Как это переводится?

— Если буквально, то возьму себе твою боль, унесу твою боль.

— А... агрын алым, — обрадовалась Рена. — Или близко по смыслу: дардын алым, гадан алым. По-азербайджански звучит и точнее, и лучше, чем по-русски. — Она засмеялась: — Цавед танем.

Сердце беспорядочно колотилось, и я минуту-другую вышагивал по кабинету, не в силах чем-либо заняться. Мне страшно хотелось поделиться с кем-то новостью — Рена придёт ко мне в понедельник, я день-деньской буду подгонять время и дожидаться, дожидаться. Сказать об этом ужасно хочется, но я знал, что никогда и никому не скажу ни слова.

Из окна на пятом этаже я глянул вниз; одинокое пшатовое дерево вытянулось над стеной, огораживающей здание, раскинулось над улицей, которая выходила на ЦК, и развеивало там и тут белую цветочную пыльцу. Над облаками пыльцы порхали пёстрые бабочки; то одна, то другая садилась на цветы. Мне была видна из окна площадь у метро «Баксовет» с её многолюдьем и толчеей и район старого Баку — Ичери-шехер с высокими толстыми крепостными стенами и пушечными бойницами, с просмолёнными плоскими кровлями, что знай посверкивали под солнцем, с караван-сараями, банями, мечетями и заунывным голосом муэдзина, призывающего правоверных к намазу, с паутиной узких улочек, спускающихся к морю, где стремглав носились над судами, стоящими на якоре, чайки — то одна, то другая стремительно ныряла в воду и стремительно же выныривала.

Прежде, когда не возвели ещё нового здания ЦК, из окна открывалась широкая морская панорама, а теперь взгляд выхватывал только малую её частицу. Волны под весенним солнцем сияли и слепили, отражая его лучи. Небо из окна кабинета тоже казалось рассечённым надвое. Разбитый на холме участок парка имени Кирова застил обзор, и чудилось, что высокий памятник этому деятелю с его рукой, указующей на город и море внизу, не стоит на возвышенности, но парит под облаками.

Я вышел в коридор и, свернув налево, заглянул в общий отдел.

Лоранна сидела у себя за столом, а перед ней расположился Леонид Гурунц — бодрого вида человек с улыбочивым лицом и небрежно зачёсанной набок каштановой с проседью шевелюрой.

— Познакомьтесь, Леонид Караханович, — представила меня Лоранна, — это заместитель нашего главного редактора. Родители у него карабахские, но сам он из Сумгаита.

Я знал, разумеется, Гурунца как писателя, читал его книги, особенно сильное впечатление произвела на меня его «Карабахская поэма», пронизанная нежностью, любовью и романтическим настроением.

— Так ты карабахец? — Он с места энергично протянул мне руку. — Ну, скажи: зачем спрашивать? И без того видно — высокий, статный, с изюминкой. Карабахцы, они все такие — рослые, красивые. Баграг Улубабян недаром сказал: не народ, а семенной фонд. Ты женат?

Я отрицательно помотал головой.

— Я в твои годы уже дважды развёлся, а ты даже не женился.

— Времени нету, — подмигнула Лоранна.

— Или вы не даёте ему времени, — рассмеялся Гурунц. — Человек в молодости живёт, чтобы любить. А в зрелые годы любит, чтобы жить. Первая моя жена была сестрой жены Татула Гурияна. Ну а поскольку мы с Татулом были близкими друзьями и женились на двух сёстрах, то и псевдоним решили взять один и тот же: он — Гуриян, я — Гурунц. Эх, нет на свете ничего лучше молодости, — вздохнул он, — и дороже тоже нет. Что правда, то правда: жизнь театр, а люди в нём актёры. Все мы без устали играем свою роль, потому что взрослеем, обретаем зрелость. Взрослеем, стареем и... перестаём играть. Пока человек молод, ему нужны две малости, чтобы чувствовать себя вполне счастливым. Так что покуда молод — улыбайся себе каждый день, ищи вокруг развлечений. Мечтать, улыбаться — вот что человеку необходимо. Как говорится, следуй за мечтой, и там, где прежде стояла глухая стена, перед тобой распахнётся дверь. Стоит человеку бросить мечтать, и он уже почти мёртв. Окрест нас полно мертвецов, но они совершенно этого не сознают. Стареть и взрослеть — это далеко не одно и то же, — заключил Гурунц после паузы. — Коль скоро тебе тридцать и ты целый год проваляешься, ничего не делая, на диване — тебе стукнет тридцать один. Нет ничего проще, чем стать ещё на год старше. Для этого вовсе не требуется ни таланта, ни дара. Дарование, талант — это как раз то, что позволит тебе, меняясь, обрести новые горизонты. Только три вещи ни за что не вернёшь, хоть умри, это время, слово и возможности. Вот отчего не транжирь попусту время, хорошенько подумай, прежде чем вымолвить слово, и не упускай шанса. Попомните, что я говорю вам, и ни о чём не жалейте. Не жалейте того, что протекло вчера, не бойтесь того, что случится завтра, и будьте счастливы нынешним. Люди пожилые редко жалеют о сделанном, они грустят о том, чего не сделали, о том, чего им сделать не удалось или чего они не успели. В одной старой песне пелось: мол, не сокрушайся «ах, как жаль», если сделал что-то не то, сокрушайся о том, чего не сделал. Так-то вот, — вздохнул Гурунц. — На свете и впрямь нет ничего ни лучше, ни дороже молодости. Жаль только, больно уж она коротка. Молодость, она что твоё золото, горы свернёт и на всё способна. Я, к примеру, свою «Карабахскую поэму» написал именно что молодым. Худо только, что ничего хорошего я из-за неё не видел. Зато горечи вкусил досыта. В Азербайджане сгущалась атмосфера бешеного национализма, известных армян гнали из Баку, из районов республики с ярлыками людей ненадёжных, изгоняли в северный Казахстан или же напрямую в Сибирь, чтобы занять их должности и завладеть комфортным их жильём. Мирза Ибрагимов был в ту пору начальником главного управления по делам искусства, потом стал председателем президиума Верховного Совета. Так вот он и его присные, — Гурунц сделал головой движение, давая понять, что имеет в виду прежнего нашего главного, — они так на меня обрушились, что в ссылку меня не упекли разве что по счастливой случайности.

Сидя чуть поодаль, Сагумян молча слушал Гурунца и согласно кивал головой. Должно быть, он отчётливо помнил те времена и события.

— А в чём, собственно, вас обвиняли? — спросила Лоранна. — В книге было что-то антисоветское?

— Да в том-то и дело, — махнул рукой Гурунц. — Об антисоветчине и речи не шло. Их взбесило само название. Самед Вургун, он был председателем Союза писателей, так и сказал: «Ты почему именно про Карабах разговор в романе затеял, у нас что, других краёв нету? Вбил себе в голову — Карабах да Карабах. Идёшь по стопам этой свихнувшейся старухи Мариэтты Шагинян? Та тоже в “Огоньке” написала, будто Карабах — десятая область исторической Армении. Соображаешь, что творишь? Устроился на корабле и против капитана бунтуешь! Коли тебе так уж плохо живётся в Баку, могу подыскать тебе местечко получше». Самед показал глазами на здание МВД, оно стояло прямо напротив Дома писателей, по ту сторону площади, на нынешнем проспекте Шаумяна. То есть оно и нынче всё там же со своей внутренней тюрьмой. Словом, первая моя книжка радости мне не принесла. Или другой руководитель Союза писателей, Мехти Гусейн, он ещё по совместительству редактировал литературный журнал на азербайджанском языке. Зашёл он как-то в русскую редакцию «Литературного Азербайджана», а в это время мы там с Юрием Граниным и Иосифом Оратовским сидели, разговаривали. Он входит и говорит: «Здравствуйте, товарищи писатели Гранин и Оратовский!» Как бы вам это понравилось? Я и говорю: «А я, товарищ Мехти Гусейн, что же, не писатель?» — «Нет, — отвечает, — ты не писатель, а дашнак и пилишь сук, на котором сидишь». — «А ты, — говорю, — в таком случае типичный мусаватист». Словом, опять брань, оскорбления. И всё из-за «Карабахской поэмы», которую никто из них и прочесть-то не удосужился. Исключая, конечно, заглавие. Точно так же сегодня никто здесь не читал «Очаг» Зория

Балаяна, но шум устроили на всю страну. Мне всё это надоело, я возьми и напиши про эти художества в ЦК, Мир-Джафару Багирову. Ночью Багиров звонит редактору газеты на армянском языке «Коммунист» Тиграну Григоряну и требует представить ему книгу, а потом распоряжается напечатать в «Бакинском рабочем» положительный отзыв. Видели бы вы, как юлили, как заискивали передо мной вчерашние гонители, как они передо мной извинялись. Однако ж это благодушие преследовало дальнюю цель. Вскоре в Баку затеяли борьбу с Мариэттой Шагинян, да не на жизнь, а на смерть. Приглашают меня в ЦК — мол, так-то и так-то, поставь свою подпись под статьёй, уже готовой, где Мариэтту Сергеевну смешивают с грязью. Я наотрез отказался. Она, объясняю, для меня всё равно что духовная мать, она первая сказала доброе слово о моих писаниях. «Иди и подумай, — холодно сказали мне. — Мы позовём». Но не позвали. Позвали Маргара Давтяна — уважаемый, достойный человек, депутат Верховного Совета. Был такой порядок — одного из армянских интеллигентов Баку полагалось избрать депутатом. Прежде в депутаты выдвигали артистку Жасмен, в сорок девятом, после того как армянский театр в Баку закрыли, депутатом стал Давтян. Прямо по народному присловию — собаки сцепились, нищему повезло. Повод подвернулся что надо, и прежний ваш редактор Самвел Григорян им воспользовался. Пошёл в ЦК и, назвав кандидатуру Маргара Давтяна, предал его. Дескать, он прозаик и хороший знаток истории. Ваш прежний — опытный лис. Прекрасно понимал — эта подпись погубит Маргара, и редактором армянского журнала «Гракан Адрбеджан» и депутатом Верховного Совета неизбежно станет он сам, Самвел. Так и вышло. Все республиканские газеты — азербайджанские, русские, армянские — напечатали ту антиармянскую статью за подписью Маргара Давтяна и Тиграна Григоряна. Для Тиграна это значения не имело, в бытность свою секретарём Карабахского обкома он к таким вещам привык, а Маргара эта статейка морально уничтожила. Случилось это тридцать лет назад, и вот уже тридцать лет ваш прежний шеф не расстаётся с депутатским своим значком.

— А то как же, — подтвердил Сагумян, — значок, можно сказать, оплачен кровью, теперь он его не выпустит из рук. У азербайджанцев хорошая поговорка есть: кйор тутугыны брахмаз, то есть слепец что схватил — не выпустит.

— Да что толковать, Арутюн, — задумчиво сказал Гурунц в ответ на реплику Сагумяна, — покончить с армянином рукой армянина никакое не новшество. Преследуя армян, здешнее руководство неизменно подыскивает опору среди самих армян. В гибкости ему не откажешь. Оно всегда ставило на тех, кто ради личной выгоды готов наплевать на интересы и достоинство родного народа. Кто даровал неприступную Шушинскую крепость беглому персидскому разбойнику Сариджаллу Панахали? Бесчестный армянин Шахназар! Кто растоптал такого замечательного человека, как Багра́т Улуба́бян? Продажный пёс, именуемый Геворгом Атаджаняном. Я слышал, он у вас работает. В «Мастере и Маргарите» Булгаков описывает, как Иуда из Кириафа пригласил в гости проповедника Иешуа и за угощением выказывал величайший интерес к его взглядам на государственную власть, а потом выдал его палачам. Точно так же ваш Атаджанян с одним из себе подобных (не хочу называть его по имени, потому как о мёртвых или хорошо, или ничего), так вот, они зазвали в гости Багра́та с Богданом Джаняном, а застольный разговор от первого до последнего слова записали и передали в КГБ. Это было, когда карабахцы в очередной раз подняли вопрос о воссоединении с Арменией. Собирали подписи по всем районам и сёлам. Сорок пять тысяч подписей. Ну а вскорости на некоторых известных людей начались гонения, кое-кому пришлось уносить из республики ноги.

Гурунц надолго задумался.

— Сорок человек после зверских пыток в бакинских изоляторах и тюрьмах, — продолжил он, — отправили в Коми, в печально знаменитые тамошние лагеря. Среди них и отец ученика второго класса Нельсона Мовсисяна Беник Мовсисян, которого в селе Куропаткино Мартунийского района убил небезызвестный директор школы Аршад Мамедов, выколол ему глаза. В похоронах этого самого Аршада Мамедова участвовали, между прочим, Искендеров, председатель верховного совета Азербайджана, и Алиханов, предсовмина республики. — Гурунц недолго помолчал и с горечью сказал: — Тогдашний первый секретарь Азербайджанской компартии Вели Юсуфович Ахундов распорядился выдворить Улубабяна из Карабаха, ну а на его место — он возглавлял областное отделение Союза писателей — посадили не кого иного, как продажного пса Геворга Атаджаняна. Для этого мерзавца за день, раз-два и в дамки, пришлось принять в Союз писателей. Нечто невиданное и неслыханное. К примеру, Максим Ованесян, человек вполне даровитый, вот уже пятнадцать лет дожидается своей очереди, а его не принимают, и всё тут. Таких авторов, как Вардан Акопян, Рачья Бегларян, Нвард Авакян, Комитас Даниэлян — а их ведь и в Армении неплохо знают, — к союзу не подпускают, а этого бездаря и убожество быстренько, всего за день, приняли. А знаете, кто дал ему рекомендации? Самвел Григорян и ваш новый главный редактор. Хотите, позовите, я ему это в глаза скажу. Эх, да что толковать... За всю историю Армении не зафиксировано такого, чтобы завоеватели — будь то персы, арабы или турки — подняли руку на верховного нашего патриарха. Только большевики оказались горазды на такое. Католикос Хорен Мурадбекян отказался отдать им сокровища первопрестольного Эчмиадзина. И в 1938-м его святейшество умер от удушья, задохнулся угарным газом. И кто стоит за этим злодеянием? Армянин и большевик Анастас Микоян. И наконец, кто, присоединившись к Серго Орджоникидзе, предложил пересмотреть решение Закавказского бюро партии от третьего июня 1921-го, которое оставляло Нагорный Карабах в составе Армении? Да секретарь Закбюро армянин Назаретян! И пятого июля, после нового голосования, Карабах отдали Азербайджану. Такого рода качества издавна, начиная с пионера Павлика Морозова

и кировабадца Гриши Акопяна и по сей день, и поощряют, и культивируют. Чего же мы удивляемся человеконенавистничеству Сталина, Берии, Багирова? Разве кого-то из их прихвостней осудили? Накануне мировой войны Сталин уничтожил сорок тысяч человек, от офицеров до маршалов, из командного состава Красной Армии. Это по его прямым указаниям пытали маршала Блюхера, ломали ему позвоночник, и на восемнадцатый день после ареста тот умер под сапогами следователей. В сорок шестом, теперь уже по приказу Берии и при непосредственном его участии, палачи-следователи истязали нашего с вами соотечественника маршала-лётчика Арменака Ханферянца из села Мец Тахлар. В восемнадцатом году, будучи шифровальщиком в штабе Бакинской коммуны, он слышал тайные телефонные переговоры Берии с агентами английской разведки и поставил в известность руководство. Берия этого не забыл... Да что Блюхер, что Ханферянц! Сталин, этот всемирного масштаба палач, уничтожил сорок миллионов человек, мог бы и со всей огромной страной разделаться, но, по счастью, решил этим ограничиться. Ну и кто бы схватил его за руку, кто бы выступил ему наперекор, вздумай он удвоить или утроить число жертв? А никто. Право казнить, ссылат, стирать с лица земли целые народы и нации принадлежало ему единолично, было его прерогативой и собственностью. Самодержец и всемогущий тиран, он изображал свою персональную диктатуру диктатурой пролетариата. Всё, так сказать, чин по чину: вот вам советский народ, вот вам его передовой отряд — рабочий класс, а вот и руководящее ядро этого отряда — партия во главе с политбюро, ну и, наконец, генеральный секретарь политбюро Сталин. И всякий, кто против Сталина, тот, стало быть и против партии, против народа, то есть его, народа, враг. Теперь, когда Сталина не стало, право казнить и миловать поделили между собой тысячи мелких тиранов. Один из них — первый секретарь Нагорно-Карабахского обкома Борис Кеворков, наделённый в своей епархии почти такой же неограниченной властью. Культ личности после смерти Сталина осудили, Берию и Багирова расстреляли, смотрите, дескать, у нас всё по закону, ведь у нас и конституция есть, и прокуратура, и суд, и правосудие. Всё это будто бы создано, чтобы служить интересам народа. Между тем у гидры взамен отсечённой головы повыврастали новые головы, много новых голов. И как это вытерпеть? — Гурунц перевёл дух и тихо, словно говорил сам с собой, сказал: — Истина, справедливость — они будто бы положены в основу нашей жизни. Покажите мне Бога ради, где вы их видите или видели. Если не вы, то другие. Не сегодня, так накануне. Может, они дожидаются за семью печатями, чтобы мы их освободили и вывели на свет?

Двери тихонько отворились, и в комнату с неизменной своей авоськой в руке вошёл наш прежний главный редактор. С клоком седых волос на плешивой уже голове, будто бы приклеенном слева направо, с отвислым подбородком, рыжеватый, маленький, но всё ещё крепкий, он на мгновение замешкался, повозился с папкой для бумаг и, пристально глядя на Гурунца, молвил:

— Мне Кеворков квартиру дал. В его словах так и сквозило намеренье подлить масла в огонь.

Гурунц поднял голову и воззрился на него.

— Тебе что, жить было негде? А трёхкомнатная квартира неподалёку от армянской церкви, на бывшей Базарной, ныне улице Гуси Гаджиева? А новая четырёхкомнатная у дома правительства на набережной — её, я слышал, тебе Гейдар Алиев дал?

— Да не здесь, в Степанакерте, — великодушно снизошёл до объяснений прежний. — Чтобы летом ездить и тутой лакомиться. Карабах, он как-никак моя родина, у меня и стихи соответствующие имеются: «Шахасар», «Сингара» и всё такое. Вот, к примеру, только-только сочинил, уже после того, как получил квартиру:

Когда говорят «Карабах»,
Я горы тотчас вспоминаю,
Журчат его речки в ушах,
Ах, камни, я вас вспоминаю...
Горячий в тоне лаваш,
Прохладу гумна вспоминаю,
Тута наша, край милый наш
Опять и опять вспоминаю.

— И что дальше? — спросил Гурунц.

— Куда ж ещё дальше? — осклабился прежний и шмыгнул носом. — Гимн во славу малой родины. Гимн родной природе. Всё ясней ясного.

— Один мой родственник, он рабочий Карабахского шёлкового комбината, — не глядя на собеседника, с угрожающей вежливостью произнёс Гурунц, — уже восемнадцать лет ютится с семьёй в узком сыром подвале, ждёт очереди на квартиру и гадает, через сколько лет она подойдёт. А твой Кеворков даёт тебе квартиру, чтобы ты, видите ли, летом тутой лакомился. Баграт Улубабян Карабаху всю свою жизнь отдал, Богдан Джанян в лагерях из-за Карабаха сидел, так их ездить туда и то лишили права. Мне, который все свои книжки да и всю свою жизнь ему посвятил, тоже запрещено там показываться. — Гурунц громко втянул в себя воздух. — Из страха перед Кеворковым родичи мои заговорить со мной боятся. Подлая и продажная тварь — вот он кто, твой Кеворков. И пока такие, как он, ещё не перевелись и безнаказанно отравляют атмосферу вокруг, не видать нам ни нормального суда, ни справедливости.

— Прошу тебя, Леонид, не веди при мне такие речи, — протестующе сказал экс и снова шмыгнул носом.

Года два-три назад он точно так же предупредил писателя Сурена Айвазяна. Седоволосый, с располагающим лицом, общительный и словоохотливый, Айвазян раздражённо говорил о Брежнев: «Страна чуть ли не голодает, в магазинах шаром покати, повсюду взятки, мздоимство, грабёж, а он что ни месяц очередной орден на грудь цепляет. Уже и места-то нет, осталось разве что на пуп парочку навесить». Все рассмеялись. Один только прежний насупился, покраснел как рак и произнёс те самые слова: «Прошу тебя, Сурен, не веди при мне таких речей». Айвазян только руками развёл: «Ты, я смотрю, заходя себя подстраховал. Если кто на меня донесёт, и твоё предостережение вспомнит».

Гурунц, однако, сказал нечто совсем иное:

— Больно и досадно, Самвел, что ты за спинами лжекумиров не замечаешь, а верней, не желаешь замечать зло, которое разрастается как снежный ком ежечасно и ежедневно. Разрастается при фарисейском попустительстве тех, кто обязан поставить ему заслон. Заруби себе на носу, от Кеворкова и кеворковых и следа не останется, как следа не осталось от его предшественников — всех этих каракозовых, апуловых, замараевых, шахназаровых, джамгаровых, зияловых, аслановых. Это же надо, в армянской области ни одной армянской фамилии! Один только Егише Григорян армянскую фамилию носил, да и то потому, что жена была турчанка.

Прежний холодно и надменно смотрел мимо Гурунца и только шмыгал носом. А Леонид Караханович не на шутку разволновался:

— Отчего же так? Ты хоть единожды задумался, что ровно сто восемьдесят лет назад Карабах с его тринадцатью областями и с территорией в одиннадцать с половиной тысяч квадратных километров добровольно вошёл в состав России? Что он собою представлял? А вот что. Свыше пяти тысяч историко-архитектурных памятников с армянскими надписями на них, армянские мелики и армянская история, зафиксированная античными писателями от Геродота и Страбона до Диона Кассия. И что нынче осталось от этой территории? Меньше четырёх с половиной тысяч квадратных километров, от которых то тот, то этот норовят отщипнуть ещё и ещё. Кто в двадцатом году опустошил и сровнял с землёй пятьдесят девять зажиточных армянских селений и уничтожил их двадцать пять тысяч жителей, а ещё тридцать семь тысяч обратил в беженцев без угла и крова? Куда подевались очаги деятельной культурной жизни в Шуши — пять типографий, издававших с 1828 года книги и периодику на армянском языке, приходская школа, реальное училище, превосходный театр Мкртыча Хандамиряна, летние и зимние клубы, почти тысяча производственных мастерских, ковроткацкая фабрика, каждый год поставлявшая за рубеж около семисот отборных ковров? Кто, заручившись поддержкой подлых англичан, трижды предавал огню и мечу этот город-красавец, обманом истребляя его армянское население? Думал ты об этом, я тебя спрашиваю? — вскочив со стула и заметно побледнев, повысил голос Гурунц. — Почему среди полумиллиона живущих в советском Азербайджане армян нет ни одного композитора, художника, учёного, ни одного республиканского масштаба руководителя, ни одного секретаря или хотя бы завотделом ЦК, ни одного пристойного писателя? Не странно ли, при ненавистном царизме в Баку действовали Армянский национальный совет, и Союз писателей-армян, и армянские благотворительное, человеколюбивое и культурное общества — что же сегодня? Александр Ширванзаде и Иоаннес Иоаннесьян прожили здесь едва ли не всю жизнь, зато в советские времена лучшие писатели-армяне — Гарегин Севунц и Амо Сагян, Ашот Граши и Сурен Айвазян, Аршавир Дарбни, Гарегин Бес, да и я, Леонид Гурунц, всех и не перечесать, — все мы волей-неволей республику покинули. Куда пропали в Баку несколько десятков армянских школ, дома культуры, библиотеки, типографии и, наконец, театр, исправно и бесперебойно радовавший зрителя с 1870 года? Почему карабахские писатели, которым и без того позволялось не чаще, чем раз в пять-шесть лет, издавать жалкую брошюру, почему они после долгих лет гонений бросали всё и буквально бежали? Причём Баграт Улубабян, Богдан Джанян, Жан Андриян, те и в Ереване насилиу вырывались из когтей Кеворкова.

— Тебя слушаешь, здесь нет ни одного стоящего писателя! Я что, тоже не писатель, а? — с яростью возопил экс. — Мой двухтомник напрасно напечатали, звание народного поэта Азербайджана напрасно мне дали?

— Звание народного тебе дали те, кто не может прочесть, что ты там накропал. Это же глупость, а когда правду подменяют глупостью, дело плохо.

— Слава богу, — медленно, весомо, выделяя каждое слово, отчеканил экс, — что не ты и не тебе подобные решают, кого можно, а кого нельзя наградить званием и титулом. Слава богу! — повторил он и двинулся к двери.

— Ступай, ступай! Из всего, что я тут сказал, тебя лишь это и задело, верно? — Гурунц держался спокойно, хотя давалось ему это не без усилий. — Ступай, не ровен час, из распределителя продукты доставят, а тебя дома нет. Обидно! Спецмагазин, спецбольница, спецгостиница, спецклад и доплаты, спецаптека, спецуборная... Куда ни сунься, всё сплошь спец — от роддома до кладбища. Всё специальное, отдельное от иных-прочих. Народу одно, вам другое. Вроде бы добрались уже до конечной своей цели, построили себе спецкоммунизм: от каждого ноль и каждому по потребностям. А потребности таковы, что на всеобщий коммунизм пока что и не надейся.

Прежний многозначительно смерил Гурунца взглядом с ног до головы. Его зрачки при этом злобно сузились; он, тем не менее, промолчал и, налившись ненавистью и шмыгая носом, удалился. Попрощаться он забыл. Однако через мгновение дверь открылась опять, и он злорадно бросил:

— Знаешь, Гурунц, кого ты мне напоминаешь? Лису, которая, не дотянувшись до винограда, обзывает его зелёным да незрелым.

Он изо всех сил хлопнул дверью.

Все молчали.

Арина стояла в дверях своей комнатки и молча наблюдала.

— В восемнадцатом году здесь, у него на глазах, турки зарезали его мать и сестру, — наконец-то нарушил молчание Сагумян. — Сам он спрятался под кроватью. Вместо того чтоб описать это, высасывает из пальца невесть что. Тоже мне мемуарист!.. Отправился доносить.

— Ясное дело, — согласился Гурунц и, не в силах успокоиться, продолжил свой монолог: — Где же наша общественность, Арутюн? Взять хотя бы тебя, бывшего командира партизанского соединения. Что ты обо всём этом думаешь? Что думают коммунисты, которые всё знают и понимают, однако помалкивают в тряпочку, а когда надо, рукоплещут мудрому руководству? А ведь мы говорим правильные слова, мол, каждый коммунист, каждый член общества несёт ответственность за всё, что бы ни происходило в стране. В чём она, эта самая ответственность? В том, что никто не хочет лезть на рожон? Или, как сказал Гамлет, благоразумие делает каждого из нас трусом?

— Ты, Леонид, год за годом непрестанно протестуешь, пишешь во все инстанции. Хоть чего-то ты добился? — вмешался Сагумян. — Дело в том, что бороться со злоупотреблениями поручают именно тому, кто злоупотребляет. И твои протесты и жалобы переправляют чинуше, на которого ты как раз и жалуешься.

Гурунц ответил не сразу.

— Да, так оно и есть. Молодые не знают, но мы-то с тобой помним, как душили беднягу карабахца, как принуждали его брать неподъёмные займы, а потом, чтобы погасить навязанные эти займы, угоняли с подворья несчастного крестьянина последнюю коровёнку или там овцу, сдёргивали со стены дедовский ещё коврик, потрошили тюфяки с одеялами — забирали шерсть, отнимали швейную машинку, отдирали с кровли жёсть, открывая дом всем ветрам и дождям. Жалобы потоком утекали в Москву, но возвращались оттуда в Баку и далее в село, но не затем, чтобы проверить их обоснованность, а чтобы выявить жалобщика и примерно его наказать.

— Всё верно. Правда, она и есть правда, — тяжело закивал головой Сагумян.

— Ровно сто лет назад Макар Бархударянц объездил из конца в конец весь Карабах. И написал, что здесь лежат в руинах три города, десять посёлков и триста шестьдесят деревень, перечислил названия десятков и десятков селений, где прежде обитали армяне, а ныне — кочевые племена. Возьмите дореволюционные энциклопедии, полистайте их. И вы узнаете, что в 1914 году в Нагорном Карабахе насчитывалось двести двадцать четыре армянских населённых пункта, в которых обитали двести семьдесят тысяч человек. И только пять процентов населения составляли не армяне, остальные девяносто пять — наши отцы. Девяносто пять процентов армян! В восемнадцатом году их число достигло трёхсот тридцати тысяч. А вот через двадцать лет, то есть накануне Великой Отечественной войны, их количество сократилось до ста тридцати двух тысяч. Сорок пять тысяч из них ушли на фронт, иными словами, трое из пяти. Ну а позже выяснилось, что из азербайджанских районов республики, которые уж никак не уступали по числу населения Карабаху, взяли на войну раз в пять-шесть меньше народу. После войны в ночь на четырнадцатое июня 1949 года двадцать четыре с половиной тысячи человек были высланы из Карабаха в Алтайский край. И, будто этого мало, в 1952–1955 годах двадцать тысяч юношей и девушек армян послали на стройки Сумгаита, Мингечаура, Карадага, Али-Байрамлы... По сути дела, это был ничем не прикрытый план обезлюдить Карабах, и в жизнь его проводили на государственном уровне. — Гурунц опять перевёл дух. — До Кеворкова в Карабахе хозяйничал Володин — одного с ним поля ягода, вымогатель и крупнокалиберный взяточник. Он не намекал, а прямым текстом требовал и посылал служебную машину за данью. Её составляли куры, яйца, мясо, масло, мёд, сыр, хлеб из тоныра, словом, что его душе было угодно, но более всего — тутовая водка. Знаменитой нашей тутовки ему везли по десять и двадцать литров, однажды он превзошёл себя и велел привезти сорок. Был такой Товмасян, председатель колхоза «Кармир гюх» («Красное село»), — тот, было дело, не выдержал и не только послал собирателя дани куда подальше, но и обложил матом самого секретаря обкома и назвал его вдобавок побирушкой. Этого Товмасяну не простили. Бедолагу выставили из партии, сняли с работы и посадили за решётку. Володин как-то по пьяни бахвалился: «Надо будет, я весь Карабах посажу». И правда, сколько невинных людей лишились из-за него свободы, сколько жизней он утробил. Известное дело, где сила — закон, там закон бессилён. Этот извечный и бесчеловечный закон силы, подчиняющий слабых могущественным, отнюдь не нов. Ещё в пятом веке до нашей эры, преодолев отчаянное сопротивление жителей маленького островка Мелос, армия афинян заставила их капитулировать; этот позорный эпизод описал в своё время Фукидид. Ибо сильный делает всё, что в состоянии сделать, а слабому приходится уступать. Вагоны жалоб на самоуправство Володина шли во все мыслимые инстанции. Без толку. Да я и сам не раз говорил и писал о преступных его делах — и с тем же результатом. Глас вопиющего в пустыне, не более

того. Не помню случая, чтобы партработник или сотрудник правоохранительных органов хотя бы в одном вопросе, хотя бы раз оказался неправ. Это глубоко укоренённый обычай — они правы всегда и во всём, а ты бейся головой о стену, всё равно ничего не докажешь.

Арина принесла Гурунцу чай и несколько конфет на фаянсовом блюдечке.

Гурунц с видимым удовольствием отхлебнул крепкого, почти чёрного чая.

— Помощник члена политбюро Пельше отказал мне в приёме, да ещё заявил: «С какой стати вы явились к председателю Комитета партийного контроля, вы же не член партии. И по какому, собственно, вопросу вы хотите с ним побеседовать? Вы соображаете, что делаете, критикуя секретаря обкома? Кто вам поверит! Если уж хотите знать, сам Арвид Янович не вправе тронуть его пальцем». Карабахские армяне столетиями сажали тутовые сады. Туту высушивают, её сок уваривают, изготавливают из него так называемый дошаб; и сушёная тута, и дошаб обладают отменными целебными свойствами. А ещё из туты гонят крепчайшую водку. Воспользовавшись непродуманным решением союзного правительства об усилении борьбы с самогоноварением, ЦК компартии Азербайджана принял решение вырубить в Нагорном Карабахе все тутовые деревья. Казалось бы, простое самодурство. Но нет, это решение принимали обдуманно, взвешенно и с дальним прицелом — лишить армянского крестьянина средств к существованию, чтоб он бросил свой очаг и землю и ушёл обустриваться куда захочет — на Северный ли Кавказ, в Среднюю ли Азию. Пусть уйдёт, куда заблагорассудится, только б ушёл. Это ли не геноцид? Или, к примеру, правительство Азербайджана постановило перенести из Карабаха небольшие тамошние производства: автотранспортную колонну и бойню — в Агдам, шелкоткацкую фабрику — в Нуху. Цель всё та же — лишить армян работы, подтолкнуть к отъезду. Получается, что положение армян в шахской Персии два века назад было куда лучше, чем в алиевском Азербайджане.

Гурунц допил чай, немного поёрзал на стуле, должно быть, устал сидеть в одной позе.

— Недавно корреспондент антиармянски настроенной «Правды» Таиров опубликовал материал о Нахичевани. На что он обращает внимание? На многочисленные мечети. А вот ни одного из армянских памятников его зашторенные глаза в упор не замечают. Он не видит ни разорённого и опустошённого Агулиса с двенадцатью дивными церквями, ни разрушенных армянских сёл, таких как Бадамлы, где восемьсот армян от мала до велика и местный священник с ними были в одночасье насильственно отуречены под угрозой ятагана, а церковь обращена в мечеть, где насильственно совершались браки мусульман с армянками. В другом селе Джагри примерно пятидесяти мужчинам были отрезаны головы на глазах жён и детей. Я уж молчу об историко-архитектурных свидетельствах многовекового армянского присутствия, ну, к примеру, о варварски разбитых хачкарах Джуги с их изумительными орнаментами, а ведь количество хачкаров доходило там до трёх тысяч. Одним словом, армяне Нахичевана вынесли сельджукское иго, царский гнёт и даже турок и мусаватистов, но только не проводимую советской властью политику их удушения. Армянский Нахичеван пустеет.

— Выходит, Леонид Караханович, вовсе Наири Зарьян не преувеличил, когда воскликнул: «Напрасно ты, Севан, бушуешь непрестанно, твою судьбу с моей решают океаны»?

Гурунц дружески положил руку на плечо Лоранны, с горечью усмехнулся.

— До 1929-го площадь Армении составляла тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять квадратных километров. Восемнадцатого февраля того года решением Закавказского бюро Азербайджану было передано четыре тысячи семьсот тридцать девять квадратных километров армянской территории. На карте, помещённой в 1926 году в Большой Советской энциклопедии, Нагорный Карабах ещё не отделён от Армянской ССР полосой земли. Впоследствии, чтобы добиться этого, провели многоходовую комбинацию. Сперва с подачи Баку, но по распоряжению Москвы создали так называемый Красный Курдистан, включавший в себя нынешние Зангеланский, Кубатлинский, Лачинский и Кельбаджарский районы. Затем нужды в существовании этого искусственно образованного округа не стало, дело-то уже было сделано — Карабах отделили от Армении. В тридцатом году эти районы уже значились на картах в составе Азербайджана. Неглупо придумано, — хмуро заключил Гурунц, потом, немного помолчав, сказал устало: — Последнее деление Армении было запланировано на лето тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Это открылось во время суда над Багировым, который руководил республикой ровно двадцать лет. Перекрёстным допросом председателя военного трибунала Руденко выяснилось, что Багиров намеревался Дагестан присоединить к Азербайджану, а также он сам, то есть Багиров, Берия и Сталин должны были летом 1953 года организовать огромную насильственную депортацию армян из Армении, после чего население в Армении стало бы меньше миллиона, чтобы лишиться прав союзной республики. На вопрос Руденко о том, что таким образом Армении должны были разделить между соседями, Багиров без колебаний ответил, что да, однако смерть Сталина помешала осуществлению этой программы. На новый вопрос Руденко о том, в чем была основа, что побудило к объединению ваших, Берии и Сталина намерений, Багиров ответил, что Кремлю было выгодно на Востоке, в преддверии мусульманского мира, иметь такую могучую и верную опору, как Азербайджан.

Гурунц, опять помолчав немножко, спросил:

— Вам приходилось видеть одинокое дерево, стоящее чуть поодаль от леса? В погоду ли пору, в непогоду ли оно вечно беспокойно, словно пытается нащупать ветвями что-то вблизи себя. Мне неизменно казалось, что дерево хочет

отыскать опору, надёжную поддержку. Хочет и не может. Проходят годы, сменяют одно другое десятилетия, а дерево стоит себе, потрёпанное ветрами, и по-прежнему гнётся, извивается в поисках. Это Карабах, который триста с лишним лет со времён Исраэла Ори и доныне шлёт делегации, взывает о помощи, требует и протестует. А кругом по-прежнему мёртвая тишина и каменное безразличие. Как одинокое дерево, он ищет опору и надёжную поддержку и гнётся, извивается в поисках, потому что до него не доходит — его судьбу и впрямь решают океаны. Ну ладно, хватит, — оборвал себя Гурунц, — вставайте. Всё, что я сегодня наговорил, я давно уже написал. Хотя... кто ж это будет издавать? Не печатают и не напечатают. Подымайтесь, разговорами делу не поможешь. Свободу добывают оружием и кровью, священной кровью множества людей.

Гурунц взял старенький, вконец выцветший толстый портфель и первым вышел в коридор.

От лифта навстречу им двигались, беседуя, ведущие, которым предстояло работать на вечерних передачах, а за компанию с ними и редактор отдела детских программ Тельман Карабахлы-Чахальян — человек с двумя десятками волосков на голове, припухлыми веками, отливающими краснотой вечно бегающими глазками и сморщенными губами. Лет за пятьдесят, абсолютно бледный и при жёлтом галстуке, он производил впечатление пусть и не полного, но несомненного безумия. Приделай ему тонкие усики с подкрученными кверху концами — и вот он, Сальвадор Дали, собственной персоной.

— Мы на работу, а вы с работы! — Своё философическое умозаключение Тельман изложил на колоритнейшем карабахском наречии, ни капли не сомневаясь, будто изъясняется образцовым литературным языком, и, не здороваясь, прошествовал дальше.

Детство этого самого Карабахлы-Чахальяна прошло в городе Барда, мать его с двумя детьми-малолетками вышла за азербайджанца, образование он получил азербайджанское, окончил юридический факультет университета, поговаривали, что даже проработал несколько месяцев прокурором в отдалённом районе. Затем устроился в одной из азербайджанских редакций на телевидении, а после того как появились армянские телепередачи, его перевели в нашу редакцию. Но как он умудрился закончить университет и как работал до перехода к нам, вообразить было немислимо; над двумя-тремя страничками детской передачи он страдальчески корпел по две недели, и оставалось неразрешимой загадкой, чего ради прежний главный привёл его в армянскую редакцию. То ли его заставили сделать это в КГБ, то ли в ЦК; как бы то ни было, Тельман уже несколько лет подвизался на новой должности и палец о палец не ударял. Про него наши парни придумали анекдот, порядком насмешивший Гурунца. Будто бы мать взяла Тельмана за руку и повела, как Гикора в туманяновском рассказе, устраиваться на работу к редактору армяноязычной газеты «Коммунист» Гегаму Барсеговичу Антелепяну. «Он хоть буквы-то знает?» — интересуется Антелепян, происходивший из западных армян. «Да что ты, родненький, — отвечает мать, — знал бы, я б его не к тебе повела, а в “Бакинский рабочий”».

Новый главный тоже не хотел с ним связываться. Как-то раз на заседании коллегии зашла речь о безделье Тельмана. Главного разговор очевидным образом огорчил, он провёл по лицу ладонью, словно сбрасывая с себя тяжкую обузу, отвёл глаза в сторону и сказал, как отрезал: «Считайте, что эта тема закрыта. Убедительно вас прошу больше к ней не возвращаться». А мне, разоткровенничавшись, признался: «Ну, не могу я его снять, это выше моих сил».

Втроём — Гурунц, Сагумян и я — мы спустились в лифте вниз и вышли на улицу.

Стоял ясный весенний день, солнце пригревало приятно и не жарко, в тени толстенных лип компания молодёжи попивала чай, с ленцой оглядывая прохожих и нескончаемый поток машин на проспекте, а в глубине парка, под высокой стеной Ичери-шехер ватага школьников наслаждалась в открытом кафе мороженым, оглашая округу беззаботным смехом.

— Он обязан редактировать чужие материалы, но, понятное дело, не редактирует. Ему это не по зубам, — поддал Сагумян реплику в адрес Карабахлы-Чахальяна. — Мало того, кому-то приходится переводить, приводить в божеский вид и готовить весь тот детский лепет, который он там и сям уворовал. Он же должен получать свой ежемесячный гонорар!

— Это тоже показатель того, как относятся к нашему народу, — сделал вывод Гурунц. — Относятся, как видите, пренебрежительно. В телерадиокомитете десятки редакций, неужели нельзя было пристроить его куда-нибудь?

— Да ведь он азербайджанских-то букв тоже не знает, — отшутился Сагумян, — кто же станет его держать! Их в отделе двое, он и Геворг Атаджанян, которого ты час назад охарактеризовал. Тот ещё тип, всем недовольный, сварливый. Ну, два сапога пара, целый день они грызутся. Геворг был корректором в журнале «Гракан Адрбеджан», его оттуда попёрли, а мы взяли и влипли.

— А знаете, что в царское время здесь, на месте станции метро «Баксовет», начиная от здания нынешней филармонии до центрального универмага, были русско-армянское кладбище и величественная церковь. — Гурунц повернулся и, стоя на залитом солнцем тротуаре, долго и пристально вглядывался в здание, где располагалась редакция, в который уже раз оценивая соразмерность и гармоничность его частей, сводчатые окна, украшенные резьбой стены, барельефы. — Жизнь — это мгновенье между будущим и минувшим, не больше того, — запустив пальцы в непокорную густую шевелюру, сформулировал он, о чём думал, и его лицо выразило глубокое сожаление.

— Знаете, в чём очарование молодости, её тайна? Мне сдаётся, не в том, что перед тобой шанс и перспектива всё на свете сделать, а в том, что ты думаешь — я всё сделаю. Человек живёт мечтами. Молодому хочется жить и радоваться, хотя молодость, она сама по себе уже радость, зрелому хочется жить в довольстве и комфорте, старику хочется лишь одного — жить подольше. Помню как сегодня — ты молод, всё впереди, ты летишь сломя голову вверх-вниз по этим лестницам. А нынче каменные ступени стёрлись, точно сама жизнь. Я проработал здесь ни мало ни много восемь лет, ещё не было телевидения, служил я в редакции русских радиопередач. Вообще передачи велись поровну на трёх языках — армянском, русском и азербайджанском, председателем радиокомитета был армянин по фамилии Ованнисян, был и секретарь ЦК армянин, если не ошибаюсь, Арушанов. А до Багирова, между прочим, после Кирова первым секретарём ЦК был Левон Мирзоян, родом из карабахской деревни Ашан. Его на этом посту тоже армянин заменил — Рубен Гукасович Рубенов. В тридцать седьмом году угробили его Берия с Багировым. А знаешь, чей это дом?

— А то нет! — Сагумян, похоже, даже обиделся. — Таких вещей наш Лео может не знать, а мне сам Бог велел. Дом этот принадлежал братьям Мирзабекянам, и в нём насчитывается девятьсот девяносто девять комнат. Помимо нашего комитета, здесь расположены десятки учреждений, включая прокуратуру, министерства, проектные институты. Проще сказать, чего здесь нет. И, кстати, все тринадцать зданий в этом ряду, одно другого краше, принадлежали в своё время армянам — Будагянам, Шахгельдянам, Тёр-Акоповым... А вот это — дом Тумянянов, следующий — тёр-гукасовский, вплоть до пятидесят третьего года в нём жил Багиров, а сейчас его отдали под картинную галерею. А дом у моря, ниже по этой же улице, где сейчас правление «Азнефти», он принадлежал карабахцу Арамянцу. Ещё дальше стояла управа армянских приходских школ. А если идти к Баксову по нынешней улице Горького (прежде она звалась Армянской), там один за другим красовались армянское человеколюбивое общество, армянская церковь и особняк Манташева. В сентябре 1918-го мусаватисты с турками согнали во двор манташевского дома три тысячи армян — женщин и детей — и всех до единого перебили. Да, Манташев... Это ведь он на свои средства выстроил от Баку до Батума нефтепровод протяжённостью 835 километров. До революции сотнями бакинских домов, среди них и нынешние филармония имени Магомаева и театр оперы и балета имени Ахундова, владели армяне. Говорят, Габриэл Тёр-Гукасов попросил архитектора Тёр-Микелова так спроектировать помещение, где ныне летний зал филармонии, чтобы, сидя за чашкой чая на балконе своего особняка, что чуть поодаль, он слушал бы музыку. Это и называют иронией судьбы. Потому что в дальнейшем его палач Мир-Джафар Багиров так именно и поступал — распивал чай на балконе тёр-гукасяновского дома и наслаждался музыкой, доносившейся из построенного Тёр-Гукасовым мраморного зала. Видишь вон то великолепное здание напротив филармонии? Его тоже построил архитектор Тёр-Микелов. В тридцатые годы в нём находился ЦК, руководимый всё тем же Багировым.

— Всё так и было, — подвёл итоги Гурунц. — В пятом и восемнадцатом годах турки вырезали тех, кто построил эти дома и кому они принадлежали, и завладели всем имуществом убитых: заводами, фабриками, магазинами, конторами. — Голос Гурунца надломился. — А тех, кто чудом уцелел, расстреляли по указке Багирова и Берии либо сплывили в Сибирь на погибель. Вернуться никому не довелось.

Всю дорогу до метро мы молчали.

— Я иду к писателю Сурену Каспарову, — сказал Гурунц. — Меня там ждут. Надо бы заново прочесть письмо в политбюро об антиармянской деятельности Алиева и Кеворкова. А с утра пораньше прямиком от Сурена поеду в аэропорт. Вчера мы до позднего вечера восьмером разбирали это письмо, прозвучали очень разумные замечания, так что без уточнений и поправок не обойтись. Это не вопрос, я, что надо, сделаю. Слышал, здесь, в Баку, на сессии верховного совета Сурен Адамян, председатель колхоза в карабахском Чартаре. Сегодня ждём его у Каспарова, пускай он тоже посмотрит это письмо, было бы полезно. Ну и ну! — вдруг ахнул Гурунц. — Сколько лет я его не видел, а он ни чуточки не переменился...

Мы невольно проследили за взглядом Гурунца. К нам на диво энергичным шагом направлялся высокий, слегка сутулый старик.

— Кто такой? Я его не знаю, — прищурившись, полюбопытствовал Сагумян.

— Я только что рассказывал, как армян убивали рукой армян. Вот извольте, чекист Асцатуров, Давид Аветович Асцатуров. Слыхали?

— Тот, кто Тевана...

— Именно тот, кто погубил Тевана Степаняна, благодаря которому армянство Карабаха не было всё-таки под корень истреблено турками и мусаватистами. Враг, он среди нас, Арутюн, самый коварный наш враг — среди нас. Дерево бы не рухнуло, не будь топором деревянным. Кто страшней всего для народа? Собственные его подонки.

Между тем старик, поравнявшись с нами, прошёл бы мимо, но Гурунц остановил его.

— Как поживаете?

— Всё в порядке... — Смутьившись, человек остановился и неуверенно обвёл нас одного за другим глазами. — Что-то я вас не признаю, — несколько виновато сказал он, — не припоминаю.

— Мы работаем в армянской газете «Коммунист», — зачем-то сочинил Гурунц. — Как вы?

— Спасибо, помаленьку. В прошлом году получил орден на своё семидесятипятилетие, а в этом победил на республиканских соревнованиях по стрельбе.

Сагумян искренне поразился.

— Вам никак не дашь семидесяти пяти, — только и сказал он. — Вы смотрите куда моложе меня.

— Потому что спортом занимаюсь, — объяснил старик. — После шести не ем, ежедневно холодный душ, зарядка, ну а вечерами пишу мемуары.

— О чём, если не секрет? — Гурунц явно старался разговорить его.

— О своей жизни, — не колеблясь, ответил Асцатуров. — Материала у меня — хоть отбавляй. Я, к примеру, участвовал в депортации татар из Крыма в Среднюю Азию, точнее в Узбекистан. А сразу после татар выселяли греков, болгар и армян. Армян-то, положим, было немного, всего девять тысяч шестьсот двадцать один человек. Существовал секретный договор, по которому Крым должны были отдать евреям, но Сталин потом изменил мнение. Чеченцев с ингушами выселяли — в сорок четвёртом, в день Советской армии, 23 февраля. Расскажу вам интересный случай, едва ли вы знаете. Разыгралась метель, из аула Айбах народ надлежало доставить на железнодорожную станцию, а в горах заносы, грузовики не пройдут. И что вы думаете? По приказу Богдана Кобулова, тогдашнего замнаркома внутренних дел, всех жителей аула, мужчин, женщин, детей, общим числом семьсот тридцать человек, загнали на конеферму, заколотили досками все входы-выходы, окружили ферму плотным кольцом, солдаты с оружием стояли в полутора метрах один от другого, чтобы мышь не проскочила. Ну и подожгли. Доставить-то людей до вагонов не было никакой возможности. На всё про всё дали нам двадцать четыре часа, и другого варианта тут не придумаешь... Я с разными людьми в жизни встречался, про то и пишу. Всякое случалось. Я во время ликвидации одному врагу пулей брюхо разворошил. Была у него девушка любимая, так она ему громадной какой-то иглой живот зашивает, а он орёт благим матом и стреляет по нам. Или другой случай. Поймали одного в Персии, посадили здесь во внутреннюю тюрьму. Он и просит, позвольте, мол, в последний разок на отчий дом глянуть. Он был сыном богатого нефтепромышленника. Ну что ж, отвезли мы его, долго он смотрел из машины, на глазах слёзы, головой качает. А потом возьми да умри, разрыв сердца.

— Про Тевана не пишешь? — по-свойски, даже по-дружески спросил Гурунц.

— Про Тевана Степаняна? — воодушевился старик. — Как же про такое не написать? Он был офицером дашнакской армии, до этого, в царской ещё армии, воевал на турецком фронте, а потом затеял свои контрреволюционные делишки. Про зангезурца Гарегина Нжде вы наверняка слыхали, он умер в пятидесятые годы в знаменитом Владимирском центре. Так Теван делал в Карабахе примерно то же, что Нжде в Зангезуре, подымал народ, пытался воссоединить Карабах с Зангезуром и всей Арменией. Сколотил войско и выступил против одиннадцатой Красной армии, занял все окрестности сёл в Дизаке и Варанде, дошёл до Аскерана... Короче говоря, — старик глубоко втянул воздух, восстанавливая дыхание, — наша ЧК два раза его арестовывала, и оба раза ему удавалось уйти. Председателем ЧК был тогда Багиров, а Берия — его заместителем. Так они самолично поехали в Туми, на родину Тевана. Понапрасну. Позднее, в двадцать девятом или тридцатом, Багиров с небольшим отрядом снова поехал в Карабах, пробыли там украдкой два дня, но до Тевана так и не добрались. Они Тевана не взяли, а я взял. Правда, гораздо позже, одиннадцать лет спустя.

Старик умолк, оценивая, то ли впечатление, какого он ожидал, производит его рассказ. Помолчал и продолжил:

— Теван то и дело менял имена и укрытия, отсиживался то на севере Ирана, то на юге, то в армянских сёлах близ Багдада. Осенью сорок первого, в начале ноября, он работал техником-строителем в административном центре Мазандарана города Сари. Из-за сложившейся в Иране ситуации стройка прекратилась, и Теван собрался уехать в Шираз к англичанам, а из Ширази — в Америку. Но мы поставили ему западню, — ухмыльнулся старик, — подослали агента-армянина, который тоже вроде бы рвался в Шираз. Да не тут-то было. Водитель, которого он отыскал, якобы не соглашался гнать машину в такую даль ради одного пассажира. Найди, говорит, ещё попутчиков, тогда поеду. Тот и нашёл Тевана. Договорились мы с нашим агентом, что будем ждать его в условленном месте километрах в десяти от Тегерана. Мы стоим у машины, подняли капот, словно мотор у неё барахлит. И тут показывается их машина и медленно проезжает мимо. В эту минуту я на карабахском наречии произношу что-то вроде пароля: «Вот незадача-то, застряли на пустыре». Теван услышал, велел остановить машину, весёлый такой направился к нам со словами: «Не бойтесь, я вам застрять на пустыре не дам». И не успел он склониться к мотору, я обхватил его сзади, а двое крепких молодцов с агентом нашим, не мешкая, скрутили его по рукам и ногам. Он только и выдохнул: «Ох и твари же вы гнусные». Да нам его брань без интереса. Сунули его в мешок, перевязали сверху, довели в таком виде до Тегерана, оттуда по приказу Алиева — самолётом в Баку. Не нынешнего, понятно, Алиева, а его тестя — Азиза Алиева, который руководил в те годы нашей миссией в Иране.

Старик опять перевёл дух.

— У Тевана обнаружили толстую тетрадь, исписанную мелким почерком и озаглавленную «Забытый герой». На допросе он ни в чём не признался, вот и предъявили ему как обвинение этот дневник. А как-то раз, — хмыкнул Асцатуров, — его допрашивали тридцать пять часов без передыху, за это время сменилось несколько следователей. И всё

равно следователь Ишханов не выдержал и задремал. Открывает глаза — Тевана нет. Шум, переполох, в городе тревога; нет как нет. Уборщица видит — под лестницей кто-то спит. Кто? Теван! Он пытался сбежать, да у дверей стоял охранник, он спрятался под лестницей, чтобы переждать, и заснул. Багиров собственноручно расстрелял его у себя в кабинете, а семью выслали в северный Казахстан.

— А почему Багиров, во время правления которого в Азербайджане погибло около ста двадцати тысяч человек, в основном армяне, курды, лезгины и талиши, Берия и ты не задержали Хосров-бека Султанова, по приказу и при личном участии которого было истреблено население Хнацаха, Дашушена и армянских сёл Караکشлах, Параджанц, Арар, Минкенд, Спитакашен и Петросашен, лежавших между Карабахом и Зангезуром? — неспешно, словно б успокаивая себя, спросил Гурунц. — Арар, который находится в западной части Гадрутского района, через село Корнидзор Горисского района связывал Карабах с Арменией и до восемнадцатого года насчитывал тысячу семьдесят восемь жителей. Мусаватисты разрушили его, и позже стараниями помянутого тобой Мирджафара Багирова он был выведен из области и со своими выжившими восьмьюдесятью пятью жителями присоединён к нынешнему Физулинскому району. Как такое случилось? И почему вы не схватили этого слепого на один глаз Султанова, ведь это под его предводительством турецкие аскеры и пять тысяч хорошо вооружённых конных курдов подчистую вырезали большое армянское село Кайбалишен, что в двух километрах от Шуши, и примыкающие к Степанакерту деревни Пахлул и Кркжан, истребив шестьсот беззащитных женщин и детей, единственной надеждой и прикрытием которых и был отряд Тевана. Разве не твой армяноненавистник Багиров позднее заселил эти и другие армянские села Карабаха пятью тысячами специально вывезенных из Армении кочевых турок? И разве не тот самый курд Султанов, который сжёг Шуши, вырезал многие тысячи его жителей и велел обезглавить местного батюшку Ваана? Голову несчастного священника дикая толпа насадила на кол и так разгуливала по городу. До чего же точно вас Теван припечатал, — сухо и жёстко сказал Гурунц, с презрением глядя на старика. — Вы и впрямь гнусные твари. Скверные людишки.

Застигнутый врасплох старик отпрянул, изумлённо поднял брови, его гладко выбритое увядшее лицо напряглось. Он испытующе и с подозрением уставился на нас и, стремительно повернувшись, удалился своим отнюдь не по-стариковски бодрым шагом.

— Ладно, я пойду, — сказал Гурунц, устало глядя ему вслед. — Это же надо, сжечь целую деревню, старых, малых, всех до одного. Ну и какая, скажите на милость, разница между эсэсовцами, фашистами и этими? Впрочем, разница всё-таки есть. Те зверски обращались с противником, врагом, а эти — с собственным же народом. Одно слово — нелюди. — И, резко поменяв тон и тему, Гурунц обратился ко мне: — Мужчины вроде меня женятся сдуру, разводятся от нетерпенья, а снова женятся, потому что память коротка. Так что мотай на ус. — И он шутливо наказал мне: — К следующему моему приезду непременно женись. У женитьбы, конечно, свои минусы, но долго мотаться холостяком ещё хуже. В мужской судьбе одно из двух — или быть холостым и несчастным, или жениться и свету невзвидеть... Следуй совету Сократа — что бы то ни было, женись. Попадётся хорошая жена, станешь исключением из правил, а плохая — философом. — Он засмеялся и обнял меня: — Хорошо сказано! А тебе, — сказал Гурунц, пожимая руку Сагумяну, — желаю здоровья. Надо всё вытерпеть и собственными глазами увидеть, чем это кончится. Ну, мы ещё встретимся! — И он многозначительно поднял палец.

Расставаясь с человеком, и мысли в голове не держишь, что, может статься, никогда больше с ним не поговоришь. А с Гурунцем у нас так и вышло. Нам уже не выпало свидеться.

Мы проследили издали, как Гурунц вошёл в метро, повернулся, и мы на прощанье помахали друг другу рукой.

— Сколько знаю, он всегда был таким, — сказал о Гурунце Сагумян, задумчиво поглаживая бородку. — Родителей его в тридцать седьмом арестовали, сам он прошёл всю войну вплоть до Берлина, но как был прямым, принципиальным, смелым и непримиримым, так и не изменился. Столько же времени я знаю Самвела. Лизоблюд и подхалим. Если дело пахнет копеечной выгодой, никого не пожалеет, ни перед чем не остановится. Два противоположных полюса, и жизнь у них соответственно сложилась. Один в довольстве и почёте, а на другом истрёпанное старое пальтецо.

До поздней ночи готовил я сценарий телепередачи об открытии памятника в Бегум-Сарове, с утра понёс его Арине напечатать на машинке.

Дверь её комнатки, ведущая в общий отдел, была приоткрыта; было слышно, как Арина мурлычет себе под нос очередную популярную песенку: «Ты мне солнце, ты мне свет, без тебя мне жизни нет».

— Всё утро соловьём заливается, работать не даёт, — беззлобно пожаловалась Лоранна. — Вчера бывший сделал ей комплимент, вот и закружилась, наверное, голова.

— С песней работается в охотку, — сказал Тельман Карабахлы-Чальян, он же, если угодно, Сальвадор Дали. — Спросили у воды: ты чего журчишь и журчишь, она в ответ: у меня приятель — камень. Это ничтожество Геворг Атаджанян столько трепался с чужими жёнами, что телефон из строя вышел, — сказал он, оправдываясь. — Я от вас позвоню.

Тем временем Арина распахнула дверь своей комнатки и радостно поздоровалась.

— Кто это тебе свет и солнце? — полюбопытствовал я.

— Ты, кто ж ещё, — сказала она со значением. — Заходишь и не здороваешься.

— Ну, здравствуй!

— Привет! — с гримаской ответила она. — Ты сегодня на месте? Сильва придёт.

— В котором часу? Встретим её на первом этаже с оркестром.

Арина кривила губы в поисках ответа.

— Чего ты цепляешься к нашей семье?

— По велению Божию! — Я подал Арине листки со сценарием. — Два экземпляра, один режиссёру.

Тельман ушёл к себе, мы остались втроём.

— Что я слышу, Арина, бывший расточает тебе комплименты! Как сие понимать?

Арина метнула на Лоранну бешеный взгляд, однако предпочла воздержаться при мне от выяснения отношений.

— Какое тебе, спрашивается, дело до впавшего в детство маразматика? — за глаза уязвила Лоранна нашего бывшего, при этом обостряя разговор.

— Да бросьте, что ж он сказал?

— Что да что... Сказал, какие, мол, у тебя красивые чёрные глаза, — расплылась наконец Арина в довольной улыбке.

— Тебе?

— Мне, — с гордостью подтвердила девушка.

— Не верь, у него вкуса нету, — сказал я. — Он уже в том опасном возрасте, когда все женщины кажутся красавицами. Не верь.

— Не верь... — скривила губы Арина.

— Молодец Гурунц, поставил его вчера на место, — сказала Лоранна. — Как он взбеленился! Покраснел как рак.

— Пусть знает, — сказал я, подмигивая Лоранне, — каково ни за что ни про что оскорблять человека. «Красивые чёрные глаза», тоже мне.

— Но ведь у Арины и вправду красивые глаза, — будто бы защищая её, с ехидцей сказала Лоранна. — Погляди хоть анфас, хоть в профиль, ни дать ни взять героиня Соломоновой Песни песней: «Дщери иерусалимские! Черна я, но красива. Я нарцисс саронский, лилия долин. Если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви». Посмотри хорошенько, Лео, разве не красивы эти глаза?

— Если галантный кавалер под восемьдесят находит, что они красивы, — сказал я, стараясь остаться серьёзным, — будем считать, что так оно и есть.

Арина с грохотом захлопнула дверь, а Лоранна виновато сказала:

— Она меня убьёт, Лео. Зачем ты предал меня?

Я знал Аринину вспыльчивость, её приступы проходили стремительно, почти сразу.

— Не бойся, — успокоил я Лоранну. — Через две минуты всё забудется.

И правда, не успели мы договорить, Арина вышла из своей комнатки с машинописной страницей в руке.

— Вы только послушайте, этот человек вконец из ума выжил. Видели бы вы, как он дрожащими руками собирает свои бумаги. Я ему говорю, Самвел Атанесович, не стоит вам приходить каждый день, не мучьте себя, оставьте рукопись. Придёте, когда я закончу. Нет, говорит, это невозможно, мои мысли разворуют. В гробу я видела твои мысли, — выругалась в сердцах Арина. — Сейчас прочту вам кое-что из его творений. «Стояла осень сорок второго года, сентябрь или октябрь месяц. Жена Аня пообещала утром сварить долму с виноградными листьями, которую я очень люблю (“Добрая половина его воспоминаний про еду и питье”, — прокомментировала Арина). Работал я в радиокомитете и, придя с работы, уже в подъезде уловил запах долмы. Мы жили в коммунальной квартире на втором этаже на бывшей Каспийской, ныне улице Шмидта. Что же я увидел на кухне? Над керосинкой склонился однорукий молодой человек в шинели и с костылём под мышкой, скорее всего дезертир, бежавший из армии, и с невероятной скоростью пожирал нашу долму. Я кинулся в комнату, где держал за дверью длинную палку, и, вернувшись на кухню, принялся осыпать вора ударами по спине, по голове, словом, бил куда ни попадя. Рассёк ему в двух местах голову, кровь хлынула ручьём, он тщетно пытался защищаться. Да и как тут защитишься — с одной рукой, хромоногий, при костыле? Поднялся шум-гам, прибежали соседи и вместо благодарности, ведь я же поймал вора, начали бранить и поносить меня. Я позвонил в милицию, вора забрали. Что с ним стало, мы так и не узнали».

— Такие люди не имеют права жить, — побледнев от негодования, сказала Лоранна и повернулась к Арине: — Как ты только печатаешь этот кретинизм?

— Депутат и член президиума Верховного Совета, — вышла из себя Арина. — Чтоб ты сквозь землю провалился, бессовестный. Он и правда сбрендил.

— Ну, это и по его комплиментам видно, — сострил я.

Арина засмеялась.

— Лео, Сильва скоро придёт, — дружелюбно сказала она. — Пожалуйста, сходи в бухгалтерию, поговори.

— Ладно.

Спустился в бухгалтерию, условился с Сеидраевой. Место счетовода по-прежнему оставалось вакантным, она пообещала непременно нам посодествовать. Едва вернулся, ко мне зашла Лоранна — благоухает дорогими духами, губы ярко накрашены, а в руках бумаги.

— Лео, главный поручил нам вместе посмотреть этот материал.

— Что за материал?

— Передача про гастроли ереванского театра юного зрителя в Баку. Я его уже подготовила.

— Садись, почитаем. Я сел на своё место, Лоранна устроилась напротив, небрежно закинув ногу на ногу.

— Какие у тебя красивые руки, Лео, — сказала она. Я взглянул на неё и улыбнулся.

— Если материал никуда не годится, всё равно забракую.

Лоранна рассмеялась:

— И пальцы у тебя тоже красивые. Как ни взгляну на них, изящные и длинные, восхищаюсь и завидую.

— Только и всего? Других достоинств у меня нет?

— Достоинств у тебя много. — Лоранна посмотрела на меня своим мягким сердечным взглядом. — Высокий, мужественный, чуткий, деликатный, красивый. А ещё искренний, отзывчивый, не скупой. Перечислять дальше? Временами, Лео, я думаю, как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым. Доброе слово, фраза или даже взгляд либо, скажем, улыбка, и сразу кажется, что весь мир — твой... Упустила в перечне твоих достоинств очаровательную, необычайно красивую улыбку, когда ты искоса поглядываешь из-под бровей и снисходительно и благосклонно улыбаешься.

— Осыпай десятками комплиментов женщину, она небрежно тебя поблагодарит, и всё, тогда как для мужчины пустячного комплимента достаточно, чтобы запомнить его на всю жизнь.

— Если ты когда-нибудь меня забудешь, то хотя бы вспомнишь мои комплименты, — рассмеялась Лоранна. — Знаешь, что рассказывала про тебя Арина? Когда, говорит, я впервые увидела Лео, почувствовала в груди обжигающий удар, и мне на миг показалось — моё сердце остановилось.

— Ладно, дай сюда текст. Кто читает, я или ты?

— Ты. Хочу всё время слышать твой притягательный голос... Одно тебе скажу, Лео, только не смейся. Почему так происходит, сама не пойму — десять влюблённых мужчин у твоих ног, а ты их даже не замечаешь, они тебе не нужны, тебе необходим одиннадцатый, тот, который и не смотрит в твою сторону. Удивительно, правда? Можно закурить?

— Кури. Только выключи кондиционер.

Лоранна вытянулась во весь рост, обнажив белые ляжки, выключила кондиционер и, став у окна, закурила.

— Когда начинаются гастроли?

— Собственно говоря, это не вполне гастроли, — пояснила Лоранна. — Они покажут лишь один спектакль — «Наш уголок большого мира» Гранта Матевосяна. Но я рассказываю о театре вообще, о пройденном им пути, репертуаре и, в частности, об этой постановке. Я воспринимаю театр как одну из форм общественного сознания, как искусство перевоплощения, искусство звучащей со сцены устной речи. Вчера утром я встретилась в гостинице с главным режиссёром. У них есть уже готовая лента, мы прокрутим её и проведём интервью с режиссёром и ведущими актёрами, занятыми в спектакле. Передача пойдёт в прямом эфире, главный хочет, чтоб интервью провёл ты.

Текст был неплохо написан, я сделал два-три мелких замечания, с которыми Лоранна согласилась.

— Кто из актёров участвует в передаче?

— Виолетта Геворкян, Ким Ерицян, Весмир Хачикян, Жасмен Мсрян и сам режиссёр-постановщик Арташес Ованнисян. Я связался по внутреннему телефону с главным.

— Владимир Гургенович, мы с Лоранной просмотрели материал про ереванский ТЮЗ, написано неплохо, и, по моему, Лоранна сама должна провести передачу.

Лоранна растроганно посмотрела на меня и улыбнулась.

— Если считаешь, что так целесообразней, — отозвался главный, — то я не против. А ты, Лео-джан, если свободен, зайди ко мне на минутку, надо переговорить.

Мы с Лоранной поднялись одновременно. У дверей, почти прильнув ко мне и обдав своим ароматом, она в смущённом недоумении посмотрела на меня и нежно произнесла:

— Лео, почему ты такой хороший?

На её внезапно зардевшемся лице проступило нечто далёкое и загадочное. Она тяжело дышала, в зеленовато-голубых глазах и на полуоткрытых, упрямых, чётко очерченных губах появилась обворожительная улыбка, она смотрела искоса, прищурив глаза...

Главный завёл речь о Тельмане Карабахлы-Чахальяне, верней его вчерашней детской телепередаче.

— Ты видел её? — спросил главный. Я не смотрел передачу. Он покачал головой, расхаживая по просторному кабинету взад-вперёд.

— В комитете есть замечательные ленты. Сидят вдвоём без дела, ленятся даже зайти в фильмотеку, познакомиться с тем, что там есть, и выбрать подходящий ролик. Пичкают детей скучнейшим текстом, иллюстрируя его фотографиями. Разве так можно? Их передачи наводят тоску не только на детей вообще, но и на младенцев до ясельного возраста, — не унимался главный. — Безобразие, сущее безобразие!

— Владимир Гургенович, я и сам многократно говорил с вами на эту тему, но, что называется, безуспешно, на коллегии тоже не раз поднимался вопрос о его лени, несостоятельности, нежелании работать. Коль скоро вправду невозможно перевести его в другую редакцию, коль скоро мы почему-то обязаны держать его у себя и обеспечивать гонорарами, то я предлагаю больше не давать в телеэфир ни одной передачи, где он выступает автором. Пусть пишет что угодно — сказку, рассказ, передавать это только по радио. Другого выхода не вижу, хотя и радиослушателей тоже жалко.

— Согласен. На ближайшей коллегии примем решение. Была б возможность, избавились бы от обоих.

Сильва появилась сразу после перерыва.

— А вот и Сильва, — представила её Арина.

Невысокая, скуластая, в платье с глубоким вырезом на пышной груди, с чёрной мушкой величиной с булавочную головку над уголком сексуального рта, с густо намазанными вишнёвой помадой губами, обведёнными тушью глазами, яркими тенями на веках, длинными тщательно загнутыми ресницами. По всему было видно, что она приложила немало усилий, чтобы произвести впечатление.

— Вы принесли документы?

— Да. — Инстинктивно стараясь вызвать к себе симпатию, она пристально взглянула на меня, улыбнулась, медленно и торжественно извлекла из сумочки паспорт, трудовую книжку, диплом и положила передо мной на стол.

— Пойдёмте, — взяв документы, сказал я.

— Мне здесь подождать? — отчего-то смутившись и даже подавленным тоном спросила Арина и сама себе ответила: — Нет, лучше я пойду к себе, нужно кое-что напечатать. Сильва, зайдёшь ко мне.

Мы прошли по длинному людному коридору, спустились по лестнице на четвёртый этаж, свернули там налево, миновали ярко освещённый широкий коридор с нескончаемой чередой дверей по обе стороны, в конце снова повернули налево и, следя за табличками на закрытых дверях, остановились перед дверью, на которой чёрными буквами значилось «Бухгалтерия». Я открыл дверь и пропустил Сильву вперёд. Из прихожей были видны все три комнаты, занятые бухгалтерией. В кабинете Сеидрзаевой, где на столе были разбросаны кипы различных бумаг, толстые папки и стоял компьютер с прыгающими разноцветными полосами на мониторе, никого не было.

— Она сейчас придёт, — сказала с солнечной улыбкой на эротической мордашке Альвина Осипова из соседней комнаты, вытянув шею и продолжая жевать жвачку; глазами она озорно спрашивала: кто это? В ожидании главного бухгалтера мы снова вышли в шумный коридор.

Из репетиционных залов доносились обрывки песен и музыки. Где-то за толстыми стенами глухо и ласково звенел детский хор: «Джу-джу-джуджальярим, мяним гашанг джуджальярим, джу-джу-джуджальярим...» Потом слышались сладкозвучные переливы Баба Мирзоева: «Ах ты, Телло, Телло-джан, Телло»...

— Привет, старик! — Это был Сиявуш из русской редакции телепередач. Я обернулся на голос.

— Здорово, Сиявуш! — весело приветствовал я его. — Ты где пропадаешь? Уже две недели тебя не видно.

— Перевёлся в Союз писателей, — ответил он, бросил мимолётный взгляд на Сильву и кивком с ней поздоровался.

— Почему? — огорчился я. — Здесь чем было плохо?

— Там я свободнее. Работа начинается в десять часов и кончается в четыре. Всего, включая перерыв, шесть часов. И ещё день в неделю — творческий. Условий, чтобы писать, куда больше. Да и работа лёгкая — советник председателя союза. Послушай, старик, — поправив указательным пальцем очки, сказал Сиявуш. — Мне тут рублей четыреста предстоит получить за сценарий. Два раза приходил, а денег нет. Замолви за меня словечко Саиде, она тебе благоволит и не откажет.

— Замолвлю.

— Сотню пропьём, триста домой отнесу. Ты же знаешь, Сиявуш своему слову хозяин. — Он иной раз говорил о себе в третьем лице.

— Договорились. Я как раз её жду. Вечерком позвони.

— Э-э, какой из тебя домосед, — многозначительно сказал Сиявуш и рассмеялся — дескать, вижу, чем ты занят.

— Кто это? — спросила Сильва после его ухода.

— Сиявуш Мамедзаде. Поэт, окончил Литературный институт в Москве. Замечательный парень. Другого такого нет.

— Лицо приятное и знакомое.

— Видели его по телевизору. Он ведёт литературные передачи.

— Наверное... Арина много о вас рассказывала, — неожиданно сказала Сильва и, подняв глаза, вновь пытливо поглядела на меня.

Пауза.

— Знаете, она часами готова о вас говорить.

Снова пауза.

— Я начинаю её понимать, — заговорила она вновь и без перехода спросила: — А я здесь голову не потеряю?

— В каком смысле? — не понял я.

Сильва прыснула, прищурилась, покусывая толстогубый кумачовый рот.

— В том смысле, что красивая женщина может потерять голову в обществе красивых мужчин.

— Напрасно беспокоитесь, — хмыкнул я. — В бухгалтерии одни женщины.

— Это хорошо, — легко вздохнула Сильва. — А то, знаете, муж у меня страшный ревнивец.

Она довольно простодушно разыгрывала роль привыкшей к обожанию женщины. Я понимал это, но смолчал, ибо ко мне это не имело никакого касательства.

— Знаете что, — едва разлепляя губы и смиренно глядя снизу вверх, продолжала Сильва, — если сотня людей отзывается о тебе хорошо и лишь один плохо, то окружающие как раз этому одному и поверят. И обрадуются. Да что уж, интересным мужчинам и красивым женщинам пересудов не избежать.

Дверь отдела кадров открылась, оттуда выплыла Сеидрзаева.

— Саида, мы вас ждём, — сказал я. Во рту у неё тоже была жвачка; сомкнув губы, она на ходу лениво двигала челюстями.

— Вот об этой девушке речь? — по-армянски спросила Сеидрзаева, поравнявшись с нами. Её мать была армянкой, и она свободно владела армянским языком.

— Да, она самая. С позволения сказать, гражданка Дарбинян. Вот её документы.

— Пошли, — сказала Саида, окинув Сильву оценивающим взглядом. Потом перевела взгляд на меня и двусмысленно улыбнулась. Синевато-серые джинсы сидели на ней до того плотно, что швы на бёдрах местами чуть не полопались. В кабинете Саида пробежала глазами документы Сильвы.

— Бухгалтерского стажа у вас нет, — перелистав трудовую книжку, сказала она деловито. — Примем вас пока счетоводом, вы подучитесь, и через несколько месяцев переведём помощником бухгалтера. Я переговорю в отделе кадров. Думаю, председатель комитета не будет возражать. О результатах я сообщу Лео. Надо будет написать заявление, заполнить анкету. Всё это, конечно, потом. А пока так. Чем ещё могу быть вам полезна? — Вопрос относился ко мне, и Саида улыбалась.

— Не мне, а Сиявушу Мамедзаде. Ему никак не удаётся получить у вас деньги. Если можно, окажите, пожалуйста, такую любезность.

— Передайте, пусть приходит, — она широко улыбнулась. — А соберётесь отметить, не забудьте за меня выпить.

— Спасибо! Не забудем.

В конце дня Арина зашла ко мне. Она была не в настроении.

— Что случилось, Арина? — забеспокоился я.

— Случилось... ничего не случилось. Просто не стоило мне приводить её сюда.

— Кого? — спросил я, разумеется, понимая, о ком идёт речь.

— Сильву.

— Почему?

— Почему... потому что она смотрит на тебя как шлюха, — со злостью выпалила Арина.

Не в силах сдержаться, я громко рассмеялся. Позже по пути домой и даже в автобусе на Сумгаит опять и опять смеялся, вспоминая злость Арины, яростную её вспышку, внезапную, словно взрыв, и чувствуя к ней родственные чувства и неподдельную нежность.

Отец давно пришёл с работы, но, дожидаясь меня, за стол не садился. Обнял меня, похлопал по спине и, довольный, ходил по комнате, пока я переодевался.

— Мы ждали тебя на прошлой неделе, — отец укоризненно, но без обиды посмотрел на меня и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Знаешь ведь, больше месяца мы разлуки с тобой не выдерживаем.

Мама со смехом заглянула из кухни в комнату:

— Бог весть в кого он уродился. Твой брат Володя, муженёк, клал перед собой двухкилограммовую курицу, а дети следили за ним с открытыми ртами, пока тот уплетал её за обе щеки. И, пока сам не наестся, не даст им ни кусочка. А этот — будто другая мать его на свет явила. Только дети на уме. У нас, Лео, все деньги на телефон уходят. Неделя звонками начинается — Чаренцаван, Ставрополь, Баку — и звонками кончается.

— Молчи, женщина, делом своим займись, — сказал отец и подмигнул мне. — Смотри, какой я коньяк купил. «Юбилейный». — Он достал из буфета и поставил на стол бутылку с золотыми армянскими буквами на этикетке. — Сын мой приехал. Вдвоём и выпьем.

— Можно подумать, целый год не виделись, — послышался с кухни голос мамы. — Отсюда до Баку каких-то двадцать пять километров.

— Длинные волосы, короткий ум — о ком это сказано? — усмехнулся отец. — Для меня месяц всё равно что год. Сердце у меня слабое, не выдерживаю. Точка.

— Точка, — со смешком сказала мама, входя в комнату, и принялась накрывать на стол. — Ты почему на прошлой неделе не приехал?

— Гость у меня был из Еревана.

— Кто такой? — спросил отец.

Не мог же я рассказывать ему об Армене.

— Писатель Леонид Гурунц.

— Гурунц? — удивился отец.

— Да, — подтвердил я. — Наказал мне жениться к следующему своему приезду.

— Хорошего человека сразу видно, — обрадовался отец. — Вот что значит доброе сердце. Человек таким и должен быть. Знаешь, скольким он сделал добро. Стало быть, ты видел Гурунца.

— К нам иногда приезжает Сурен Айвазян. А недавно был и Сиро Ханзадян. На нашем наречии говорит.

Отец с гордостью посмотрел на мать.

— Видишь, с какими людьми знаком твой сын? — Он наполнил рюмки. — Выпей и ты с нами.

— Да ты сдурел, — осерчала мать. — Этого только мне не хватало.

— Ну и не пей, — бросил отец. — Плохо ли, нам больше достанется. — Он засмеялся, занял место во главе стола и поднял рюмку. — Выпьем за родителя, чей отпрыск носит доброе имя, и за отпрыска, который не роняет чести родителя. — Отец удовлетворённо посмотрел на меня, чокнулся со мной, но не выпил. — Есть у меня знакомый, человек приличный, трудолюбивый. Так вот он со слезами на глазах сказал своему сыну, беспутному пьянице, которому от роду тридцать лет: лучше б я умер в тот день, когда ты родился. Мудрец Соломон изрёк: достойный сын — счастье для отца, а недостойный — несчастье для матери. Вот оно как, дорогой ты мой. Боль, причинённая твоим чадом, неисцелима, трудно её вынести. Отцу мнилось, будто он в лишениях растит сына, а на деле сидел у реки да сеял муку. Думаешь, горькие его слова подействовали на сына? Ничуть не бывало. Такое тоже случается. Бывает, один стоит тысячу, тысяча других и ломаного гроша не стоят. Иметь хорошего наследника и быть хорошим наследником — это как удача выпадет. Со дня творения так повелось, так и впредь будет, умный от века страдал в руках неразумного. — Он залпом выпил коньяк. Выпил и поморщился. — Фу, клопами пахнет, — сказал он, встал и достал из буфета бутылку водки. — И как только люди пьют эту отраву? — покачал головой отец. — Ты пей коньяк, а я буду водку. Много-то я не пью, две-три рюмки. Стало быть, ты видел Гурунца, — вернулся он к прежней теме. — В Карабахе его именем клянутся. Скольких невинных спас он от тюрьмы, ты это знаешь? А тутовые сады? Напечатал несколько статей в «Известиях» и не допустил, чтоб азербайджанское правительство пустило их под топор, как позднее пустило под топор виноградники. Что за жизнь без шелковичного листа? Остановился бы Карабахский шёлковый комбинат и его филиалы в сёлах Хндзристан, Туми, Чанахчи и Каринтак. Сотни людей лишились бы работы. А тутовая ягода, свежая и сушёная, а дошаб, а животворная тутовка? Я вот думаю, это каким же бездушным надо быть, чтобы сесть и решить уничтожить эти тысячелетние сады, по сути дела — оставить обитателя этих краёв без средств к существованию. Собственно, у нас всякое решение неизменно было по простому человеку. Что на благо ему, то остаётся на бумаге, а что во вред — оно тут как тут.

— Полно тебе языком молоть, дай ребёнку поесть.

— А я что, мешаю? Пусть ест на здоровье. Мы беседуем. Стол накрывают не для того, чтобы ни о чём, помимо еды, не думать, — растолковал отец. — Застолье — и для беседы. Что-то скажешь и что-то услышишь, чему-то научишь, а чему-то научишься. Едят все на свете — и лошадь, и корова, тем человек и отличается от скотины, что дан ему разум. И мысль, и речь, и умение слушать. И ещё он памятью наделён. А без этого он та же скотина. Бога ради, не мешай, не то как встану... — наигранно пригрозил отец.

— Услышал бы кто сторонний, решил бы — зверь-мужик, — засмеялась мама, с любовью глядя на отца. — А ведь сроду пальцем меня не тронул и слова худого не сказал.

— С чего бы мне буянить и браниться, — миролюбиво сказал отец, с улыбкой глядя на мать. — Ты же моя любимая понятливая жена и верный мой друг в любую пору, счастливую или тяжкую.

Польщённая мама с глубоким восхищением и нежностью посмотрела на отца, после перевела взгляд на меня и смущённо улыбнулась.

— Из признанных армянских писателей я видела только Сильву Капутикян — лет около тридцати назад, у нас в школе. Они пришли втроём — она, Баграт Улубабян и Саргис Абраамян. Молодая, красивая. А как она говорила, как

читала стихи! У нас прямо мурашки по спине побежали. Она стала первым армянским писателем после Исаакяна, который приехал в Карабах. Исаакяна в сорок восьмом отвратительно приняли. Секретарь обкома Тигран Григорян, ишак ишаком, спросил: «У вас есть разрешение на посещение Карабаха?» Армянин, секретарь армянского обкома задаёт подобный вопрос великому армянскому поэту...

Отец оживился:

— Был случай, ты, может, не знаешь. В селе Талиш Исаакян поцеловал руку глубокой старухе с платком на голове. «За всю жизнь мне только двое руку целовали, — говорит старуха. — Ты да ещё бородач». Она имела в виду Раффи. Представляешь? А знаешь ли ты, что Зорайр Халафян тоже родом из этого села? — внезапно вспомнив, добавил отец. — Талантливый писатель, очень талантливый. Давненько уже я читал его вещи, но помню до сих пор отчётливо. Его герои — Степан, Антик, Нора, Васил, Абет, Унан и три его сына — как живые стоят у меня перед глазами. Эх, если б уметь так писать...

Отец налил себе водки, понюхал и отодвинул рюмку.

— Нет, не буду мешать одно с другим. Коли сын пьёт коньяк, и я буду коньяк. Как и положено, по-братски.

Я налил отцу коньяку. Он поднял рюмку и произнёс:

— Иные полагают, будто жизнь — она долго тянется. Куда там! Это мир вечен, а жизнь коротка. Когда молод, чудится, что нет ей ни конца, ни края, на самом-то деле не успеешь оглянуться, как она позади. Ошибёшься — пропал, исправить ошибку нету времени. Потому жить надо так, чтобы не допускать ошибок. Это, кто спорит, очень нелегко, но всё-таки надо стараться всегда быть чистым. Даже коли всё кругом заляпано грязью, постарайся быть справедливым. Кровь из носу, но сделай так, чтобы на закате своих дней можно было сказать не кому-то, но самому себе: я прожил отмеренные мне сроки праведно, трудился в поте лица, зла никому не творил, ибо жизнь и впрямь даётся лишь однажды, второй жизни не бывать. И, в общем, неважно, коротка жизнь или длинна. Важно прожить её без ошибок. Жаль, что люди поздно это понимают, когда нет уже ни времени, ни возможности вернуться назад. Господь заповедал Адаму добывать насущный хлеб в поте лица, забывать этого человек не должен. А что пришло к тебе по кривой дорожке, по той же дорожке и уйдёт. Библия, которую ты мне подарил, лежит в другой комнате, я постоянно её читаю. Самая древняя и самая мудрая из всех книг. Много чего я из неё почерпнул. Например, уподобимся воде, пролившейся на землю, а не песчинке, подхваченной ветром. Или: возлюбите друг друга. Между прочим, в Коране, священной книге мусульман, заповедано то же самое: любите ближних и живите с ними в мире и во благе, а не во зле и вражде. Вдумайся, до чего мудро... Будь здоров, сынок, да убережёт тебя Бог от бед и напастей. Для честного человека нет худшего оскорбления, чем несправедливо или злонамеренно обвинить его — ты, мол, нечестен. Пусть Бог всегда тебя наставляет на путь истинный, сынок, чтобы не наткаться на камни. Помни, счастлив тот, кто пропускает мимо ушей советы злопыхателей, не идёт за грешниками и не солидарен с преступниками, но делает добрые дела и радуется им. И сознаёт, что завтра ему воздастся сторицей. Как сказано в Священном Писании, такой человек подобен плодovому дереву, посаженному над потоком воды. На этом дереве зреют плоды, а листва не опадает. Такому человеку во всём будет сопутствовать удача. Твоё здоровье! Приезжай почаще, чтобы нам не тосковать подолгу.

Отец выпил, опять поморщился. Но недовольства не выразил.

— Клопами вроде бы не пахнет, — сказал он.

— Выпьешь ещё — фиалками запахнет, — рассмеялась мама.

— Верно говорит, — добродушно улыбнулся отец. — Наливай, лучше пустая голова, чем пустой стакан.

Мама поставила на стол поджаренную зелёную фасоль. Глубокое блюдо исходило паром. Аппетитный запах свежей фасоли заполнил комнату.

— Ух... Карабахом запахло, — воодушевился отец. — Нет, что ни говори, вкус у карабахской фасоли особый, и воздух там особый, и вода. Даже сравнить не с чем. И народ особый — честный, трудолюбивый, отважный, геройский. Какой ещё малый народ дал в Отечественную войну столько героев? А маршалов? А генералов? Несколько десятков! А славные военачальники царской армии? Мадатов, Бебутов, Тёр-Гукасов, Лазарев, Шелковников, всех и не упомнишь. А Мюрат, мамелюки Наполеона Рустам и Петрос... С территории исторического Арцаха, то есть из исконного Нагорного Карабаха и его северной части — Гюлистана, Геташена, Дашкесана, Ханлара, Шамхора, Гетабека и других мест, которые в двадцать третьем году вероломно не включили в только что созданную автономную область, — ушли на фронт сто две тысячи армян. Тридцать один из них удостоился звания Герой Советского Союза, а двое — маршал Баграмян и доблестный лётчик Нельсон Степанян — стали дважды героями. А население Карабаха — горстка народу. Видел ты такое где-нибудь ещё? Не видел. Открой сравнения ради Большую советскую энциклопедию и посмотри — сколько героев дал Азербайджан с его двумя с половиной миллионами азербайджанцев (согласно переписи тридцать девятого года)? Всего сорок два. И одного боевого генерала — Ази Асланова. Да и тот по национальности талыш...

Отец насупился, задумчиво уставился в одну точку, тяжело покачал головой и грустно добавил:

— Жаль, никто этого не ценит. Москва не ценила прежде и нынче не ценит вековую преданность и верность армян. Не зря вздыхал великий патриот Тарас Шевченко: «Думы мои, думы, горе мне с вами...» — Он умолк ненадолго и с

горечью сказал: — Пустеет Карабах, пустеет, как и Нахичеван. Молодёжь уезжает в Ереван, получает образование, а вернуться ей не позволяют. А если кто и вернётся, то где работать, к чему приложить силы? Промышленности нет, строительства нет, заводов и фабрик нет, дорог нет, ничего нет. Люди волей-неволей протестуют, требуют присоединить Карабах к Армении. Кто протестует, тех либо изгоняют из области, либо сажают. Знаешь, сколько народу свернуло себе голову на этом пути? Сколько народу сослали, почти все так и канули без вести в Сибири. Бессчётно. И Ханджяна за это убили. Будь я владельцем Карабаха, поставил бы в его центре высоченный обелиск и высек бы громадными буквами: «В память всех тех, кто погиб и погибнет во имя Карабаха».

— Перестань, не мучь ребёнка душу! — перебила его возмущённая мама. — Тысячу раз мы всё это слышали, а проку никакого. Так что смени тему.

— Будь по-твоему, — согласился отец. — Меняем тему. Перечитал я недавно «Гикора». Знаешь, к какому пришёл заключению, что подумал? Из всех наших классиков мы больше всего любим Туманяна. Все вещи светлого этого человека, будь то стихи или проза, истекают из нашего сердца. Знаешь, почему пришёлся всем по душе «Гикор»? Потому что все мы, когда маленькие, — Гикоры, а когда повзрослеем — Амбо. Мой отец, иными словами, твой дед Воскан, — вылитый Амбо, наивный, жалкий, вечно понурый, охваченный тяжкими думами. Всю жизнь отдал колхозу, горемыка, и не видел за всю свою жизнь ни единого хорошего дня. Исаакян будто бы про него написал: «Ах, наше сердце горечью объято, не видели мы радости совсем». А как его увидишь, коли государство, которое зовётся родным, сдирало с крестьянина три шкуры: держать корову не дают, а план на масло — вот он, овец нет, а план на шерсть есть, коз нету, план на козий мех изволь выполнить, кур у тебя нету, зато план на яйца снесен, приусадебный участок по четыре раза в год измеряли, не дай Бог лишний метр — штраф, а на плодовые деревья — налог. Это в какой же нужде должен человек оказаться, чтобы позволить завербоваться в Сумгаит дочкам четырнадцати и пятнадцати лет. А мы, голодные и голые, с красными галстуками на шее, маршировали с песней под горны и барабаны: широка страна моя родная. Пели и верили, что на свете и впрямь нету другой такой страны, где человеку так вольно дышится. Маршировали мы по деревне, примостившейся в далёких горах, горланили песню и верили, что счастливую жизнь дал нам товарищ Сталин. А ведь это Сталин устроил нам страшную жизнь. Он и ещё Ленин. Одним из первых ленинских указов в восемнадцатом году был указ о создании концлагерей.

— Вот человек! — осадил его мама. — Да поговори ты о чём-нибудь интересном, тост какой-никакой произнеси.

— Так и быть, выпьем за товарища Сталина.

Я обнял отца, поцеловал его в щёку. Мне было приятно слушать его, хотя всё, что он говорил, он не раз уже повторял.

— Так его и растак, этого Сталина, ненавистника армян, — подняв рюмку, провозгласил отец. — За родителей надобно пить первым долгом, а не в порядке одолжения, мол, пока не забыли. Выпьем же за моих родителей. Отец у меня святой, что твой Христос, а мать — как Мария-Богородица. И за твоих родителей, жёнушка, упокой Господь их душу. И за двух наших дочек, они, по счастью, сами уже стали родительницами. Пускай мы во всём себе отказывали, но дали им обоим образование. Дерево своими плодами богато, ну а человек — детьми. Хорошее дитя — оно, что весенний цветок и осенний плод, и глаз родителям радуется, и сердце утешает. А заодно с ними всеми и за наше здоровье, потому как и мы тоже родители. Лео-джан, выпей, дорогой. Как сказал тебе Гурунц, женись. И тогда поймёшь, каково быть родителем. Знаешь, что на свете лучше всего? Когда сидят отец с сыном и пируют от души.

Мы выпили, отец долго смотрел на бутылку, потом повернулся к маме:

— Вообрази, ты была права. Коньяк хоть и не фиалками пахнет, но чем-то очень приятным.

Мама засмеялась и пошла на кухню.

— Кто знает, — снова заговорил отец, — может, если бы сёстры не завербовались, а я не приехал к ним в Сумгаит, жизнь у меня сложилась бы иначе. Я с четвёртого класса печатал в газетах корреспонденции. Однажды написал в пионерскую газету, что хочу стать героем, да не знаю, как стать им в мирное время. Письмо моё напечатали, а потом ещё четыре-пять месяцев печатались отклики. Десятки людей, взрослые и дети, обращались ко мне через газету, давали советы. Даже Виктор Амбарцумян отозвался. «Пионер канч» и мои стихи напечатали. И «Советакан Карабах» тоже. В соседнем селе Кочохот был школьник вроде меня, Джамал Тадевосян. Мы с ним участвовали в четвёртом съезде юных корреспондентов Азербайджана. Представляешь, ученик пятого класса — делегат республиканского съезда. Мы пошли в редакцию журнала «Гракан Адрбеджан», на улицу Хагани, напротив парка имени 26 комиссаров. Заведующий отделом Востик Каракозян ел за письменным столом гречку. Мы битых полчаса ждали, он битый час ел. А потом прочёл наши стихи, похвалил и пообещал напечатать в ближайшем номере. Попросил у нас фотокарточки. Мы обрадовались, побежали фотографироваться. Назавтра понесли ему наши фото. Каракозян опять ел гречку. Взял фотокарточки. Мы прождали год, а стихи в журнале так и не появились. Я послал туда два рассказа, их напечатали. Но это было спустя несколько лет, я учился в девятом классе. Мне пришло пространное письмо от писателя Маргара Давтяна. Были письма из других редакций... Я видел эти редакционные конверты с отпечатанными на них типографским способом названиями газет и адресами. Бабушка бережно хранила их в старом своём сундуке.

— Бабушка бережёт эти письма, — сказал я. — Раскладывает по порядку и держит в сундуке.

Отец посмотрел на меня, глаза его сразу повлажнели, однако ж он сдержался.

— Нет на свете никого дороже родителей, — наконец выдал он срывающимся голосом. — И никто на свете их не заменит. Никто... Я в долгу перед ними, не выполнил того, что намечал, силёнок не хватило. Ни я, ни младший мой брат не должны были переселяться в город и бросать их. Помню, брат впервые приехал в Сумгаит. Жили мы в бараке, газа ещё не было, пошли к трубопроводному заводу за дровами. Шагали по рельсам, и по обе стороны гнили под открытым небом горы брёвен. Их разбирали все кому не лень, на это не обращали внимания. Брат сел на пенёк и заплакал: «Бросили папу одного, сами приехали». Но потом он изменился, город людей меняет, делает грубыми, чёрствыми, бессердечными. Брат был прав. Бросили мы родителей одних. Виданное ли это дело, поднять на ноги восьмерых и на старости лет очутиться в одиночестве? Ни в какие ворота не лезет. Вспомню, как они жили, сердце от боли сжимается. Старший их сын ушёл на фронт добровольцем и пропал без вести.

Я взглянул на отца. Старший его брат не пропал без вести, но я не мог сказать ему этого, не имел права.

— Ты как-то не так на меня посмотрел. — Отец что-то заметил.

— Тебе показалось, — растерялся я. — Рассказывай.

— Значит, так, — продолжил отец, — а другой их сын — Аркадий, я его даже не видел, был он, по словам мамы, красивым, смышлённым мальчуганом. Ходил в первый класс и вдруг плохо себя почувствовал. Врача в деревне не было, мальчика повезли в Верин Оратаг или, может, в Атерк, уже не помню, в дороге он умер. А Забела, моя сестра, умерла после родов, заснула, да так и не проснулась. Опять из-за нехватки больниц и врачей. Четверо её детей — Мелсик, Вилен, Владик и Карина — остались брошены на произвол судьбы. А мальчика — того, родив которого, умерла сестра, сдали в детский дом в Шуши. Что с ним случилось, мы не знаем до нынешнего дня. Господи, какая же мучительная жизнь выпала бедной моей сестре! В одном хлеву, в другом хлеву, то в Хор-Дзоре, то в Тхкоте, то в Ферин-Кюмере, голодные, раздетые... Муж её, наш зять Воскан, лудил, перемазанный сажей, посуду за кило картошки или фасоли, порой и того не получал. Наш родич Бахши на войне попал в плен, в сорок девятом его сослали с семьёй в Алтайский край, дом освободился. Одно название — дом, так, жалкая хибара с земляным полом. Сестра перебралась туда. — Отец тяжело вздохнул. — Мне было лет восемь-девять, помню, как их увезли. Дело было летом, в солнечный день. Мы смотрели во все глаза. В один и тот же час тяжёлые «Студебеккеры» выехали из разных кварталов, медленно, как на похоронах, подъехали к колхозной конторе и, не останавливаясь, проследовали один за другим. Они везли нашего Аталамунц Саргиса, Бахши, его семью и старую мать, Балабека со всей семьёй, Вагаршак-даи, Коля-даи. В машинах по обе стороны кузова стояли красноармейцы. Какие дни пережили люди! Камень бы этого не вынес, а человек выдерживает. Дед твой, отец мой значит, который всё это видел и сам исстрадался, наставлял: человеку дано два уха и один рот, чтобы побольше слышать и мало говорить. Что верно, то верно.

Он тяжело поднялся с места и прошёл на балкон. Долго простоял, вернулся хмурый и, усевшись за стол, сказал:

— Когда я приехал в Сумгаит, здание центральной почты только-только начали строить. Посмотри, что отсюда видно. Горком с горисполкомом, огромный клуб завода синтетического каучука, ваша школа, соседние кварталы, доходящие до самого моря, — всего этого не было, мы их позже подняли. Нет здесь ни одного дома, где не остались бы следы моих рук. Чего я только не делал, был и каменотёсом, и плотником, и штукатуром. Такую красоту построили, не город, а куколка. Народ сюда съехался из всех азербайджанских районов. Сейчас двести пятьдесят тысяч душ здесь живёт, а раньше, — отец покачал головой, — раньше тут, кроме песков, бурана да пурги, ничего не видели. И когда сёстры мои приехали, вообще ничего не было. Сотня с лишним длинных дощатых барakov, об удобствах и толковать смешно. Одна колонка на несколько барakov и нескончаемые очереди за водой и для стольких же барakov длинная каменная уборная. И тысячи совсем юных парней и девушек, армян из Карабаха, без ухода и без пригляда, привезённых по вербовке. Армян было до того много, что для них открыли вечерние школы и библиотеку. Позже всё это позакрывали, библиотечные книги тысячами валялись на свалке, мы с товарищем, он был из Неркин Оратага, крановщик с трубопрокатного завода, сейчас он в Ереване, зовут Илья, в милиции служит, — так вот, пошли мы на свалку и насобирали себе довольно много книг. — Отец встал и снял с книжной полки томик. — Вот этот сборник туманяновских стихов я там и подобрал, на свалке. А ну-ка послушай, это из песен ашуга Кярама, Туманян обработал текст и вставил его в рассказ «Олень»:

Я видел, господа, весной зелёной —
В этих горах плакала косуля,
Её малыш в растерянности полной
Стоял, прижавшись, к матери в слезах...³

До чего же здорово! И трёх сыновей такого человека, между прочим, выпускников Сорбонны и Петербургского университета, большевики сгноили в сибирских лагерях. А вот это, ты только послушай, что за стихи:

³ Здесь и далее перевод подстрочный.

Из-за угла укромного
Поднялся наш Чалак,
Идёт по лесу тёмному
За ним мой храбрый брат.

Ясно и просто, так ясно и просто, что чудится, стоит тебе присесть, и ты сам напишешь не хуже. Только ведь это сколь просто, столь и гениально. Послушай дальше:

Мне слышен звон их голосов
В том девственном лесу,
И я зову их вновь и вновь...
Мне кажется, придут.
Напрасно все... они давно
Ушли из наших гор,
Остался звон их голосов,
Что слышен до сих пор...

Читаешь, и комок в горле, словно всё это про наши леса, про моего брата Дживана, которого с тремя сверстниками-односельчанами упрятали за решётку. Они пасли скотину на выгоне и случайно, не понарошку сломали ножку соседскому ягнёнку. Признаться побоялись и привязали ягнёнка к кусту, а вечером пригнали коз и овец в деревню и говорят, ягнёнок, мол, потерялся. Сказать всё как есть испугались. Ну, шум-гам, они в конце концов рассказывают правду. Поутру идут на выгон — у куста не ягнёнок, а только косточки, либо волки сожрали, либо шакалы. Отец купил хозяевам овцу, возместил убыток. Но кто-то из деревенских — то ли сосед Шахназар, то ли Грант из дома на холме, то ли Сугумун из Ферин-кюмера, который мечтал стать председателем сельсовета и таки стал им, — кто-то шлёт анонимку в Баку, в редакцию газеты «Коммунист», дескать, председатель сельсовета Ерванд Арушанян покрывает своего проворовавшегося племянника. Донос переправляют в областную прокуратуру, оттуда в районную. Своего племянника Ерванду кое-как удалось спасти, а двое других — брат и его приятель Армен — угодили в тюрьму, дали им по семь лет. Через четыре года брата привезли домой слепого. Парнишка, почти ребёнок, глаза красивые, распахнутые, да незрячие. Как он любил наши горы да ущелья, на каждый звук из лесу — летучей ли мыши, кукушки ли — норовил отозваться. Из Закаталы повезли его посреди летнего зноя в Баку в закрытом металлическом фургоне, потому-то, говорят, он и ослеп. Поди проверь... Бедный наш отец, чего он только ни делал, куда только ни возил брата, всё понапрасну. Да и что он мог, нищий безграмотный крестьянин? Брат умер. А приятель его Армен умер ещё в тюрьме. Странное дело, но третий их приятель тоже умер молодым. Когда брата посадили, за нашими свиньями стала присматривать сестра Ася. В лесу, совсем одна. Как мальчик, вскарабкивалась на дуб и стряхивала наземь жёлуди. После Асиного отъезда свиней поручили мне. С деревенскими пацанами мы гнали их в лесную чащу, куда средь бела дня и то не попадали солнечные лучи. Высоченные, чуть не до неба деревья колышутся, бесшумно, плавно, докуда хватает глаз уходят ввысь, временами раздаётся скрип, а потом воцаряется тишь, и только пробегает поверху лёгкий ветерок и шелестят пепельного цвета листья; они клонятся в одну сторону, трепещут, сквозь крону насилию пробиваются солнечные лучи, поблёскивают наискось и слепят глаза, кукует сладко, мечтательно и печально кукушка. Какое это было блаженство! На белых стволах бука мы ножом увековечивали свои имена.

— Видел, — вставил я, — на деревьях у ключа Хырма ваши имена красуются до сих пор, разве что зарубцевались.

— Да что ты! — восхитился отец, чуть удивлённо и чуть снисходительно. — Интересно. Сколько времени прошло, сколько всего было, хорошего и дурного, сколько воды утекло, а те деревья стоят себе год за годом днём и ночью, зимой и летом, в непогоду и ведро, стоят и, словно родная мать, дожидаются тебя. Деревья хранят в сердце наши имена, мы же в сердце и памяти храним их облик и тоскуем по ним... Человек не должен отрываться от своей земли, отчего дома, родимых гор и ущелий, родников и тропинок. Потому что ты счастлив, покамест ощущаешь под ногами родную почву, без неё нет тебе счастья. Где родился и вырос, там и живи, чтобы не изводить себя саднящей болью и тоской по этим источникам, и горам, и теснинам. Попробуй забудь горы нашего Кыгхнахача, наши долины, наши леса, ни за что не забудешь. Армянское горе — безбрежное море, пучина огромная вод. На этом огромном и чёрном просторе душа моя скорбно плывёт. Так-то вот, сынок...

— А почему ты бросил писать? — спросил я, понимая, что этот вопрос долгие годы мучит его самого.

— Чтобы стать писателем, много чего нужно, — сказал отец с улыбкой, в которой читалась грусть. — Писателем станет лишь тот, кому есть что сказать, нечто важное и существенное, кто видит и чувствует нечто такое, чего другие не видят и не чувствуют. Нужен запас жизненных впечатлений и высокая культура, которой не овладеть без образования. Сам посуди, какая у меня культура. За плечами только средняя школа, хотя оценки я всегда получал хорошие. У родителей не было возможности дать мне образование. Я не смог бы дальше учиться, потому что некому было послать мне хоть копейку. Помню, учительница арифметики Лена Арустамян потребовала принести тетрадь в клетку. Мы с отцом отправились в соседнюю деревню Мехмана, там были свинцовые рудники, рабочие получали зарплату. Повели с

собой козла на продажу. Отец намеревался продать мясо рабочим, а на вырученные деньги погасить налог на этого самого козла и купить мне тетрадку. Выручка составила всего-то десять рублей, их отец оставил для финотдела, ну а на тетрадку денег уже не хватило. Я обиделся. Отец шёл по дороге, а я по тенистой обочине. Весь обратный путь до самой деревни я проплакал. В шестом классе у меня был замечательный друг Эйлер Юзбашян. Их семья переехала в Армению, в Эчмиадзин. Летом он приехал в деревню. Возвращаясь я с поля, мама говорит, мол, Эйлер заходил несколько раз, хочет повидаться. Смотрю из сада — Эйлер у магазина разговаривает с ребятами. А на мне резиновые трехи да латаная-перелатаная одежда. Застеснялся я подойти. Куда уж в таком положении продолжать учиться? Потому и уехал к сестре в Сумгаит, стал строителем. Вот они, мои произведения, — и отец с горечью обвёл взглядом стоящие бок о бок красивые здания.

— Ах мил-человек, — вмешалась мать, — и тебя жаль, и ребёнка нашего жаль, не надрывай ты себе душу.

— Да что я такого говорю? — стал оправдываться отец. — Принеси-ка чаю, чаю попьем. Завтра схожу позову Аббаса. Два раза встречал его, говорит, как Лео приедет, позови, хочется его повидать.

— И меня просил, — подтвердила мама. — В тот день остановил троллейбус, вышел. Троллейбус битком набит, а он стоит себе, беседует.

— Хороший мужик, — загордился отец, — за друга душу вынет. Сам страхолюдный, а сердце золотое, кристальный человек. Мы четверть века почитай дружим. В одном селе помирал старик. Умирать никому неохота, вот и ему тоже. Просит он Бога: позволь мне ещё немного пожить. Ладно, соглашается Бог, а сколько тебе надо? Вон, отвечает старик, дерево, сколько на нём листьев, мне столько и надо. Нет, говорит Бог, это чересчур. Тогда, предлагает старик, столько, сколько яблок на той яблоне. Смотрит Бог на яблоню и говорит: и это много. Коли так, говорит старик, столько, сколько у меня друзей. На это Бог соглашается. И вообрази, старик этот до сего дня жив, потому что друзей у него, как оказалось, больше, чем листьев на дереве и чем яблок на яблоне... Так-то вот, милый мой. Нет ничего лучше друга. Мы вместе работали грузчиками на трубопрокатном заводе, потом на химзаводе «Почтовый ящик 240», потом я подался в каменотёсы, а он пошёл на курсы водителей троллейбуса. Двадцать лет уже водит он троллейбусы. Что ни случись у нас или у них дома, хорошее ли, дурное ли, мы всегда вместе, всегда не разлей вода. Раньше, ты знаешь, он жил поблизости, в соседней деревне Джорат. Потом город разросся, Джорат и прочие деревни снесли, дали ему квартиру в девятом микрорайоне. Но он-то привычен к земле, к саду, так и живёт на земельном участке, держит несколько овец. Есть у него хороший барашек, чёрный, когда, говорит, Лео приедет, тогда для него и зарезу («Приедем с Реной», — мелькнуло у меня в голове). Очень ты ему по сердцу.

Назавтра ближе к вечеру пришёл дядя Аббас. Высокий, но, точно ребёнок, застенчивый. Я ему в сыновья гожусь, а он и меня стесняется, в разговоре теряется, краснеет. Я вышел проводить его, он застенчиво спрашивает:

— Девушку себе присмотрел?

— Есть одна.

— Да ну? Отец твой не сказал.

— Он ещё не знает.

— Когда привезёшь-то? Поглядели бы. Я для тебя барашка берегу. Привези, познакомимся, хороший повод барашка зарезать да попить. Что за девушка, хорошая?

— Азербайджанка. Учится в мединституте.

— Родители согласны? — недоверчиво посмотрел он на меня. — У нас на такие вещи косо поглядывают. Сами-то на армянках женятся, а вот дочерей за армянина выдавать не любят. Не беда, — улыбнулся он, — что-нибудь придумаем.

— Что именно?

— Не бери в голову! — Дядя Аббас легко рассмеялся, обнял меня. — Либо умыкнём, либо пойдём сватать, я скажу, что ты мой сын.

Домой я не зашёл, прямо с автостанции направился в редакцию, хотя было довольно рано и вряд ли кто-нибудь из сотрудников уже явился. Но нет, Арина была на месте, наверное, только что пришла, прихорашивалась перед настенным зеркалом в общем отделе — подкрашивала губы и по ходу дела напевала: «Пойдём, сынок, пойдём в наш край».

— Здравствуй! Что-то ты сегодня рано.

— Ох, — отпрянув от зеркала и прижав руки к груди, вскрикнула Арина, — как же я испугалась. Чуть сердце из груди не выпрыгнуло.

— Скорую не вызывать?

— Не вызывать? — скривив рот, передразнила она меня. — Вызывай. А ты почему спозаранок? Похоже, всю ночь не спал и думал о Сильве.

— Может и так. Она что, не придёт сегодня?

— Нет. Муж не пускает. — Что-то вспомнив, Арина поспешно отворила дверь комнаты, извлекла из папки на столе знакомую мне записную книжку Армена в чёрной обложке и перелистнула несколько страниц. — Вот, Лео, — подошла она ко мне, — посмотри. Твой Армен вун. Он сидел в тюрьме.

— Не может быть.

— Дело тебе говорю, — уверенно, тоном человека, знающего цену своего слова, настаивала Арина. — Я изучила эту книжку от и до, проверила пункт за пунктом. Записи, правда, зашифрованы, но я расшифровала. Шесть месяцев, и каждый день взят в чёрную рамку, есть ссылки на две статьи Уголовного кодекса, 163-ю и 159-ю. Первая — воровство, то есть хищение чужого имущества, другая — мошенничество, что в свой черёд означает опять же присвоение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием. Строки воровской песни «В Магадане снег идёт», чьё-то женское имя — Шогик. Написано в перевёрнутом виде, так что прочесть можно только в зеркальном отражении. «Не плачь, дорогая, не плачь, откроется эта дверь, и тот, кто её закрыл, её отворит, поверь». В одном месте написано: «Тюрьма — целый мир, а мир — большая тюрьма». В другом: «Поезд прикован к рельсам, он арестован, как я». Что ты на это скажешь? И самое главное, стихи, они, должно быть, обращены к Шогик:

Знаю, милая, ты
Столковалась по мне,
Но вернусь я нескоро,
Потому что в тюрьме
Слишком прочны запоры,
Мне их не отворить...

Ну, что скажешь?

— А... Как же его выпустили?

— Уголовным кодексом это предусмотрено. Кто впервые совершил лёгкое или средней тяжести правонарушение, может быть освобождён от ответственности, если помог следствию раскрыть преступление или примирился с потерпевшим и каким-то способом возместил причинённый ущерб. Или, скажем, если стало ясно, что в силу изменившейся обстановки он более не представляет опасности для общества.

— Вот сейчас я, наконец, поверил, что ты и впрямь окончила институт с золотой медалью, — засмеялся я. — Тебе бы работать в уголовном розыске.

— Словом, — с победным видом заключила Арина, — он обманщик и вун, я это доказала. Стишки нам посвящал, Сильва тоже здесь была. Погоди, принесу. — Зайдя в свою комнатку, Арина принялась поспешно выдвигать ящик за ящиком, отыскала листок с машинописным текстом. — Я их напечатала, слушай.

Арина — страстная смуглянка,
Горячая, как индианка.

Она подняла глаза, приоткрыв рот, кокетливо посмотрела на меня и продолжила:

Лоранна — роза белой масти,
Глаза прекрасны у Лоранны.
А Сильва — воплощенье страсти,
Её движенья так желанны,
Чуть-чуть медлительна и в теле
И рождена лишь для постели.

В коридоре послышался голос и непринуждённый смех Лоранны, она с кем-то разговаривала.

— Вы, похоже, здесь и ночевали? — весело и с обаятельной улыбкой спросила она.

— Да, — мгновенно среагировала Арина, — так оно и есть.

— Бессовестные! А мне почему не сказали? — Лоранна быстро приводила себя в порядок перед зеркалом, придирчиво осматривала лицо и причёску. — В определённом возрасте женщина должна быть красива, чтобы стать любимой. Но приходит время, когда нужно быть любимой, чтоб остаться красивой... Молодые годы бегут от меня, как горная лань. Я, помню, бежала за ними, пыталась догнать, ах, когда ж это было...

— Третье лишнее, — улыбнувшись после заминки, уколола её Арина.

— Третье — это я? — засмеялась Лоранна и подмигнула мне в зеркале. — Лео, муж рассказал хороший анекдот. — Она с той же обаятельной улыбкой повернулась. — Послушайте. Дело происходит в российской глубинке. Муж уехал на заработки. Ему передают, что жена с кем-то спуталась. Он в бешенстве телеграфирует: «Приеду, выясню, что всё правда, голову отрублю». Садится в поезд, возвращается к ночи, заглядывает в окно — жена милуется с мужчиной. Муж недоумевает: «Может, она телеграмму не получила?»

Анекдот оказался остроумный, мы посмеялись.

— У меня был разговор с Боджикяном, — усаживаясь на место, сказала Лоранна. — Вчера ему звонил наш бывший. Разобижен на нас, мы, говорит, не защитили его от нападков Гурунца. Норе Багдасарян тоже пожаловался. По словам Норы, мы повели себя неправильно. Дескать, мы обязаны были стать на защиту партийца с тридцать девятого года, известного поэта и депутата. Кто бы ей сказал: тебе-то, Нора, что за дело, зачем ты, пожилая женщина, суёшься, куда не просят?

— Вот бы он и правда обиделся и больше не приносил мне свои дурацкие воспоминания, — размечталась Арина. — Воспоминания про то, как ели, пили, умирали.

— Послушай-ка, — сказала Лоранна, — возможно, к его книге нужен эпиграф. Давайте придумаем такой, чтоб в нём было про еду, питьё и... про что ты говорила? Ах да, про смерть. — Она наскоро набросала что-то на бумаге, поправила одно-два слова и протянула Арине. — Ну как, соответствует сути книги?

Арина пробежала глазами строки на листке, засмеялась: «Вполне» и громко прочла:

Как умру, вы на могилу
Приходите с миром,
Принесите бутылку водки,
Мяса, хлеба с сыром.

Арина снова рассмеялась:

— Эпиграф достоин книги. — И добавила с непринуждённым смехом: — А чего это ты так вырядилась, позволительно спросить?

— У меня, Ариночка, сегодня эфир. Весь Азербайджан, а также родной мой Сисиан, где тоже смотрят наши передачи, поглядят на меня и подумают, что когда-то я была молода и красива, а теперь только красива.

С гладкой округлой шеей, округлой и белой, в платье с неглубоким вырезом на груди и со своевольным норовом она и на самом деле была красива.

Лоранна грациозно повернулась ко мне:

— Лео, придёшь в режиссёрскую? Чтобы произвести на телезрителей ошеломляющее впечатление, мне совершенно необходима твоя моральная поддержка. Открой сахарные свои уста и произнеси сладкое, как сахар, слово: «приду».

— Приду, — улыбнулся я.

— Я так и знала, — кося взглядом, умилилась Лоранна. — Хотя замечая, что в последнее время ты совсем не обращаешь на нас внимания. Как говорила моя мама, когда дыня поспевает, огурец теряет вкус. — Она снова мне подмигнула и лукаво улыбнулась, давая понять, что знает, о чём или, верней, о какой такой дыне идёт речь. Я пошёл в свой кабинет.

— Идёшь, Лео? — открыв дверь кабинета, торопливо выпалила Лоранна. — Через пять минут мы в эфире.

Немного погодя я был уже в режиссёрской. Лоранна с актёрами находилась в студии. В ярко освещённой студии Лоранна сидела посередине, актёры — справа и слева от неё, все софиты были направлены на них, и, судя по всему, там стояла жара. Лоранна улыбнулась мне сквозь толстое звуконепроницаемое стекло.

Звукорежиссёр Марк Бронештер подошёл к щиту с мониторами, экраны которых запечатлели сцену; она полностью просматривалась видеокамерами, расставленными в разных точках. Операторы в наушниках передвигали мобильные камеры туда-сюда, показывая участников передачи в разных ракурсах.

Понятия времени и пространства здесь материализуются, и неровное сердцебиение секунда за секундой неотвратимо приближает начало передачи.

За несколько мгновений до него наш режиссёр Жирайр Аветисян — он был прежде режиссёром Бакинского армянского театра, человек в высшей степени воспитанный — предупредил в микрофон: «Внимание! Мы в эфире» — и нажал кнопку. На камерах загорелись красные лампочки. Старик-звукорежиссёр включил музыку, первая камера дала название передачи, а следом — чуть побледневшую и смущённую Лоранну.

— Здравствуйте, дорогие друзья! — зазвучал её певучий голос.

Передача началась. За моральной поддержкой дело не стало, теперь надлежало произвести ошеломляющее впечатление. Я незаметно вышел из режиссёрской.

Непроизвольно поминутно и беспокоило поглядываю на часы. Сегодня ко мне придёт Рена, и начиная с четверга я думаю об этом с неотступно нарастающим волнением. Я полагал, она придёт во второй половине дня, но в то же время каким-то шестым чувством угадывал — это случится раньше. Она и вправду пришла до перерыва.

Она появилась совершенно неожиданно, запыхавшаяся, преображённая смущением и ещё больше от этого похорошевшая. Короткое облегающее платье с каймой подчёркивало её тонкий стройный стан и небольшую, как дыньки, круглую грудь.

— Лифт не работает, — сладкозвучно произнесла она, слабо разлепляя розовые губы и не в силах справиться с одышкой. Смотрит прямо. Своенравные глаза смеются. В них умиление, нежность, сладость. Они манят, пленяют, завораживают. И я, невольно поддавшись этим чарам, устремляюсь им навстречу, и сердце замирает от свежести её приоткрытых ослепительных губ.

— Вот я и пришла, — добавила она, откидывая назад золотистые волосы и улыбаясь чуть влажными глазами, белейшими зубами, губами, всем лицом. — Ты не рад мне?

Заворожённый и отстранённый, я смотрел на неё с неутолимой жадностью, словно не видел целую вечность, сердце билось с необычайной силой, я наслаждался тем, как упиваюсь её колдовской красотой, и при этом смехотворным образом страшился, что упоение лишит меня разума.

— Я сбежала с последней пары, — нежно и тихо произнесла она, по-прежнему тяжело дыша.

— Если я тебя поцелую, ты не рассердишься? — дрогнувшим голосом сказал я в ответ.

Не отрывая от меня своих голубых глаз, Рена покачала головой — «нет». Её лицо залила краска.

Позже я не мог обрисовать, как это произошло; ключ с лёгким щелчком повернулся в замочной скважине, в следующий миг я уже обнимал Рену, ощущая пальцами вогнутую линию её хрупкой спины и нежные ямочки у ключиц; её волосы благоухали и щекотали мне лицо, я шептал что-то бессвязное, чего не в состоянии был потом припомнить, осторожно и нежно целовал обнажённые плечи, исходящую ароматом шею; мои губы слепо блуждали по её лицу, страстно искали и нашли её приоткрытые пухлые губы, пытавшиеся поначалу увернуться, но вскоре с готовностью уступившие, покорные и горячечные; её прерывистое дыхание сводило меня с ума, чуть уловимый стон переполнял счастьем.

Вот так я впервые поцеловал Рену.

Дни мои не то что проходили, но пролетали, и точно так же моё полное любви и воодушевления сердце, не противясь, летело навстречу Рене. Я безумно любил её, она воплощала в себе женскую прелесть, и не любить её было выше моих сил, и любовь воистину доводила меня до помешательства. День ото дня Рена по-новому раскрывалась передо мной — с изысканным вкусом и несказанно добрым сердцем, открытая, непосредственная, во всех отношениях привлекательная и при этом обаятельная, любимая и обласканная, наделённая вдобавок тонким чувством юмора и хохотунья. Она с полуслова понимала любую шутку, резвилась и ликовала, и её журчащий смех лучился светом и заражал; ступая легконогой ланью, она, чтобы рассказать что-то, внезапно и грациозно повисала на мне, обхватив руками шею и преграждая путь, и её синие, как небо, глаза искрились и сияли, озаряя чудесное лицо неизбывным светом и шедшей из души красотой.

Жизнь в редакции текла привычным руслом: по понедельникам заседание коллегии, составление плана на будущее, ежедневные часовые радио- и телепередачи на армянском языке, встречи с авторами, утренние летучки.

Наш бывший ещё не закончил свои мемуары и по-прежнему диктовал их Арине, вызывая у той отвращение. Вдобавок однажды он поведал историю, после которой мне тоже трудно стало переносить его присутствие. Накануне Сагумян рассказал, что в своё время крупного литературного и общественного деятеля Егия Чубара, который в тридцать третьем — тридцать шестом годах был замминистра просвещения Азербайджана, и артистку Бакинского армянского драмтеатра Арус Тараян и её восемнадцатилетнюю студентку-дочь арестовали по доносу нашего экска. Во внутренней тюрьме ГПУ девушку пытали, насиловали при матери и почему-то переведённой сюда из Еревана писательнице Забел Есаян, загоняли под ногти иголки; девушку обвиняли в шпионаже, тогда как её вина состояла в одном — она неосторожно призналась кому-то, что мечтает побывать в Лондоне и увидеть своего отца, англичанина Кларка. Красавицу Арус, дочь писателя Седрака Тараяна, ту самую, кому, по словам Сагумяна, некогда в Тифлисе посвящали стихи Сталин и Терьян, тоже пытали на глазах у дочери. В начале шестидесятых (в пору недолгой хрущёвской оттепели стало можно говорить об этом) Арус Тараян здесь, в редакции, бросила в лицо тогдашнему шефу самые последние слова. Тот покраснел до кончиков ушей, но не нашёлся с ответом. Это случилось в присутствии Сагумяна. «А что было потом? — спросил я. — Дочку Тараян пустили к отцу в Англию?» — «Да ты что! — с горечью возразил Сагумян. — Бедняжка сошла с ума после пыток. Одно время лежала в маштагинской психушке, а сейчас... Даже не знаю, жива ли она». — «А сама Арус Тараян?» — спросил я. «Умерла в одиночестве и крайней нужде», — ответил Сагумян.

Новая история была связана с некоей девушкой, в которую бывший, по его же словам, влюбился в десятом классе.

— Я ей стихи посвящал, — рассказывал он Лоранне. — Очень была красивая, первая красавица школы. Как-то проходила мимо, я и продекламировал: «Люблю тебя, люблю украдкой, страдаю и ночей не сплю». А она ни с того ни с сего: «Презираю». Бросила и прошла. Я так и остолбенел. А рядом школьная шантрапа стояла, всё слышала. Эти мерзавцы невзлюбили меня, частенько бывало то очки у меня отнимут, то плюнут. В общем, издевались. Потом-то я, конечно, с ними поквитался. Забрали их, и след простыл. Словом, я остолбенел. А про себя поклялся: «Я тебе покажу». Со временем узнал, что она вышла замуж, родила ребёнка, муж служит администратором в армянском театре. Пошёл я к Мирзе Ибрагимову, он руководил главным управлением по делам искусства, постарался. В итоге муженька вытурили с работы. Тут же выяснилось, что в театре имелись какие-то нарушения, хищения. Короче, провели проверку, её мужа посадили. Видел я её потом, бывшую красотку, — хихикнул экс, прикрыв рот рукой. — Шла в тряпье, как побирушка. «Помнишь своё “Презираю”?» — спросил я. «Помню, — говорит. — Тогда презирала, а сейчас меня тошнит от тебя». — «Ну-ну, смотри не поперхнись». Я сказал это про себя, а сейчас жалею, надо было вслух, верно?

Казалось, Лоранна задыхается, она хватала ртом воздух, как рыба на берегу, и обмахивалась.

— Дайте сигарету, пожалуйста! — взмолилась она.

— Ты же не куришь, — удивился бывший.

— После ваших историй не то что к сигарете, к наркотикам потянет, — грубо сказала Лоранна и спешно покинула комнату.

Через минуту вышел и я, направился через полутёмный коридор к главному. Лоранна сидела там и курила.

— Ничего-то вы про него не знаете, — вздохнул главный. — Маргара Давтяна и Геворга Петросяна он довёл до смерти. Не говорю уж о его происках против Баграта Улубабяна, Аршавира Дарбни, Абраама Бахшуни, Эльмира Мкртчяна, Самвела Кнаруни, Эммы Петросян и Амо Амирханяна. Амирханяну пришлось бежать в Ереван, не стал даже дожидаться выхода своей книги; её, между прочим, просто вычеркнули из плана. Он годами преследовал Востика Каракозяна, работавшего в журнале «Гракан Адрбеджан». Как-то раз Востик вышел после работы на улицу и прямо перед Домом писателей замертво рухнул на тротуар. Сиявуш Сарханлы из журнала «Улдуз» взволнованно звонит ему: мол, ваш сотрудник лежит здесь мёртвый. Догадайтесь, что он ответил. А вот что: «Считайте, что сдохла собака». И кладёт трубку. А когда-то они были близкими друзьями, он в доме Востика дневал и ночевал. А что делать? Он же член президиума Верховного Совета, двадцать с лишним лет редактировал журнал, столько же проработал здесь, полвека в партии, народный поэт. Хочешь не хочешь, а терпи, пока...

— Пока что? — Лоранна поняла его. — Не надейтесь, он не умрёт. Неужели в этом огромном городе не нашлось армянина получше, чтобы выдвинуть в депутаты?

— Если он всё же умрёт, выберут Тельмана, — сказал я.

Искренне расхохотавшись, главный кивнул в знак согласия — так оно и будет. И тут, что называется, лёгок на помине, появился Тельман Карабахлы-Чахальян, весь какой-то потерянный, с всклокоченными густыми бровями и поджатыми губами.

— Убью, всё равно убью, — задыхаясь, твердил он. — Погоди у меня, Геворг Атаджанян, увидишь, я с тобой такое сотворю... Когда наконец вернётся из армии Мнацакан, чтоб убрался из отдела этот баран...

— Садись, Тельман, ты уже в рифму заговорил. Что стряслось? — обеспокоенный с виду, главный изо всех сил сдерживал смех.

— Я застукал жену, — присев на краешек длинного стола, прерывистым от расстройства голосом сказал Тельман. — Что женщина порушит, того Бог не отстроит. Ох, застукал...

— А куда ж она шла? — наивно спросила Лоранна, отгоняя дым от глаз.

— Да куда ей идти, — взбесился Тельман и, что было сил, хватил себя по колену. — Ты что, без царя в голове, что ли? Дома я её застукал. Соседа позвал в свидетели, он всё видел...

Из бессвязных слов Тельмана выяснялось, что он поймал свою благоверную с другим, и будь этот негодяй простым смертным, Тельман порвал бы его на куски. «Голову бы ему расколошматил», — шипел он. Но любовником оказался сотрудник комитета госбезопасности Сафар Алиев, отмеченный большой чёрной родинкой на щеке. Мерзкий тип, он приехал из Армении и по-армянски говорил чище любого из сотрудников нашей редакции.

Лоранна знала его, прежде он частенько захаживал к нашему бывшему, и мы, разумеется, смекнули, с чьей подачи и с чьей помощью попал в армянскую редакцию Тельман Карабахлы-Чахальян. Однако попользовался ли бывший прелестями молодой Тельмановой жены, осталось неизвестным, хотя все мы склонны были думать, что без этого не обошлось, тем паче Лоранна раза два засекла, как они шушукались у бывшего в кабинете.

— Человеку в годах не дело жениться на молоденькой, — расфилософствовался Тельман. — Потому как ты ещё жив, а она только и думает, как устроится после твоей смерти.

В редакции, несомненно, уже знали о моей любви. Главный с улыбкой сказал: «Не сглазить бы, выбор хоть куда». В коридоре Нора придержала шаг, как обычно, склонив набок голову, левой рукой подпёрла щёку и, покачивая плечами, успела попрекнуть на своём гадрутском наречии: «Лео-джан, хороший ты мой, все в нашей редакции знают, как я тебя уважаю, сильно-сильно уважаю, но что ты позабыл про родную кровь и положил глаз на девушку другого рода-племени, вот это я тебе никак не прощаю».

Одна лишь Арина ничего не говорила. словно не замечая, смотрела исподлобья и докладывала: «Вчера какая-то девушка звонила, тебя не было». Не говорила кто, хотя и знала, по голосу узнавала. Как-то Лоранна сказала:

— Вижу, Лео, это слепому видно, что ты любишь эту девушку. Но намотай на ус, ради единственной улыбки тебе придётся пролить море слёз, потому что большая любовь сама по себе слёзы и боль. И мне почему-то кажется, что эта любовь непременно принесёт тебе не только радость, но и муки. Смех, упоение, счастье, но и слёзы. И не знаю, достанет ли у тебя сил справиться со всем этим. Я не обратил внимания на цыганские гадания Лоранны, каждая минута с моей голубоглазой красавицей доставляла мне безграничную отраду, в ней заключалось всё моё существо, душа и сердце, я больше не мыслил без неё своей жизни, и как же мне было приятно, когда, словно угадав, о чём я думаю, Рена ласково прошептала однажды: «Ни дня не проведу без тебя».

— Ты тоже полюбила меня с первого взгляда? — спросил я с шутливой самоуверенностью.

— Да, — счастливо и нежно сказала она, прижавшись ко мне. — Не знаю, как это получилось, мне понравилось твоё замешательство и то, что ты не хотел, чтоб я позвонила какой-нибудь девушке; впрочем, если бы ты и настаивал, я бы всё равно не позвонила. Я нравилась тебе, чувствовала это и наслаждалась. И подсознательно понимала, что ты потому и не хотел, чтоб я кому-то звонила, не хотел мне изменить. Это так?

— Это так, — покорно сказал я, с упоением целуя её благоухающие волосы цвета майского мёда.

— Может быть, я потому и согласилась пойти в ресторан, не знаю. Помню, что всё время порывалась встать и выйти из твоего кабинета, но не могла. Разум велел мне: вставай, сердце велело: сиди, я колебалась и не двигалась с места. Вот какая борьба происходила во мне, — подняв лучистые глаза, улыбнулась Рена. — Смешно, правда?

— Нисколько не смешно. Ну хорошо, а что ты нашла во мне? — Я сказал это просто так, не пытаюсь, по всей видимости, покичиться, мне всего-навсего хотелось ещё раз услышать из её дивных уст, что она на самом деле меня любит.

Рена подняла голову с моей груди, посмотрела на меня светозарным взглядом и ответила вопросом на вопрос:

— А что нашла Эсмеральда в горбатом Квазимодо?

Блеск! Она сравнила меня с глухим уродом Квазимодо.

— Благодарю за Квазимодо, — с напускной обидой и возмущением сказал я.

Рена порывисто рассмеялась, прильнула ко мне и, обхватив мою шею руками, коснулась моих губ пылающими мягкими губами.

— Помнишь, — сказала она, чаруя меня прозрачной голубизной своих глаз, — что ответил Меджнун своему отцу, сказавшему про Лейли: «Что ты в ней нашёл?» — «Смотри на неё моими глазами, отец, — ответил Меджнун, — моими глазами». Так что, Лео, мой любимый, мой ненаглядный, — она вновь улыбнулась белозубой улыбкой, — посмотри моими глазами и увидишь, что против Квазимодо ты невероятно красив. — Она нежно провела ладонью по моей щеке: — Пойми, любят не за что-то, просто любят, и всё. Что нашла семнадцатилетняя Ульрика в семидесятилетнем Гёте?

— Гёте был гениальным поэтом.

— За что Тургенев полюбил Полину Виардо? Что нашёл он в этой не очень красивой замужней даме, почему до конца жизни боготворил её, да так и не женился ни на ком? И что нашли в простой русской женщине Елене Дьяконовой две мировые величины Поль Элюар и Сальвадор Дали, которые посвятили ей многие свои произведения, а Сальвадор Дали подписывал полотна двумя именами — своим и её, которая была на десять лет старше, — Сальвадор — Гала. У султана Шах-Джахана в гареме было свыше трёхсот жён, однако он любил лишь одну из них, кажется, звали её Мумтаз. Скажи, пожалуйста, почему именно её? В память о скоропостижно скончавшейся любимой жене он соорудил в Агре мраморный пятикупольный мавзолей, известный всему миру как Тадж-Махал, и, укрывшись там, не захотел больше кого-либо видеть до самой смерти. Любят не за что-то. Человек влюбляется непосредственно, без вопросов и раньше, чем поймёт и осознает, что влюблён. Почему это так, не знаю, но то, что любовь на самом деле рождается стихийно, порою даже инстинктивно, ведомая непостижимой высшей энергетикой, — отрицать это невозможно.

— Сдаюсь, убедила, — со смехом сказал я, — но за Квазимодо всё равно не прощу.

Рена вдруг укусила меня за палец и засмеялась.

— Рен, ты что, собачка? — возликовал я.

— Только сейчас это понял? — с алыми губами, светлоликая, торжествующая, она с гримаской показала мне язык и снова рассмеялась.

Что может околдовать сразу, если не сводящий с ума волшебный смех любимой девушки? Я медленно и с нежностью скользнул пальцами по сочным, как у Мишель Мерсье, тёплым её губам, даже не пытаюсь и не умею скрыть своё восхищение.

Рена нежно целовала мои пальцы, трогая их влажными губами и глядя на меня улыбающимся взором.

Ах, прекрасная моя Рена, до чего же ты прелестна — талия тонка, губы улыбчивы, стан строен, глаза красивы, я люблю тебя бурно и страстно, только тебя на всём свете, тебя я люблю, дивная моя, иди же ко мне, иди, дабы я лобзал твои душистые как роза уста, я готов умереть во имя тебя... Господи, она воистину сводит меня с ума своими ослепительными чарами, своим обаянием.

Мы встречались по субботам (в Ренины библиотечные дни), на прогулочном катере плыли навстречу отрывистым крикам белокрылых чаек и музыке к отдалённому островку Наргин, лакомились в прибрежных кафе мороженым, с высоких холмов парка имени Кирова, стоя в обнимку, смотрели на затянутый голубоватой дымкой засыпающий огромный город и набегающее белыми волнами на берег море, спокойное все эти месяцы, долго наблюдали, как багровые всполохи закатного солнца воспламеняют на западе всё небо и как, меняя краски, посверкивает и лучится море.

Там-то, в парке Кирова, в дебрях аллей, волнуясь и краснея, Рена и выразила замысел, то ли где-то вычитанный, то ли услышанный в кино, то ли зародившийся в ней самой.

— Если что-то скажу, ты со мной согласишься? — спросила она.

Ещё не догадываясь, о чём пойдёт речь, я ответил утвердительно, поскольку был уверен — что б она ни сказала, я непременно соглашусь.

Она медленно достала из сумочки безопасную бритву в яркой обёртке, так же неспешно высвободила её из упаковочных конвертиков — один из них был прозрачным, — убрала их, бритву дала мне и одновременно подставила запястье ладонью вверх.

— Чиркни лезвием вот здесь, поперёк жилок, — Рена показала, где именно следовало сделать надрез.

— Зачем? — удивился я.

— Никаких «зачем», — широко улыбнулась Рена, — ты ведь обещал.

Но вместо надреза я вожделеющими своими губами прикоснулся к её запястью:

— Не буду, не могу я причинить тебе боль.

Рена засмеялась, заглянула мне в глаза своими, затуманенными умилением, и, взяв у меня бритву, провела ею по руке; на белом её запястье тут же появилась алая кровь.

— Знаешь ли ты, что в артерию кровь не втекает, а входит прерывистыми волнами, как вода выливается из бутылки с узким горлышком? Каждая волна за короткое время расширяет стенки артерии и стремится вперёд, отталкиваясь от последующих волн. Дай-ка руку, — велела Рена, глядя на меня улыбающимися глазами и прежним способом — опять же поперёк жил, надрезала мне руку. И крепко прижала её к своей руке.

— Лео, — шепнула Рена, прижавшись ко мне, — моя кровь течёт сейчас к твоему сердцу, ты чувствуешь? Я ощущаю струение твоей крови по моим жилам. Эта мысль сводит меня с ума.

По телу пробежала непередаваемая сладостная дрожь, охватившая всё моё существо. Мы стояли, поглощённые, возможно, важностью, возможно, торжественностью минуты, свободной рукой я прижал Рену к груди и, кажется, чувствовал неудержимый безумный бег своей закипающей желанием крови к её нежному сердцу; Рена потянулась багровыми страстными губами к моим губам. Наши губы слились. Это длилось долго. Я исступлённо целовал её, крепче и крепче сжимал в объятьях, словно пытаюсь уместить в сердце, втиснуть в самую глубину души. Самозабвенно и горячечно шептал:

— Ты дорога мне, Рена, и будешь дорога вовеки, я буду любить и защищать тебя до последнего своего вдоха; да, ты дорога мне, мне дороги все, кто тебе близок, кто тебя окружает, кто соприкасается с тобой и с кем соприкасаешься ты, всё, что тебя радует, волнует и восхищает.

Я говорил ей бессвязные эти слова в дебрях аллея парка имени Кирова, и где-то далеко, не то за оградой парка, в одной из припаркованных на улице машин, не то из какой-то высотки звучал магнитофон, и до нас доносилась песня: «Ах, пленили меня эти синие, синие очи, я забыть их не в силах...», и она была про Рену, про её синие, синие глаза. Я испытывал признательность Армену за свою удачу, за своё счастье. Та ресторанная история представлялась мне забавным приключением, декламация стихов о Карабахе — невинным розыгрышем, посвящение девушкам, скроенное по мотивам «Дон Жуана», — мальчишеской шуткой.

Рена сказала по телефону:

— Завтра познакомлю тебя со своими родными. — И засмеялась.

— Рен, я последнее время не различаю, где ты шутишь, а где серьёзна. Ты это всерьёз?

— Не хочешь — не буду знакомить, — опять засмеялась она, тихонько добавила: «Цавед танем» и положила трубку.

«Она вправду решила свести меня с ума, — смеюсь, подумал я, — и, к счастью, у неё это получается».

Назавтра она пришла с ясной сияющей улыбкой во всё лицо. Волосы красиво собраны на затылке, беломраморная лебяжья шея открыта; она торжественно села напротив и вынула из сумочки целую пачку фотоснимков.

— Здесь вся моя родня, — с улыбкой сказала она, раскладывая фотографии на столе. — Прошу познакомиться. Пока что заочно, — со смехом уточнила она. Я принялся рассматривать карточки.

— Это мой брат Расим, он пятью годами старше меня и работает в энциклопедии. Похож на меня?

— Немного. — С фотографии из-под чёрных бровей на меня хмуро смотрел брат Рены — высокий, широкоплечий, с ухоженными чёрными усами. Глаза у него тоже были чёрные, выразительные. Да, улавливалось отдалённое сходство с Реной. Но, пожалуй, сестра Эмира с юной своей красотой больше походила на Рену, различала их смуглость Эмиры. На продолговатом, овальном смуглом личике немного великовато выглядел рот с припухлыми, как у Рены, губами, причём нижняя была чуть более пухлой.

— На четыре года моложе меня, учится в девятом классе, — положив тёплую ладонь мне на руку, склонившись у моего плеча к столу, обдавая меня несказанным своим дыханием и жаром мягкой груди, поясняла Рена. — Страшно избалованная, потому что младшенькая в доме, мы её без памяти любим. А язык... Язычок у неё длинный, острый. День её не вижу — до смерти скучаю.

На другом снимке Эмира сидела в кресле — нога на ногу, чёрные прямые волосы ниспадают на ворот, а со вкусом сшитое платье облегает её ладную фигурку, подчёркивая острые маленькие грудки. Своими крупного прекрасного разреза глазами, с насмешливой улыбкой на припухлых губках она смотрела прямо на меня.

— А это жена брата, Ирада. Знал бы ты, какой у неё мягкий характер. Брат не позволяет ей работать, хотя у неё высшее образование. А это мама, преподаёт в нефтяном техникуме. Это отец. Закончил педагогический институт, но по специальности никогда не работал, всегда в разных областях. Правда ведь, Расим похож на отца? Мы с Эмирой на него не похожи, зато Расим похож. Я разглядывал снимки, предвкушая день, когда повстречаю их воочию — семью Рены, которая казалась и мне родной.

Мне на самом деле повезло вскоре повидать их. Конечно, не всех. Мы говорили с Реной по телефону, и мне почудилось — она не в настроении, чем-то озабочена.

— Что случилось, Рен? — обеспокоенно спросил я.

Рена поведала, что знаменитая группа «Boneu M» совершает с однодневными концертами прощальный тур по крупнейшим городам мира и после Москвы, Ленинграда и Киева посетит в конце месяца Баку, откуда полетит в Китай. Однако билеты уже распроданы. В институте ей обещали, да ничего не получилось.

— По правде говоря, нам с Ирадой очень хотелось попасть на концерт, но на нет и суда нет. Но мы-то ладно, — безнадежно молвила Рена. — Раздобыть бы хоть один, для Эмиры. Она прямо-таки грезит этим концертом, кое-кто из её одноклассников, один-два человека, билеты достали. Ну, раз они пойдут, она, хоть умри, тоже должна попасть. Уже два дня, как малое дитя, ноет и ноет, и глаза на мокром месте. Расим сколько ни бился — всё впустую. Я ни слова не сказал Рене, но, положив трубку, срочно принялся действовать. Звонил туда и сюда — бесполезно. Ткнулся к главному редактору, вдруг он как-то поможет. Из командировки только что вернулся Тельман Карабахлы-Чахальян и, обмахиваясь соломенной шляпой, подобострастно рассказывал, мол, привёз «потрясающие ребордажи» о табаководках из Дрмбона и Атерка, что в Мартакерском районе, и, мол, возле Дрмбона посеяна ежевика на загляденье, да он про это не написал, а только лишь о табаководках. Главный смотрел на него, весь в себе, задумчивый, и ничего не говорил. Мне стало его жаль, я возвратился к себе и позвонил Сиявушу в Союз писателей.

— Сиявуш, мне нужно три билета на концерт «Boneu M». Если сделаешь мне это одолжение, я всю жизнь буду думать о том, что делать, чтобы не остаться в долгу перед Сиявушем.

Сиявуш искренне расхохотался.

— Старик, — сказал он, — чего не пробьёшь ломом, пробьёшь сладким словом. Однако Сиявуша сладким словом не улестить, он предпочитает свежие кебаб и шашлык да добрую водку.

— Будут тебе хоть десять бутылок отборнейшей водки и двадцать шампуров кебаба с шашлыком. Только достань мне три билета.

— Перезвоню тебе через полчаса, — сказал он. — Ты дома или в редакции?

— В редакции.

Про себя я решил, что, в крайнем случае, возьму билеты прямо у дворца Ленина, с рук, и втридорога, и за любые деньги.

Через полчаса Сиявуш не позвонил. Позвонил он ровно через полтора часа.

— Старик, позвонил я в Москву, — медленно начал Сиявуш, и я мысленно засмеялся, такая уж у него была особенная привычка — всё начинать издавека, так сказать, от Великой китайской стены.

— В Москве-то тебе что понадобилось? Хотел с гастролёрами потолковать? Они до Москвы пока не доехали.

Он засмеялся.

— Молодчина, за словом в карман не полезешь. Имей терпенье, старик, терпенье и труд всё перетрут. Кюбра-ханум, управделами Союза писателей, приберегла три билета для председателя, а тот в Москве. Вот я и позвонил ему, попросил эти билеты. Но с условием, что ты переведёшь на армянский одну из его вещей. Он сказал, что ты перевёл уже какую-то его повесть. Это какую?

— «Я, ты, он и телефон».

— Неплохая вещичка. Переведи лучше «Юбилей Данте».

— «Юбилей» на армянский уже переведён.

— Ну, тогда переведи «Белую гавань». Отличная повесть, премию получила.

— Не морочь мне голову, Сиявуш. Короче, как ты договорился?

Сиявуш захохотал в полный голос.

— Чего там договариваться? Билеты у Сиявуша. Ты-то своему слову хозяин, а?

— О чём речь!

— Аббаса Абдуллу ты знаешь? — Я засмеялся. — Ты его знаешь как поэта и главного редактора журнала «Улдуз». Но для нас он не поэт и не редактор, а водитель. Беру его с собой, чтобы не тратиться на такси. Через полчаса мы у тебя. Ну а там решим, куда идти.

Мне не хотелось звонить Рене, пока не увижу своими глазами билеты.

Получаса не прошло, как Сиявуш и Аббас были у меня в редакции.

— Не опоздали, нет? — глянув на часы, сказал Сиявуш. — Этого ещё не хватало, чтоб Аббас на дармовое угощение опоздал, — засмеялся он. — Что ему красный свет? На спидометре сто двадцать было.

Мы обнялись, Сиявуш отдал мне билеты.

— Старик, два билета — понятно, а третий-то для кого?

— Для будущей тещи, — сказал Аббас, поправляя на носу очки и улыбаясь сквозь по-шевченковски густые усы. За переводы украинских стихов с оригинала он удостоился недавно премии имени Шевченко, прицепил к пиджаку

нагрудный значок размером с пуговицу с изображением Шевченко, и они оказались очень похожи — те же обвислые усы, та же лысина и тот же пристальный взгляд из-под лохматых бровей.

— Старик, если она дебелая пышечка, прихвати меня с собой, ты же знаешь, что Сиявуш равнодушен к упитанным женщинам.

— Лео, когда здесь гастролировала Зыкина, этот чудаков ни одного концерта не пропустил, — сказал Аббас.

— В самом деле? — засмеялся я.

— Конечно, — с довольной улыбкой кивнул Сиявуш. — Груды большущие, точь-в-точь как у Памелы Андерсон, каждая с голову Аббаса, ходит по сцене величаво, плавно.

— Зыкина со сцены сказала: «Не знала, что в Азербайджане так любят мои песни. Что вам спеть?» А зал в ответ: «Да не надо петь, ты просто ходи по сцене туда-сюда», — засмеялся Аббас.

Высокий, красивый, симпатичный, но несерьёзный, вечно несерьёзный Сиявуш захохотал:

— Есть местные бараны, не мериносы всякие там, а местные, со здоровенным двухпудовым курдюком. У мужней жены такой вот пышный зад должен быть. Утречком, уходя на работу, слегка шлёпнешь, уйдёшь, придёшь — он всё ещё колышется. — Он опять захохотал: — И мы, и армяне за пышнотелую бабёнку жизнь отдадим. Так, Лео?

— Не так, — сказал я.

— Ну, ты, стало быть, исключение, — отступил Сиявуш. — Ты худеньких любишь. Слушай, Аббас, — он резко повернулся к Аббасу и весело сказал: — Смотри и мотай на ус, что значит цивилизованная нация. Глянь, какой у Лео кабинет — паркет блестит, ворсистые шторы, кондиционер, японский телевизор, отличного качества репродукция «Девятого вала» и календарь с большим сексуальным ртом Софи Лорен на стене, мягкий диван для приятных утех. Не то что твоя комнатуха — пропадает в грязи, пыли да табачном дыму, на столе чёрт ногу сломит. Смотри и учись, пока я жив.

— Сиявуш, — мягко, с улыбкой на добродушном лице сказал Аббас, — услышу ещё хоть слово — в ресторан отправишься пешком. Я что-то не пойму, — продолжал он с прежней улыбкой. — Лео нас от души приглашает, можешь ты мне втолковать, к чему эта дешёвая, полкопейки на старые деньги, лесть?

Сиявуш засмеялся.

— Лео, неужто ты сядешь в Аббасову машину? «Жигулёнок» времён Надир-шаха, все его «кадиллаком» дразнят. Раз десять переворачивался и в аварию попадал, крутишь руль влево — идёт направо, крутишь вправо — налево.

Аббас мягко улыбнулся из-под усов.

Дребезжащий звонок телефона настоятельно призвал меня. Я снял трубку.

— Здорово, ахпер⁴! — Это был Сейран Сахават со второго этажа, из главной редакции драматических передач. — Лео, я разыскиваю Аббаса, позвонил в «Улдуз», сказали, мол, он с Сиявушем пошёл к тебе. Обещал в этом номере напечатать два моих рассказа, но ребята говорят, что пришла корректура, их там нет. Надо бы узнать, в чём дело.

Сейран говорил громко, и Сиявушу с Аббасом всё было слышно. С усмешкой сквозь усы Аббас сделал рукой отрицательный жест.

— Их нет, Сейран, — я беззвучно засмеялся. — Должно быть, ещё в дороге.

— Не ври, — громче прежнего сказал Сейран. — Мне в окно видно — на улице припаркован раздолбанный красный «кадиллак», значит, явились — не запылились. Будь человеком, дай ему трубку. Похоже, выпить-закусить собрались.

— В Багдаде хурмы полно, тебе-то что.

— Ну, Лео, знай, что могу уехать домой. Уеду, а тебя сто лет не прощу, сто лет с тобой говорить не буду, — деланно пригрозил он. — Признайся, намылились пить?

— Возможно.

— Ни стыда, ни совести у людей. А я? — взмолился Сейран. — Меня не прихватите?

— Прихватим, если ты хотя бы малую, малую, малую толику расходов на себя возьмёшь.

— Я? На себя? — хмыкнул Сейран. — И не надейтесь, у меня ни гроша.

— Так с какой же ты стати отказался от своей благозвучной фамилии Ханларов и взял псевдоним Сахават⁵? Какой из тебя сахават, скажи на милость? Назовись ты Сейран Хасис⁶, это б тебе больше подошло.

— Вуай, вуай, вуай, — будто б удивился Сейран, причём на армянский манер. — Что ж это творится, куда я попал? — по-армянски возопил он сквозь смех. — Это я-то скупой? — снова перешёл он на азербайджанский. — И тебе, Лео, не совестно? Да насобирай я там и сям бутылок из-под водки, которой угощал других, и сдай их, купил бы на эти деньги корову с телёнком. Загнал бы корову с телёнком, купил бы на эти деньги на базаре в Агдаме новенький «Запорожец» и, чем угодно поклянусь, подарил бы Аббасу, чтоб он плешивой своей головой и красным «кадиллаком» не позорил нас перед армянским народом. Трёх жёнам алименты плачу, что вам от меня надо?

⁴ Ахпер — братец, приятель (арм.).

⁵ Сахават — щедрый (азерб.).

⁶ Хасис — жадный, скупой (азерб.).

Аббас, который, наклонив лысую, с несколькими волосками голову, приоткрыв рот и улыбаясь, слушал Сейрана, при последних его словах громко рассмеялся и, согнутый в три погибели внезапным приступом кашля, шагнул к окну.

— Ну, так и быть, — сдался я, — спускайся к машине, едем.

Сиявуш секунду-другую внимательно взирал на Аббаса, который всё ещё задыхался от кашля, а потом с любовью и насмешкой сказал:

— Старик, этот вроде как отдаёт концы, зря я его привёл. Хочешь не хочешь, надо ехать на такси.

— Не валяй дурака, — побагровев и тяжело дыша, беззлобно отмахнулся Аббас и хрипло скомандовал: — Пошли, Лео, не то тут объявятся ещё два пустомели наподобие вот этого и Сейрана.

— Айн момент, — сказал Сиявуш и, сдвинув пальцем вверх очки, задорно поглядел на меня. — Старик, Аббас это знает, я тебе расскажу. Есть у меня в Москве два приятеля, вместе учились. Прилипли ко мне нынче зимой, когда я был там, мол, давненько мы в ресторане ЦДЛ не бывали. Ну, повадки москвичей известны — они сюда приезжают, угощаем мы, мы туда едем, то же самое — угощаем мы... Словом, неподалёку от ЦДЛ есть большой гастроном, там и условились встретиться. Получилось так, что пришёл я очень рано, стою у гастронома, жду их. Холод собачий. А там очередь за водкой, хвост между домами тянется чуть ли не до проспекта Калинина. Вижу вдруг, один направляется прямо ко мне. Ясное дело, выпивохам недостаёт третьего, и этот — в чёрном пальто, в шапке-ушанке и с бородой — нашёл именно меня.

— С первого взгляда понял, что перед ним простак, — прокомментировал Аббас, но Сиявуш, не обращая на него внимания, воодушевлённо продолжал:

— Словом, старик, на бесприютного пьяницу он вовсе не походил, всё честь по чести, трезвый как стёклышко, приличный вид, Аббас рядом с ним — всё равно что бомж опустившийся, — с удовольствием уколов друга, хохотнул Сиявуш. — Ну, слушай. «Нет ли у молодого человека мысли немного согреться в этот мороз?» — интересуется. «Не помешало бы», — говорю. Сам не пойму, почему так ответил. Со мной иной раз случается, плыву по течению и не отдаю себе отчёта — куда, зачем. Тот повернулся, позвал одного. В Москве пол-литра на троих — обычное дело. Взяли они деньги, пошли в магазин. Я поджидаю их на улице и сам над собой посмеиваюсь, что поневоле связался с совершенно незнакомыми людьми. Время проходит, пора б им уже подойти. Жду, а их нет и нет. Притопываю от холода на месте, даже думаю — может, у магазина есть и другой выход, они взяли водку да и ушли. Мысль эта меня прямо взбесила, и в этот самый миг вижу — бородатый вышел из магазина. Надвинул ушанку на глаза, идёт и, не останавливаясь и мельком на меня взглянув, быстро шагает мимо. Меня это порядком удивило, но, думаю, водку-то дают из-под полы, так, наверно, и надо, чтобы милиция не заметила. Третьего не было, и я снова подумал, что это, наверно, тоже вид конспирации. Бородатый прошёл к соседнему дому, зашёл в парадное, ну а следом я. Поднимается он по лестнице и оглядывается, видно, думаю, третьего ждёт. Поднялись на третий этаж, я тоже гляжу вниз — нет ли третьего. Пока я глядел вниз, дверь открылась, бородатый оказался внутри, а дверь захлопнулась. Сиявуша, старик, всё равно что кувалдой по башке саданули, опешил я. Пришёл в себя, легонько стучу в дверь; ни звука. Меня снова бешенство захлестнуло. Ясное дело, обвели вокруг пальца. Стучу сильнее. «Тебе чего?» — спрашивают из-за двери. «Мою долю водки», — говорю. «Сейчас милицию вызову, там тебе покажут». Видимо, бородатый. Тут я вконец себя потерял. Получается, дурят тебя средь бела дня да ещё милицией страшат. «Вот что, либо стакан водки, либо я дверь высажу», — повторяю я как заведённый и барабаню в дверь кулаками и ногами.

— Надо было головой биться, — хихикая, посоветовал Аббас. После приступа кашля он боялся смеяться в голос.

Сиявуш крикнул и продолжил:

— Ума не приложу, Лео, что на меня нашло. Наконец дверь приоткрылась, но цепочку не сняли, в проём подали мне изящный чайный стакан с водкой: «На, подавись». Взял я полный этот стакан и, как отпетый забулдыга, разом осушил его... Всё прояснилось, высветилось и стало на свои места. Какая там ярость, какое бешенство, всё прошло, мир покоен и прекрасен, люди добры, милы и любезны, и в приподнятом и триумфальном настроении, поскольку им всё же не удалось одурачить меня, сам над собой посмеиваясь, я вышел на улицу, и вдруг, старик, меня аж пот прошиб, глазам своим не верю — бородатый с приятелем с бутылкой в руках ищут меня... Я обознался, — качая головой, засмеялся Сиявуш. — Ну, такое же в точности чёрное пальто, меховая шапка, — оправдывался он. — Послушай, мы же не решили, куда идём.

— Куда угодно, — всё ещё смеясь, ответил я. — Пойдёмте к вокзалу, там хлеб в тонеуре пекут. Или в шашлычную за больницей Семашко, или, коли хотите, в «Караван-сарай», мне всё равно.

— Пошли, — сказал Аббас и первым вышел в коридор.

Я позвонил Рене:

— Передай Эсмуре, пусть успокоится. Я взял для вас три билета.

— А ты, Лео? — с искренней нежностью быстро сказала Рена.

— Для меня, Рен, нет большего удовольствия, чем то, что вы все трое пойдёте на этот концерт.

— Цавед танем, — ответила она. И то была величайшая на свете награда для меня.

Поутру в день концерта внезапно поднялся ураган. Я вышел на балкон, откуда в просвете между высоток, как и в редакционном моём кабинете, сверху открывался хоть и неширокий, но всё-таки морской вид. На ночь глядя я частенько наблюдал оттуда величавое движение луны по-над морем, отражённое в умиротворённой воде. Случалось, луна падала с вышины вниз и медленно плыла во тьме по волнам. Ночами там, в морской глубине, явственно различимо мерное миганье маяка.

Сегодня море сумрачно, как и небо, волны дыбились и неистовствовали. Вытянутые в струнку тополя гнулись-изгибались под ураганом, будто вот-вот обломаются.

Позже хлынул ливень. Я стоял, выслушивая непрерывный рёв в водосточных трубах. А потом всё разом уgomонилось, небо прояснилось, и чудилось, будто не было ни урагана, ни проливного дождя.

Над городом занимался лучезарный солнечный день. Я ждал звонка, потому что Рена пока не взяла у меня билеты. Наконец уже к концу дня телефон подал голос. Она звонила из автомата.

— Ты бы не спустился вниз? — спросила она сладостным бархатным голосом.

— А ты не хочешь подняться в редакцию?

— Хочу, — сказала она, понизив голос. — Но я не одна. Так что лучше спустись ты.

И меня невесть отчего охватило волнение. Я понял, с ней Ирада и Эмира. Пошагал немного по кабинету, рассчитывая успокоиться. Но волнение не проходило. Я тотчас их увидел, они стояли на той стороне улицы, перед садиком у филармонии — в туфельках на шпильках и нарядно, по-праздничному одетые. Ирада была, можно сказать, одних с Реной лет, должно быть, года на два-три постарше, а Эмира (я верно подметил) походила на Рену — ладная, стройненькая.

Меня сверлили три пары глаз, а я не знал, куда деть руки, как пересечь улицу под испытующими любопытными взглядами Эмиры с Ирадой.

— Здравствуйте! — смущённо сказал я, наконец-то перейдя через улицу и приблизившись к ним. — Вот и билеты.

Взяв билеты левой рукой, Эмира протянула мне правую, и я поневоле сжал в ладони её тоненькие холодные пальцы.

— Эмира, — сказала она, глядя на меня тем именно взглядом, каким уже созревшие красивые девушки повергают в оторопь и юнцов, и мужчин в годах, заставляя трепетать их сердца, — соблазнительной перспективой первых, а вторых, увы и ах, одним только сожалением, что так неуследимо минула молодость. — Благодарю за билеты.

Ирада ответила на моё приветствие кивком головы, а Рена просто улыбнулась.

— До концерта есть ещё время, — сказал я. — Предлагаю зайти в кафе, здесь отменное мороженое.

— Можно, — с обворожительной улыбкой ответила за всех Эмира. Улыбка очень красила её хорошенькое личико.

— Эмира, — попыталась одёрнуть её Ирада, да куда там.

— Пойдёмте, что ж вы стоите, — сказала она, и под птичий щебет мы, точь-в-точь по лесу, двинулись по широкой аллее, засаженной высоченными липами, к приютившемуся под стеной Ичери-шехера кафе на открытом воздухе, где тянул заунывную песню магнитофон. «Я долго скитался цветущей весной, и снилось мне, будто ты снова со мной», — пел Ялчин Рзазаде.

Эмира остановилась и, затаив дыхание, чистыми широко открытыми глазами с непередаваемым восторгом уставилась на ветку склонённой к аллее липы, по которой вприпрыжку бежала желтовато-бежевая белка. Прыгая с ветки на ветку, зверёк добрался до макушки липы, до самой её вершины, на прикоснувшейся к небу ветви показался на миг огненно-рыжий его хвост, дрогнул и запропал в листве.

— По крайней мере, двое в зале упадут в обморок, — повернувшись ко мне, с детской отрадой сказала Эмира. — Они уверены, что мне не удалось достать билет. — Она смотрела на меня каким-то шутилым взглядом; улыбка ни на секунду не гасла в её чёрных искрящихся глазах и на губах и захватывала всё лицо. Улыбка цвела даже на сахарно-белых, белее снега, её блестящих зубах.

— И места у вас рядом со сценой, в третьем ряду, — сказал я, довольный тем, что это доставит ей радость.

— Что-что? — и впрямь обрадовалась Эмира. — В третьем?! А они-то знают где? В самом последнем ряду. Аман аллах, они же лопнут от зависти.

— А знаете, чьи это билеты?

Эмира сгорала от любопытства.

— Чьи? — чуть искоса глядя на меня горящими глазами, спросила Эмира.

— Председателя правления Союза писателей Азербайджана Анара.

— Анара? — Эмира встала как вкопанная, в её крупных роскошных глазах ярко заискрились огоньки. — Я читала его роман «Шестой этаж пятиэтажного дома». Чудная вещь. А смерть Тахмины меня потрясла... Никто не поверит. Никто. Знаете, кто из наших писателей самый лучший? Анар, Эльчин, Акрам Айлисли, братья Ибрагимбековы, Чингиз Гусейнов, вот кто. Читали повесть Гусейнова «Магомед, Мамед, Мамиш»? Замечательная повесть. Главную героиню тоже зовут Реной, но она безнравственная плутовка, а моя сестрёнка полный её антипод. Надо же, билеты Анара... Ведь они увидят, где я сию.

— Рена тоже читала эту повесть? — поинтересовался я просто так.

— Не знаю, — подчёркнуто небрежно бросила Эмира с игриво-невинной улыбкой. — Сейчас она изучает армянскую литературу. — И, глядя на меня, засмеялась. — Что бишь она читала в последнее время? Дайте вспомню... У Александра Македонского было тридцать тысяч воинов, он всех знал в лицо и по имени, а я название простой книжки и то не в состоянии запомнить.

— Эмира! — просительно произнесла Рена, на сей раз она, а не Ирада.

— Вспомнила, — сказала та, не обращая внимания на сестрину мольбу. — «Сорок дней Муса-Дага». Толстенная книга, мне и за сорок дней не одолеть. «Дети Арбата» тоже большая книга, но я за две недели прочла. Четыре дня плакала из-за Саши, её героя. Бедный! Будь я на месте Вари, любимой его девушки, поехала бы за ним в Сибирь, до самого Канска. Точно как в «Истории Манон Леско и кавалера де Грие» де Грие добровольно последовал в Америку за ссыльной Манон. Знаете, что говорила Сона?

— Кто такая Сона?

— Наша одноклассница, — безразлично бросила Эмира. — Корчит из себя Наргис. Ну да, красивая, но не совершенная же красавица. Наргис, которую, между прочим, по-настоящему звали Фатима, про что Сона вряд ли знает, была знаменитой киноактрисой и слыла красавицей не только в Болливуде и миллиардной Индии, но и во всём мире. Когда она лежала больная в Нью-Йорке, таксисты не брали платы с тех, кто ехал её навестить, а просили купить на эти деньги белых роз. Аман аллах, с кем она себя равняет! Есть ученики, которые знают, что знают, другие знают, что не знают, а третьи не знают, что не знают. Сона как раз из этих — не знает, что не знает. Я, говорит, завт-ра не смо-гу тол-ком вы-учить у-ро-ки, кон-церт, на-вер-но-е, по-ме-ша-ет, — передразнила Эмира. — Можно подумать, будто ты когда-то их учила толком. Для неё внятно высказать какую-либо мысль — мука мученическая. Списывает у того и другого, с подсказками кое-как отвечает, в общем, перебивается на «троечки». Про концерт нарочно громко сказала, чтоб я услышала. Думала, я с ума сойду. Фигушки!

Легконогая, как лань, Эмира усакала вперёд, парни вокруг оглядывались на неё, словно подсолнухи, что вертятся вслед за солнцем.

— Эмира, — позвала её Ирада, — не убегай!

Мы устроились за круглым столиком. Официантка узнала меня, мы с ребятами частенько заходили сюда выпить кофе или полакомиться мороженым. И приветливо поздоровалась. Мы принялись обсуждать заказ.

— Ты любишь клубничное мороженое или шоколадное? — спросил я Эмиру.

— И клубничное, и шоколадное, — протараторила она. — То и другое обожаю.

— Эмира, — Рена снова попробовала приструнить сестру. — Я что тебе сказала?

— Ты сказала: веди себя прилично, — призналась Эмира. — А разве я плохо себя веду? — спросила она, повернувшись ко мне и глядя глазами, в которых играли смешинки.

— Совсе нет, — сказал я. — Наоборот.

— Вот видишь, — торжествующе заявила Эмира. — Жалоб нет. — И, снова повернувшись ко мне, добавила: — Я с этой Соной не разговариваю. И с Зауром тоже.

— А Заур-то кто?

Эмира вновь искоса взглянула на меня, сдула в сторону пухлыми розовыми губами прядь волос со лба. В точности как Рена.

— Отличник, лучший в классе ученик, — не без гордости, но с напускным безразличием пояснила она. — Я с ним поссорилась.

— Из-за чего? — с улыбкой подзавёл я её.

Рена с Ирадой тоже улыбались, с нежностью поглядывая на Эмиру.

— Из-за того, что дал Соне списать контрольную по математике. Вот и поругались.

— А что в этом такого? — спросил я.

— Ничего. Но раз я этого не хотела, не должен был давать, — сказала она, глядя на меня лучезарными своими глазами. Чёрные глаза с яркими белками — на прелестном смуглом личике.

— Почему?

Эмира посмотрела на меня и, немного подумав, ответила:

— Потому что эта Сона сказала девчонкам, будто ходила с Зауром в кино и будто бы Заур её поцеловал. Враньё. Заур поклялся мне, что не было этого. Она наврала.

— Эмира, можешь ты помолчать? — рассердилась Рена.

— Могу, — сказала Эмира и промолчала целых полсекунды. Но не больше.

— С нашим телефоном что-то случилось, — объявила она. — Вчера говорила с подружкой, и мы почти не понимали друг друга.

— А вы не пробовали говорить по очереди? — глядя на сестру смеющимися глазами, спросила Рена.

Эмира посмотрела на неё, но мысли её были где-то далеко.

— Заур говорит, что я очень похожа на Софи Марсо, — сказала она. — А по-моему, я больше похожа на Монику Беллуччи. Видели?

— Кого? Заура?

— Да не-ет, — колокольчиком залилась Эмира и помотала головой. — Монику Беллуччи. Ей двадцать пять, и в эти дни в Париже и Нью-Йорке только о ней и говорят — она самая знаменитая топ-модель.

— Её я видел. Кажется, недавно её фото было в «Плейбое».

— Верно, недавно «Плейбой» вышел с её фото на обложке. Правда, я на неё похожа?

Я посмотрел на Эмиру; одухотворённая, жизнерадостная, освещённая не только солнечными лучами, которые проникали в зазоры между кронами уходящих в поднебесье деревьев, и не только бьющим прямиком изнутри необычайным светом, с мелодичным голосом, ярко-алыми невинными губками, палящим огнём слегка раскосых глаз и своей чуть экзотической красотой, она и вправду ничем не уступала черноокой манекенщице Монике Беллуччи, и, верно, между ними ощущалось какое-то сходство.

— Похожа, — подтвердил я. — «Плейбой» достоин опубликовать на обложке и твой портрет.

— Вот и я так думаю. — Эмира возбуждённо посмотрела на Рену и Ираду, довольно улыбнулась. — А сестрёнка похожа на Мерлин Монро? — внезапно спросила она, глядя на меня всё теми же смеющимися глазами.

— Когда Мерлин Монро было девятнадцать, она походила на твою сестру, но твоя сестра обворожительнее девятнадцатилетней Мерлин Монро.

Рена улыбнулась одними глазами, взглянула на меня глубоко любящим взглядом и лёгким движением огненно-красных губ послала мне тайком от Эмиры с Ирадой поцелуй.

— Думаю, — продолжила Эмира, — она больше схожа с Брижит Бардо.

— Эмира! — поневоле взмолилась Рена.

Эмира сморщила личико и сделала жест рукой — дескать, не мешайте, я тут важные вопросы решаю.

— Их карточки кладу одну с другой, и различить их невозможно — волосы, брови, взгляд, осанка, руки, тем более когда на ней одежда без рукавов, цвет глаз и улыбка, в особенности улыбка — ну, буквально всё один к одному. У нас в классе тоже все говорят, мол, ужасно похожи. Ну а губы, как ни посмотрю, — те же эротические губы.

— Эмира, да замолчи же ты! — покраснела всерьёз осерчавшая Рена. — И зачем только мы взяли её с собой, а, Ирада?

— И не говори, — согласилась Ирада. Но при этом улыбнулась.

— В соседнем с нами доме на пятом этаже парень живёт, учится в физкультурном институте, — и бровью не поведя на их реплики, задумчиво сказала Эмира. — С утра до вечера глаз не сводит с нашего балкона. Наденет кимоно и прыгает, упражняется. Вы спортом занимаетесь? — неожиданно повернувшись ко мне, спросила она.

— Зачем?

— Как это зачем? Чтобы долго жить.

— Заяц день-деньской прыгает, бегаёт туда-сюда — спортсмен хоть куда, вдобавок травояд, вегетарианец, а больше восьми, от силы десяти лет не живёт. Зато черепаха физическими упражнениями не занимается, ленивая, медлительная, никуда не торопится, пошлют её по воду, через час злятся, мол, ушла и пропала, и вдруг из окна слышат: много будете говорить — вообще не пойду. Так она-то четыреста пятьдесят лет и живёт.

Эмира засмеялась и, глядя смешливыми глазами на Рену, сказала:

— Этот парень из физкультурного с ума по моей сестричке сходит.

Сердце у меня тревожно забилося.

— Не слушайте её, Лео, — бросив на меня короткий взгляд крупных карих глаз, сказала Ирада. — Ты, Рена, права, напрасно мы взяли её с собой.

Придав лицу выражение человека, которому всё наскучило, Эмира снова лениво махнула рукой, точь-в-точь отгоняла от себя муху.

— А сестричка между тем по вам с ума сходит, — сказала она с иронической усмешкой. — Читали вы стихотворение Капутикян? «Объятый именем моим, идёшь по улице с другой. Я с кем-то чуждым и другим иду по улице другой», — продекламировала она и облизала мельхиоровую ложечку с мороженым, переходя от клубничного к шоколадному.

Ирада засмеялась и покачала головой — ребёнок, он и есть ребёнок.

— Знаете, что при всём классе заявил Заур? Есть, говорит, одна, коли велит, я вылезу из окна и по карнизу третьего этажа пройду с закрытыми глазами всё здание из конца в конец. Ну, посыпались вопросы — кто да кто эта одна? Он и говорит: Эмира. Представляете? Сона чуть не умерла. Ещё бы! Знаете, что она сказала, эта Сона, прямо перед тем, за несколько минут? Если, говорит, он первый, о ком ты думаешь, едва проснёшься, единственный, о ком думаешь в течение дня, и последний, о ком думаешь, засыпая, — значит, это любовь. А после слов Заура у неё краска с лица сошла. Стала белая, как стенка. — Эмира улыбнулась и, прищурясь, ясным-преясным взглядом глянула на меня. — Как по-вашему, — чуть погодя спросила она, — простить мне Заура?

— Разумеется, — быстро и уверенно ответил я.

— Нет, не прощу, — со значением и весело посмотрев на меня, решительно сказала Эсмира, ненадолго задумалась и добавила: — Пусть попросит прощения.

Её искренняя благожелательность и наивная чистота не могли не тронуть.

— Попросит, куда ж ему деваться? — улыбнулся я.

— Я тоже так думаю, — улыбнулась в ответ Эсмира, довольная донельзя. — Я полагаю, что, прощая других, ты прощаешь и сам себя. А унижая других, унижаешь себя, уважая и помогая другим, уважаешь и помогаешь себе, защищая других, и себя защищаешь. И таким вот образом волей-неволей вырастаешь в своих глазах и совсем иначе чувствуешь себя. Правда ведь? — спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила: — Мне здесь нравится. Мы словно в лесу: птичий гомон, белочка, музыка. Рок-музыка мне очень по душе, а ещё я очень люблю этническую, народную музыку. Знаете, какая народная песня мне больше всего нравится? — И она тихонько пропела по-азербайджански: — «Кючалара су сапмышам, яр гяланда тоз олмас'н, яр гяланда тоз олмас'няя». Здорово, да? Хотя и про любовь, однако такая в ней глубокая грусть и печаль. Прямо сердце разрывается, так и видишь, как она без конца смотрит на дорогу, ждёт и ждёт, а любимого всё нет и надежды, что придёт, её тоже нету. Такого вкусного мороженого я нигде не ела, — резко сменила она тему.

— Приятно слышать, — откликнулся я.

Эсмира смотрела на меня затуманенными глазами, хотела что-то сказать, однако, похоже, передумала и умолкла.

— Чувствуешь, какой аромат? — она не выдержала, подобралась и вытянула шею к Рене.

— Ах, ах, ах, — весело покачала головой Рена.

— Ох, ох, ох, — манерно, с чрезмерной игривостью отозвалась Эсмира. — «Шанель номер пять». Мамины духи, я чуточку тронула. Обожаю этот аромат. — Она слегка вздохнула, наклонилась ко мне и подставила шею чуть ли не к лицу, обволакивая меня пьянящим запахом. — Приятный, верно?

Воздух благоухал упоительным девичьим ароматом.

— Бесподобный, — подтвердил я.

— Знаете что? — сказала Эсмира, поглощая мороженое. — Странная штука, когда ты счастлива, хочется плакать, а когда грустишь, то смеяться вовсе неохота... Поэтому, мне кажется, лучше уж быть счастливой. И никому не завидовать. Знаете, что тяжелее всего завистнику? То, что ему-то никто не завидует. У нас в классе все девочки мне завидуют. — Она сделала крохотную паузу и продолжила: — Мне вообще кажется, что мальчишки, они куда более надёжные и верные товарищи. В любом случае до меня не доходит, отчего мне завидуют. Как я ни оденюсь, хорошо ли, плохо ли, — завидуют. Притворюсь грустной, когда весело, или весёлой, когда грустно, — завидуют. Десятиклассники смотрят на меня, или пишут записки, или, скажем, провожают и несут портфель — опять же завидуют. Если вдруг интереса ради обрежу волосы, не сомневаюсь, они тоже постригутся. Не знаю, что и сказать. — Якобы до крайности озабоченная, она пожала плечами. — А знаете, что мне пришло в голову, — весело заявила она, — кому не завидуют, тот, стало быть, ничего собой не представляет. И пускай себе завидуют! Лучше, чтоб они мне завидовали, чем я им, так ведь?.. — Она снова сделала паузу. — Я ни за что не пойду в медицинский. «Сроки карантина заразных больных и общавшихся с ними лиц», «Болезни кровеносной системы», «Дневник профилактических прививок»... Меня тошнит, когда смотрю на Ренины учебники. Кончу школу — поступлю в институт косметологии и красоты. Я узнавала, есть в Ленинграде такой институт. В него-то я и поступлю, — заключила Эсмира и неожиданно добавила: — Я стихи пишу.

— Не стихи, а вирши, — подколола Рена.

— Какая разница? — повернув к сестре голову и сморщив хорошенький носик, отозвалась Эсмира.

— Не чувствуешь разницы, вот и строчишь вирши, — улыбнулась Рена.

— Думаете, мне только в школе завидуют? Видите?

На этот раз рассмеялись все, и Эсмира, конечно же, заодно с нами.

Прогулочным шагом мы дошли по той же аллее до остановки, и Эсмира снова была впереди — беззаботная и легконогая, чуть угловато покачиваясь влево и вправо. Я остановил первое попавшееся такси.

— Поедем лучше троллейбусом, — попыталась возразить Ирада. — Восьмой номер идёт прямо к дворцу Ленина.

— Подобаёт ли Эсмире ехать на концерт троллейбусом?

— Полагаю, что нет, — подтвердила Эсмира.

— А что, в конце-то концов, скажет противоположная сторона? — улыбнулся я.

— Так далеко они не заглядывают, — засмеялась Эсмира и села на переднее сиденье, рядом с водителем, села весьма торжественно, а прежде чем сесть, опять протянула руку и, глядя на меня прищуренными глазками, сказала: — Покидаю вас с приятными впечатлениями.

— Желаю тебе никому никогда не завидовать, — с улыбкой ответил я. — Потому что зависть — враг счастливых людей. Вдобавок я уверен — у тебя никогда не будет повода кому-либо завидовать.

Поздно вечером позвонила Рена, поделилась впечатлениями от концерта, разумеется, не без досады посетовала на выходки Эсмиры, а под конец почти что шёпотом добавила:

— Ты нашим очень понравился. Эмира без конца говорит о тебе, а Ирада сказала, что в тебе есть особенное мужское обаяние. У сестрёнки моей болезнь — сравнивать. Знаешь, с кем она тебя сравнила?

— Знаю.

— С кем? — сладко прошептала Рена.

— С Квазимодо.

Она снова рассмеялась:

— Я не говорила тебе, что ты гораздо красивее Квазимодо?

— Говорила. Рад, что напомнила. Ну, в таком случае с Челентано.

— Не-ет, — снова рассмеялась Рена. — Ты красивей, чем Челентано. Нигде, ни в институте, ни в каком-либо другом месте нет никого, с кем я могла бы тебя сравнить. Ты для меня идеал мужчины, неужели не понимаешь?

— Ладно-ладно, скажи, с кем сравнила меня Эмира.

— С Джоном Ленноном.

Я улыбнулся: она — Брижит Бардо, я — Джон Леннон. Приятное сравнение. Я сказал:

— Джон Леннон шестью годами моложе Бардо.

— На столько же ты старше меня, — засмеялась Рена. — У неё было приподнятое настроение, она то и дело восторгалась и смеялась. — Но разве это помеха, чтоб я тебя безумно любила?

— Пожалуйста, передай вашим мою признательность.

— Не передам, — опять рассмеялась Рена и пожелала мне доброй ночи, не забыв, разумеется, добавить на своём армянском «Цавед танем».

В это кафе на открытом воздухе мы пошли и на следующий день. На сей раз с Ариной и Лоранной. Арина закончила перепечатку воспоминаний прежнего главного редактора.

— Освободилась от такой обузы, это надо отметить, — сказала Арина. — Прямо не верится, что больше не увижу мерзкой его рожи. В последний день, вместо того чтобы поблагодарить, что задаром перепечатала эту ахинею, он сказал: «Ты понаделала ошибок. Одну из наших машинисток на семь лет сослали в Сибирь, другую — на пять. И за что? Каждую за одну-единственную ошибку».

— Не сказал, какую конкретно? — поинтересовалась Лоранна.

— Сказал. В тексте о Сталине вместо «полководец» получилось «волководец». Так ошиблась машинистка редакции русских передач, а армянская машинистка в предложении «Герой Социалистического труда Басти Багирова вместо шестидесяти килограммов, положенных по плану, собрала триста пятьдесят килограммов» вместо «собрала» напечатала «сосрала». И получила пять лет. Представляете, за какую-то опечатку! На мой вопрос, кто донёс органам об этих опечатках, без зазрения совести ответил: «Я». Представляете? Говорит, оба случая пришлось на моё дежурство, и я не имел права не сообщить, ведь ошибки были сделаны умышленно. Хотите знать, что он ещё сказал? Обалдеете.

— От него всего можно ждать, — кивнула Лоранна. — Так что же?

— Я, говорит, обратился в горсовет, чтобы с армянской церкви сняли колокол, мне, говорит, мешает работать.

— И с таким человеком мы здороваемся, — сказала Лоранна с огорчённым видом. — Предлагаем присесть, уважаем его старость.

— О старости он тоже говорил, — сказала Арина. — Нет, говорит, ничего страшнее, чем знать, что ты уже стар. Все, говорит, советуют мне — женись, да как же, говорит, мне жениться, разве сейчас есть обоюдная любовь? — от души расхохоталась Арина. — Одной ногой в могиле, а туда же, подавай ему взаимную любовь! Знаете, что ещё ляпнул? — опять от всей души засмеялась Арина. — Атанес Сенал, говорит, неважный поэт, однако же погляди, где похоронен — у самого входа на армянское кладбище. Ты только погляди, говорит, как повезло.

— Атанес Сенал на пятнадцать лет моложе его, добровольцем ушёл на войну и как поэт в сто раз лучше. Какая же он дрянь, если завидует покойнику. — Лоранна повернулась к Арине. — Кому повезло, так это тебе, Арина, — избавилась. Приглашаю выйти поесть мороженого. В последнем номере «Гракан Адрбеджана» напечатаны мои стихи. Редактор говорит, что в нынешнем году тираж журнала — двенадцать тысяч. Однако, говорит, не сомневаюсь, что после этого цикла стихов тираж в будущем году поднимется до пятнадцати тысяч. — Она засмеялась и добавила: — Словом, я получила гонорар и плачу'. За твоё, Арина, избавление от бед.

— Нет-нет, плачу' я, — возразила Арина.

— Не спорьте, заплачу' я, — сказал я. — Что такое несколько тугриков, если речь об Арине! Вставайте.

— Нет, я, — снова взялась за своё Арина.

Внезапно дверь открылась, и к нам вошёл Тельман Карабахлы-Чахальян, он же Сальвадор Дали — при жёлтом галстуке, со всклокоченными волосами, с невесть у кого взятой недокуренной сигаретой между пальцами.

Это был он, вечно торчащий в коридоре — попросить у кого-нибудь сигаретку, вечно готовый, растягивая губы, фальшиво улыбнуться, и согнуть спину в поклоне, и покачать укоризненно головой, перемывая косточки вошедшему:

«Ох, знали бы вы, какой это скверный человек», и угодливо кланяться тому же «скверному человеку»: «Неджаян, азиз'м»⁷ и наконец, когда тот удалится: «Ух, ядовитая гюрза».

— Что тут за свара? — спросил он, озирая кабинет глубоко посаженными бегающими глазами и до того раболепно улыбаясь, что нельзя было взять в толк, он и впрямь улыбается или вот-вот расплчется.

— Никакой свары, Тельман Карапетович, мы просто спорим, — сказала Лоранна и вдруг, посветлев лицом из-за пришедшей в голову мысли, добавила: — Получили статью, о ней и спорим. И ты как бывший судья и прокурор обязан изложить авторитетное своё мнение — стоит ли передавать её по радио?

— Я готов, — приняв услужливую позу и придав лицу задумчивое выражение, сказал Тельман.

Лоранна взяла со стола какие-то машинописные листки, подержала их секунду-другую перед глазами.

— Собственно говоря, это не статья как таковая, а глава из докторской диссертации, посвящённая дружбе народов. Автор — известная фигура, доцент.

— Ну, это неважно, читай.

— Читаю, внимательно послушай начало.

Тельман — само внимание — слушал.

— Во время войны Варданидов взятие Ереванской крепости было осуществлено ценой крови самоотверженных бойцов русской армии, армянских добровольческих отрядов и грузинской милиции, — медленно, отчётливо произнося каждое слово, прочла Лоранна и, подняв глаза, посмотрела на Тельмана: — Стоит продолжать?

— Что за вопрос? — не колеблясь ответил Тельман. — Не что-нибудь, а дружба народов, как же не стоит?!

— По-моему, — молвила Лоранна, и я поразился, до чего же спокойно она прикидывается, будто вправду зачитывает некий материал, — там, где говорится о грузинской милиции, следовало бы сказать и о доблести азербайджанской милиции.

— Правильно, — кивнул Тельман. — Молодец, голова хорошо работает, умница!

— Послушай дальше. «В то время, то есть в четырёхста пятьдесят первом году, когда русские, армянские добровольцы, бойцы грузинской... здесь добавим: и азербайджанской милиции героически сражались у стен крепости, Армения ещё пребывала под игом Персии и Турции».

— Здесь неправильно, — задумчиво опустив уставленные в потолок глаза, с видом мудреца произнёс Тельман.

«Слава богу, наконец-то до него дошло», — подумал я.

— Что именно? — нерешительно спросила Лоранна — страстный рот приоткрыт, в голубовато-зелёных глазах смешинки.

— Должно быть: под тяжким игом, — сказал Тельман.

— Молодчина, — похвалила его Лоранна. — Это я исправлю. Прочее ничего, можно дать в эфир? Вся статья написана на том же уровне.

— Безусловно, — высказал авторитетное своё мнение Тельман. — Три народа сражаются вместе, плечом к плечу. Толковая статья, надо выписать хороший гонорар. — И, положив руку на голый череп, он добавил: — Устал я, очень устал, ночью не спал. Пишу книжку для детишек, двести шестьдесят шесть страниц написал, осталось сто двенадцать.

Лоранна с любопытством взглянула на него.

— Что за книжка? — всё-таки спросила она.

— Про войну, про бои, — мечтательно прикрыв глаза, едва пробормотал он. — Два войска ожесточённо палят друг по другу... кизилковыми косточками.

Лоранна рассмеялась, точно прожурчал ручеёк:

— Извини, Тельман, спрошу тебя кое о чём.

— Ты не смотри на меня так красивыми своими глазищами, — возвращаясь с кровавого поля брани в будничную жизнь, сказал Тельман. — Боюсь я красивых глаз. Обжегшись на молоке, и на воду дуешь. Ну, что там у тебя?

— Скажи начистоту, Тельман, ты в университет поступил после школы или прямиком из детсада?

— Э-э, — рассердился Тельман. — Ты что, совсем глупая, без царя в голове? Во время войны какой такой детский сад? В голодные годы откуда взяться детсаду? — Сказал и направился к дверям, у порога обернулся. — Живот и голова у меня нехорошие, болят, утром рано пошёл я к дохтуру. Хороший дохтур, мы с ним старые товарищи. Разломил он какую-то таблетку напополам, дал мне, это, говорит, от головы, это — от живота, только, говорит, смотри не перепутай. Выпил я, проку никакого, сызнова болит. — Высказался, покачал огорчённо головой и вышел, позабыв, зачем приходил.

Выйдя в коридор, мы двинулись к лифту.

— Знаете, за что этого тронутого манкурта сняли с прокурорства? — со смехом спросила Лоранна. — Напившись в ресторане — он и без алкоголя шут шутлом, вообразите, каков он пьяный, — он, со шляпой на голове, потребовал у

⁷ Неджаян, азиз'м — Как дела, дорогой? (азерб.).

гардеробщика шляпу, угрожая, что вызовет наряд милиции и всех работников арестует. Первый секретарь райкома вызвал его к себе и говорит: чтоб духу твоего завтра в районе не было.

Не дожидаясь лифта, мы стали спускаться по лестнице. В полутёмном коридоре третьего этажа за колонной беседовали двое. Лоранна почему-то замедлила шаг, внимательно глядя на эту пару. Я тоже поневоле оглянулся; одним оказался наш сотрудник Геворг Атаджанян, а другой стоял к нам спиной. Геворг — это было ясно видно — хотел притаиться за колонной, но понял, по всей вероятности, что мы его заметили, и, чтобы скрыть смущение, оживлённо заговорил с нами:

— Куда это вы втроём? Прихватили б и меня за компанию.

— Там, куда мы идём, для тебя нет места. — Лоранна без видимой причины выбрала ледяной тон.

— Почему? — с деланным удивлением повернул голову Атаджанян.

— А ты сам подумай — почему.

— Обижаешь, Лорик. Умоляю, не разбивай сердце, в котором царишь ты, — словно бы впрямь обиделся, но с той же деланной улыбкой продолжил он. — Ужели тебе неведомо, что по мне всё на свете цветёт и благоухает благодаря тебе, без тебя ночь бессонна, день объят грустью? Тебе говорит это Геворг, поверь, без чудесного твоего имени даже солнце утратит очарование.

Лоранна молча глядела на него с загадочной полуулыбкой.

— Не пой мне осанну, — наконец сказала она, — ступай, пой Норе Багдасарян, она тебя, может, и поймёт, а я замужня женщина...

— Ах, ты замужем, ах, ты возлюбленная другого, — в том же духе продолжил Атаджанян, — зато я одинок и неприкаян, ах, пропавшая моя мечта, ах, угасший светоч надежды...

Неожиданно лифт остановился на третьем этаже, из него вышла женщина, и мы быстренько вошли.

— Терпеть не могу похотливых и продажных мерзавцев. Знаете, с кем он стоял?

— С кем? — заинтересовалась Арина.

— С любовником Тельмановой жены Сафаром Алиевым.

— Против кого же он копал? — откликнулась огорчённая Арина.

Мы вышли на улицу, пересекли широкий проспект, очутились на аллее и, беседуя, достигли кафе. И сошлись на том, что холодное мороженое — целебное снадобье после обжигающих воспоминаний нашего бывшего, после интригана Геворга Атаджаняна и шута Тельмана Карабахлы-Чахальяна.

Так оно и было.

Дни не то что проходили, нет, они летели, как моё опалённое любовью сердце неудержимо летело навстречу ненаглядной Рене.

Весь мир — люди, которые купались в море, весело окликая друг друга, смеялись, с тучей брызг окунаясь в прохладную воду, журавлиный клин, что с тоскливыми кликами тянулся с юга на север в ясном высоком небе, одинокий безмолвный тополь на макушке скалы, который колыхался и слегка гнулся со своей непрестанно трепещущей кроной под ласковым ветерком, — всё и вся обретало в присутствии Рены новый смысл. До неё всё это было для меня непостижимо, ну а теперь... я до того счастлив, что и помыслить не в силах, что этого счастья могло б и не быть.

Билгия — единственное на всём Апшероне место с каменистым пляжем, и мы пришли сюда искупаться и полюбоваться с прибрежных утёсов за городом чистейшим, бескрайним и безмятежным морем, на лазурной лучистой поверхности которого тут и там дробились, отдавая белизной, разом возникающие и разом исчезающие прозрачные, омытые солнцем нежно-пенные валы. Серебристые эти валы, мало-помалу измельчаясь, лизали с подобным поцелую причмокиванием прибрежные камни.

Мы купались у скал вдали от людских глаз — мне не хотелось, чтобы кто-то чужой смотрел на Рену. В пёстром купальнике и шикарных солнечных очках «Макнамара», усеянная блёстками ещё не просохших брызг на тугом теле, с красивыми оспинками прививок на шоколадных от загара красивых руках — она была обворожительна. Длинные стройные ноги, нежные плечи, прелестная крепкая грудь из-под купальника, неправдоподобно тонкая талия, изящный ротик с очерченными багряными губами — казалось, весь пляж обернулся к нам, едва мы там очутились. Её тень — и та была красива.

— Пойдём к скалам, там никого нет, — сказал я. Несравненная моя Рена мгновенно поняла, что творится у меня на душе, и с очаровательной кротостью и мягкостью на лице улыбнулась:

— Пойдём. — И я был страшно признателен ей. Эти взгляды украдкой я ловил и в шашлычной, что сразу вывело меня из себя. «Если узнаю, — сказал я тихонько каким-то хриплым изменившимся голосом, задыхаясь от всепоглощающей путаницы страсти и ревности, мало-помалу половодьем затопившей душу, — если вдруг узнаю, что кто-то к тебе прикоснулся, ножом вырежу это место». Рена прижала к себе мою руку и шепнула:

— Раз я с тобой, значит, мне никто больше не нужен. Счастлива не та, у кого много поклонников, а та, у кого есть тот, кроме которого ей никого не надо. Не ревнуй меня, Лео, я никогда и ни разу не причиню тебе боль. — Так сказала мне тогда Рена.

Мы беседовали о том и о сём — о важном и неважном, поминутно перескакивая с одного на другое и, беззаботно смеясь, обрызгивали друг друга водой, бегали рука в руке по горячему песку, бросались в воду, наперегонки заплывали довольно далеко, резко поворачивали вспять и снова плыли наперегонки — кто первый достигнет берега.

Потом мы обсуждали учение Зигмунда Фрейда о психоанализе. Я согласился с мнением Фрейда, что в нашем бессознательном по-прежнему живёт первобытный человек и каждый из нас от рождения наделён агрессивными инстинктами, склонностью к разрушению.

Рена возразила мне, ей казалось, что тем самым я оправдываю насилие, агрессию, животные инстинкты разрушать и убивать. Она привела в пример Раскольникова, мол, где же в его поступках первобытное и бессознательное? Убив человека, двух старух, он говорит, что убил не их, а себя самого, и после этого убийства не в состоянии жить как полноценный человек. Но и мы, прочитав это, тоже не в силах уже жить по-старому.

Мы без конца говорили и говорили, голос Рены звучал у меня в ушах восхитительной мелодией. Мы перешли к новой теме — к музыке. По словам Рены, она днями напролёт готова слушать Равеля и Баха; мы посожалели — десятая симфония Бетховена по мотивам «Фауста» стала бы неповторимым шедевром, успей он её завершить. Далее речь зашла о живописи и ваянии; я спросил, известно ли Рене, что Гейне часами сидел в Лувре перед Венерой Милосской, оплакивая поруганное человеческое совершенство.

Рена сказала, что ещё не бывала в Эрмитаже и очень хочет однажды поехать на каникулы в Ленинград, походить по Эрмитажу, Русскому музею и, конечно, посетить дом на набережной Мойки, где провёл свои последние часы Пушкин.

«Вместе поедem», — мысленно сказал я ей, и сердце встрепенулось от этой мысли.

— Ты читал письма Пушкина матери Натальи Гончаровой?

Я был знаком с этими письмами, но не знал, какое именно письмо Рена имеет в виду.

— Пушкин пишет, что готов умереть ради Натальи. По-моему, самая возвышенная любовь — у лебедей. Если кто-то из них погибает, другой не в силах этого перенести и камнем падает в море. Ты пожертвовал бы жизнью ради своей любимой? — внезапно спросила Рена, устремив на меня голубые глаза.

— Рена, — сказал я, лаская и целуя её позолоченные солнцем чудные плечи. — Я отдам за тебя жизнь, не колеблясь ни секунды.

— Я люблю тебя. — Её пылающие нежные губы лёгкими касаньями прошли по моему лицу, застыв у иссохших губ. — Я люблю тебя, и в этом вся моя жизнь, — едва слышно прошептала она.

Я целовал губы, произнёсшие эти слова, и душу мою потрясло счастье.

Высоко в небе пролетала уже другая журавлиная стая — выстроившись таким же клином и с теми же печальными кликами — курлы, курлы... И вдруг неожиданно-негаданно Рена прочла мне строки Тьерьяна:

Вашим душам, ленивым, чужим, никогда не понять:
Наша родина — храм, и священна здесь каждая пядь.

Удивлённый и восхищённый, я не спускал с Рены глаз. Мне вспомнились игривая улыбка Эсмیری и её фраза: «Она сейчас изучает армянскую литературу», и я улыбнулся, полный нежности к ней и благодарности.

— У армянского народа — тысячелетняя история культуры, — сказала Рена. — Говоря по правде, я этого не знала.

— Да, у нас тысячелетняя культура, — подтвердил я, — и мы были первым цивилизованным народом, принявшим христианство. Отсюда и все наши несчастья.

— Но почему, почему? — сказала Рена, внезапно зардевшись, огорчённым каким-то голосом и с обезоруживающей искренностью. «По всей вероятности, у них дома много про это говорят, — с болью подумал я. — Просто она не хочет рассказывать».

Мы помолчали, и Рена сказала, пряча грусть:

— Не дай Бог, Лео, с тобой что-то стрясётся — мне и минуты тогда не прожить. — И после паузы добавила: — Теперь, когда я обрела тебя, у меня есть всё, потеряв тебя, я всё потеряю.

Я обнял её, прижал к себе жаркое её тело и не нашёлся с ответом. А Рена сказала:

— Мне бы хотелось оказаться с тобой в таком краю, где было бы море, но были б и леса, дремучие леса, и чтобы море было неподалёку и мы каждое мгновение слышали его рокот. — И добавила с внезапным озорством: — Я уже знаю по-армянски: Ес си-ру-мем кэз... Ес шат си-рум ем кэз... Ес мер-ну-мем кэз га-мар⁸...

Я засмеялся.

⁸ Ес си-ру-мем кэз... Ес шат си-рум ем кэз... Ес мер-ну-мем кэз га-мар... — Я люблю тебя... Я очень люблю тебя... Я умираю по тебе... (арм.)

— Не смейся! — Она забарабанила кулачками мне в грудь, словно стучала в обитую кожей дверь, а на раскрасневшихся щеках играла улыбка. — Я что, неправильно произношу, ну скажи, неправильно? — Потом, словно бы разобидевшись, с повлажневшими глазами, в промежутках хрустального своего смеха: — Я сделаю, сделаю это, вот увидишь, уйду и не вернусь, если ты так этого захочешь...

Боже мой, она то и дело даёт повод любить себя, не имея ни малейшего представления об этом! Я крепче прижал её, и голос мой дрогнул:

— Ты сама не знаешь, какая ты прелесть...

Следующая наша с Реной встреча также состоялась на морском берегу, в небольшом курортном селении Набран, в двухстах двадцати километрах севернее Баку, почти на самой границе Азербайджана с Дагестаном, по соседству с лесами.

Эти леса простираются здесь от подножий далёких Кавказских гор и вплоть до Каспийского моря. Густые девственные леса с исполинскими, до самого неба деревьями, лугами, журчащими речушками и бесщётными, бесчисленными родниками, были они столь обширны, без конца и края, что люди со стороны не отваживались углубляться в тёмную их чащу, побаиваясь заблудиться там и пропасть. Десятки пионерских лагерей располагались в Набране и за Набраном, по всему побережью, в сменявших одна другую лезгинских селеньях — Первой Яламе, Второй Яламе, Третьей Яламе, в полудюжине селений под общим названием, но с различным порядковым номером.

Летом прошлого года, готовя радиопередачу, мы посетили один из этих лагерей. Он представлял собой ряд палаток на возвышенном месте в прохладном лесу, в ста шагах от моря. Повсюду слышались пронзительные детские голоса, крики, смех и гремевшие по лесу песни. Мы познакомились там с поварихой Араксией. Её семья была единственной в Набране армянской семьёй. Перебрались они сюда из Сумгаита из-за больной дочки. И Араксия, и её муж Саргис, щуплый человек с совершенно чёрными, несмотря на возраст, волосами, строитель, штукатур по профессии, знали моего отца. Тоже карабахские, в пятидесятые годы они приехали в Сумгаит по набору. В Набране у них был дом, в гостеприимном этом доме мы и жили в те дни. Мы подружились, и на прощанье Араксия сказала: «Приезжайте, когда захотите, считайте, что едете к себе домой».

Вот о ком я вспомнил, когда Рена сказала, что хотела бы вновь очутиться там, где есть море, а помимо того — лес, дремучий лес, и чтоб он был невдалеке от моря. Но я молчал, хотелось преподнести Рене сюрприз. Промолчал я также, что покупаю машину, деньги уже внесены; рассчитывал поехать в Набран с ней на машине, если, конечно, Рене позволят домашние. Со своим близким другом Робертом, которого знал ещё в деревенском своём детстве (его сестра Мария, необычайно доброе, как мать, обходительное и мягкое божье создание, была моей учительницей в деревенской школе, и летом Роберт приезжал из Баку в деревню), мы отправились на узловую железнодорожную станцию в бакинском пригороде Баладжары — получать машину. Но цвета, который я облюбовал, не было, все «Волги» были чёрные, а мне чёрной не хотелось; мы условились обождать, вскоре должна была поступить новая партия. Я беспокоился, потому что лето кончалось, ещё немного — в институте начнутся занятия, тогда Рена не сможет поехать со мной в Набран.

— Чего ты тревожишься, братан? — с трогательным воодушевлением воскликнул Роберт. — Я на своём звере-«жигуле» домчу вас дотуда за два, от силы за два с половиной часа.

— Ну а я обещаю тебе шашлык четырёх видов, — обрадовался я, — из свинины, ягнятины, севрюжины и осетрины.

— Меня больше занимает выпивка.

— Ты какую предпочитаешь? Куплю тебе любую.

Деловитый, подвижный, как ртуть, Роберт оказался в замешательстве.

— Значит, едем. Итак, — он придал озабоченное выражение лицу, — мы народ скромный, ограничимся малым — шашлык из ягнёнка и севрюги. Осетрина чересчур жирная, а свиной шашлык летом — не стоит. Короче говоря, братец, жду твоего звонка.

Рене удалось уговорить свою двоюродную сестру Дилару (та жила в Бинагадах, одном из отдалённых предместий города и, к счастью, без телефона, так что проверить было нельзя) позвонить с работы Рениной матери и попросить, чтобы Рена на день осталась у неё. Мать хоть и с неудовольствием, но согласилась, поставив условие — чтобы Рена была дома не позже восьми вечера в воскресенье.

Роберт сдержал слово — мы доехали до Набрана за два с половиной часа.

Скрестив руки на животе, худая, с замотанными на затылке волосами Араксия стояла на улице в тени растущего у них во дворе раскидистого орехового дерева, словно ждала нас. Но притормозившая рядом с ней машина Роберта застигла её врасплох. Секунду-другую она не могла скрыть удивления и растерянности, но тут же овладела собой, и её суховатое лицо выразило любезность и гостеприимство.

— Добро пожаловать! — расплылась она в доброй улыбке. — Будьте как дома.

Рена чрезвычайно ей понравилась.

— До чего славная девушка! Ни дать ни взять роза прямо с куста, — сказала она, обнажая в улыбке золотые зубы. — В потёмках осветит всё кругом. — И, глядя на Рену, добавила на своём русском: — Очень красивая девушка. — В ответ Рена светозарно ей улыбнулась.

— Как тут у вас с рыбой? — выйдя из машины и осматривая её справа-слева, спросил Роберт. Он попал в свою стихию.

— Рыбный край, вот и весь сказ, — с той же златозубой улыбкой ответила Араксия. — Чего тебе угодно — осетра, севрюги, белуги?

— Мы с Лео договорились о севрюге и чёрном толстеньком ягнёнке.

— Рыба будет утром рано, съездим с тобой на машине в Третью Яламу, привезём. Знала бы заранее, купила бы. А насчёт ягнёнка... вечером придёт муж, нарежем.

Роберт откинул голову и зашёлся в смехе.

— Только ради этих слов стоило сюда приехать, — произнёс он, всё ещё смеясь. — Мужа-то твоего для чего резать, чем он провинился?

— Да не мужа, — рассмеялась в свой черёд Араксия. — Хотя и стоило бы зарезать. Овцы на выгоне, надо пригнать.

За домом, по ту сторону сада, шумел лес. С резным, как дубовый лист, торчащим гребнем, поглядывая на улицу, на свой облепленный плотной пылью у обочины дороги гарем, и сверкая перьями, точно груды раскалённых углей, на ограде гордо красовался огненно-красный петух.

Араксия быстренько накрыла на стол.

По двору поплыл дух разогретого свежего молока.

— Нет, стоит всё-таки жить в деревне, — сказал Роберт. — Что ни говорите, стоит.

— Жить в деревне, только не работать, — с улыбкой добавила Араксия.

Я вручил Араксии припасённые гостинцы. Она смутилась:

— Зачем было беспокоиться? Ставите нас в неловкое положение.

— Эти два блока сигарет передадите мужу. — Я протянул ей сигареты.

— Ещё чего не хватало! — беря сигареты, со смехом сказала Араксия. — Ни одной пачки ему не дам. Десять сигарет в день, и только «Памир» или «Аврора», не имеет он права курить больше.

Дочь Араксии Алвард сидела на веранде, поглядывала оттуда своими большими, грустными, миндалевидными глазами и улыбкой реагировала на слова матери; она не могла двинуться с места.

— Десять сигарет — это чересчур, — поддакнул хозяйке Роберт. — Хватит ему и пяти.

Рена подошла к Алвард, они познакомились. Долго разговаривали, и, глядя на неё, Алвард мягко улыбалась красивой грустной улыбкой.

— Идите, Рена-джан, всё готово, — позвала Араксия. — Где ты, Лео, выискал эту писаную красавицу? Ровно как с картины сошла.

— А Лео чем вам не угодил? Парень хоть куда, — встал на мою защиту Роберт.

— Кто сказал, что не угодил? Очень даже угодил. Хорошая они пара. Вот ежели две половинки друг друга не сыщут, тогда беда. — Араксия восхищённо смотрела на Рену. — Таких красавиц только в кино показывать.

— Он из кино и взял, — пошутил Роберт. — Зря, что ли, на телевидении работает.

— Ты тоже с телевидения? — спросила Араксия.

— Я-то?.. Я тружусь в министерстве связи Азербайджанской республики. Хочешь, проведу вам в дом телефон?

— Благодарствуй, — улыбнулась Араксия. — Телефон у нас есть. — И снова взглянула на Рену. — Видно, доброе у неё сердце, — словно сама себе с глубокой печалью добавила она, глядя на неподвижно сидящую на полу веранды дочку.

Рена приблизилась к нам, и я увидел в её глазах неприметную для всех иных блёстку слезы.

— Бедняжка, — прошептала она, — по сути, моя ровесница, ей девятнадцать.

— Как же ты с таким-то сердцем собираешься стать врачом, — тихонько сказал я, — к тому же педиатром?

— Сама не знаю, — прошептала она, склонив голову мне на плечо. — Девятнадцать лет из-за неправильного лечения парализована и прикована к месту.

— Садитесь, — подойдя, пригласила нас к столу Араксия. — Всё свежее: молоко, яйца, сливки, масло и мёд. Молоко, масло и сливки от наших коров, яйца — от наших кур, мёд — от наших пчёл. Перекусите, передохните, потом сходите к морю, вернётесь — всё будет готово. На обратном пути не забудьте хлеба в магазине купить. А больше ничего не надо. Всё есть.

Роберт вспомнил — мы тоже кое-что привезли, сходил и достал из багажника «Жигулей» янтарно-жёлтый сладкий виноград, арбуз, дыню, минеральную воду, не забыл, конечно, и бутылки моего «Ахтамара» и своей любимой водки «Гжелка». «В один прекрасный день я от этой “Гжелки” тронусь умом», — со смехом сказал Роберт.

Из сада возле дома в лес вела калитка, и, аккуратно прикрыв её за собой, мы по утоптанной сырой тропинке, то и дело перепрыгивая бурлящие и журчащие ручейки, спустились к морю, откуда веял слабый ветерок, шевеля мелкие кусты и словно поглаживая то один, то другой листик.

Цветы по обе стороны тропинки доставали до пояса, на них, звучно жужжа, садились шмели, и цветы под их тяжестью поникали до земли и еле-еле покачивались под лёгким ветерком.

Где-то неподалёку запел жаворонок и тут же умолк. С обочины поросшей травой тропинки с шумом вспорхнула синица и, сразу же взяв вбок, унеслась между деревьями. Чуть ли не оттуда же сорвался чёрный дрозд, стремглав сделал широкий круг и с громким вскриком исчез во тьме камышника. Рыжие муравьи поспешали в дупла деревьев, монотонно пели сверчки, защебетала и затихла птаха.

— Лео, смотри. — Рена остановилась, улыбаясь приоткрытыми губами. — Не видишь?

Роберт не глядел в нашу сторону, он с поднятыми руками вошёл в цепкие кусты ежевики и знай поедал её.

— Смотри, неужели не видишь? — Держи меня за руку, Рена указывала на невысокое дерево, в кроне которого поблёскивал солнечный луч. — Он смотрит на нас. Да сосредоточься же! — бурно восторгалась она.

Я увидел не сразу. Кружась в листве, защебетала красноклювая светло-коричневая птаха. Чуть поодаль глухо и тоскливо куковала кукушка. Её клики напоминали стук сердца. Потом, откуда ни возмись, рассыпал свои трели соловей, в лад которому вторила какая-то птица и токовал глухарь, и лес из конца в конец наполнился весёлым птичьим гомоном.

Повсюду валялись отжившие свой век поваленные деревья, слизкие от лесной сырости, с блестящим наподобие изумрудного бархата мхом и оставшиеся подо мхом острые корявые сучья.

Между деревьями косыми пучками сквозил свет, это была просторная поляна посреди тёплого, неподвижно дремлющего густолиственного леса; в синеватой зыбкой дымке, звякая бубенцами, паслись коровы. Где-то там же стояла стреноженная лошадь, её не было видно, только время от времени позвякивали её железные путы.

— Чудесные места, Лео, — с блаженством оглядываясь окрест, прошептала Рена. — Я их не забуду, никогда не забуду.

Дурманный аромат таволги, первозданный острый запах прошлогодней залежалой листвы, влажной земли и девственной чащи, серёжки берёзы в образовавшихся после дождя лужицах, виднеющиеся сквозь просветы в высоких кронах устремлённых вверх дубов осколки неба — всё это напоминало мне тот давний, тот далёкий день, когда мы с Айриком направились за Кыгнахач — посмотреть разрушенные старые их дома в Бурджали.

— Идите сюда, я для вас ежевики набрал, — позвал спереди Роберт.

За шоссе показалось море — пустынное, безмятежное, бескрайнее. Море и небо слились, издалека трудно было разобрать, где начинается море и кончается небо. Омытые щедрым солнечным светом, разом объявлялись мелкие волны, поблёскивали на поверхности синих-пресиних вод, исчезали и, сияя слепящим блеском, объявлялись опять.

Взяв меня под руку и прижавшись щекой к моему плечу, Рена не отводила глаз от восхитительного зрелища.

Море звало нас.

Мы возвратились с берега, когда солнце спускалось, садилось на леса и высокие макушки деревьев горели, пылали под светом слоистого зарева.

— Изумительные места, Лео, — снова сказала Рена, с признательностью глядя на меня. — Никогда в жизни не забуду... Я и не знала, что есть у нас в республике такая красота.

— А если бы ты оказалась в Белоканах или Лерике, в пятидесяти пяти километрах от Ленкорани, ближе к горам. Знаешь, какие места? Чудо!

Мы направились за хлебом. Рена и Роберт остались у входа, а я зашёл внутрь. Чего только здесь не было, в этом сельском магазине с вьёвшимся в стены, как и в любом сельмаге, запахом сырости. Купив хлеб, я посмотрел, чем тут ещё торгуют. И увидел на витрине французские духи «Шанель № 5». Сколько времени я искал их для Эмиры. Рене я купил «Клим», её любимые духи. В городе их трудно достать. И — о диво! — продавщица показала мне красивую вещь — золотой кулон с голубоватым бриллиантом в четверть карата посередине. Работа была очень тонкая, я не мог не восхититься, потому что уже давно по специальному заказу купил для Рены у знакомого ювелира золотую цепочку вязки «Лючия», а вот достать кулон никак не удавалось. Из магазина вышел в приподнятом настроении. Рена дождалась у двери, не сводя с неё глаз, и как только меня увидела, широкая улыбка озарила её лицо, словно успела соскучиться в разлуке.

— Очередь, что ли, за хлебом? — удивился Роберт.

— Смотри, Рена, что я тебе купил! — открыв изящную коробочку, радостно выпалил я. — До чего красив! Красивый, правда?

— Красивый, — восхищённо похвалила Рена и подняла на меня синие свои глаза с яркой искоркой летнего солнца. — Спасибо, я буду хранить это как талисман, — сказала она и, сжав кулон в ладони и прикрыв глаза, тихо, как молитву, продекламировала:

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в дни печали будь со мной...

Рена открыла лучистые прозрачные глаза и взглянула на меня ликующим смеющимся взглядом.

— На самом деле чудесный, Лео, — снова восхитилась Рена и прижала кулон к губам. — Он всегда будет со мной, — с нежностью прошептала она. — Повсюду, куда я ни пойду, где ни окажусь, он будет со мной и уберёжёт от зла, непременно меня уберёжёт... для тебя. — Она с улыбкой посмотрела на меня, неожиданно в приливе восторга бросилась мне на шею и, не стесняясь Роберта, своими мягкими тёплыми губами поцеловала в щёку. Сняла подаренную мной цепочку и надела на неё кулон. Я помог ей защёлкнуть на шее замочек.

— Это тебе, а это Эсмуре, — протягивая Рене коробочку с духами, весело сказал я. — В память о Наброне.

Рена растроганно посмотрела на меня и прижалась головой к моему плечу.

— Поздравляю, — сказал Роберт. — Видишь, Лео, какая у меня лёгкая рука. Пошли. Вот-вот придёт муж Араксии, надо поскорей зарезать.

— Ну хватит! — засмеялся я. — Что вы к человеку пристали?

До Роберта только-только дошло, что он изъяснился, как Араксия, и он громко рассмеялся.

Муж Араксии Саргис уже пришёл и, стоя под ореховым деревом, ждал нас. Несмотря на летнюю жару, на нём отчего-то была шапка-ушанка. Одно её ухо уморительно торчало, другое — висело, и когда он разговаривал, длинные шнурки трепыхались.

Мы поздоровались. Роберт пошёл с хозяином дома выбирать ягнёнка.

— Перекусили бы, пока шашлык не готов, — предложила Араксия. — После моря аппетит разыгрывается.

Есть нам не хотелось, и мы отказались.

— Ну, тогда покажу вам наши покои. — Араксия повела меня с Реной к новой двухэтажной пристройке у дома. В нашу бытность здесь в минувшем году её ещё не было.

— Сын выстроил, — с нескрываемой гордостью пояснила Араксия. И добавила, повернувшись к Рене: — Сын с дочерью в Свердловске живут. Окончили там институт и остались. По торговой части пошли. Сын женат, и дочка замужем. Да только неудачно, — вздохнула она.

Мы поднялись по деревянной лесенке. Покои смахивали на двухкомнатный меблированный гостиничный номер со всеми удобствами, с выходившими в сад окнами и синтетическими коврами на стенах и полу. Были здесь и телевизор, и магнитофон.

Араксия включила телевизор.

— Ты передохни, а я спущусь, помогу Роберту, — сказал я, с нежностью глядя на Рену. Бог ты мой, как я её любил, готов был опуститься перед ней на колени и с неутолимой жадой целовать руки.

— Ступай, — улыбнулась она, и я покинул их; Араксия с головой погрузилась в деревенские воспоминания, а Рена стояла у окна.

Роберт и Саргис оживлённо беседовали. Они оказались земляками, оба родом из Шушинского района, один из Бердазора, другой — Каринтака. Саргис знал отца Роберта, майора НКВД Амбарцума Севумова. Точнее, будучи ещё мальчонкой, много раз его видел — приземистого, с узкими, маленькими монгольскими глазами жуткого сквернослова с жестоким нравом.

— Человек он был строгий, — рассказывал Саргис, — держал в кулаке всех окрестных крестьян. Когда приезжал в Каринтак, у людей сердце в пятки уходило.

— А что он такого делал? — поинтересовался Роберт. — Бил?

— А то нет, — глухо сказал Саргис. — И бил тоже. Кого только прямо в сельсовете не брал под арест. Правду молвить, народ так его боялся, что воровства в наших краях и не было.

— Меня он тоже частенько поколачивал, — засмеялся Роберт. — И ничего... Держи его за ногу, вот здесь!.. Верный солдат партии, служака. Поручат ему побить народ, он и побьёт.

Чёрный ягнёнок повис на крюке вниз головой. Роберт окинул его оценивающим взглядом и принялся точить один о другой ножи.

— Что ни толкуй, я к селу своему крепко привязан, — ни с того ни с сего сказал Саргис. — Хоть и загнали нас по вербовке в город, а сердце-то к родному дому прикипело. Тосковали мы по селу и тоскуем. Я тут всё равно не останусь, вернусь в родные края.

— Роберт, — кликнула издали Араксия. — Христом-Богом вас прошу, заклинаю, возьмите вы этого человека в Баку да посадите на поезд, жаль его, пускай катится в своё село.

Саргис обернулся назад и через силу изобразил улыбку.

— Все уши прожужжал за тридцать лет: стосковался по селу, без него и жизнь не в жизнь, — поджав губы, напустилась Араксия на мужа и повелительно добавила: — Уезжай! Домашние дела все на мне, с огородом я управляюсь, фасоль я поливаю, коров я дою, а у него руки что крюки, ничего делать не может. Завтра же собирай манатки и скатертью дорога. Поглядим, кто кроме меня тебя будет обихаживать.

Саргис хмыкнул в усы, скривил рот и тихо возразил:

— Сын будет.

Услышав, Араксия злорадно засмеялась:

— Сын-то не твой, а мой. Понадеялась бы на тебя, и его б не было, — от души засмеялась она и даже голову назад откинула. — Не смилостивься Господь, уродился б он в тебя ни к чему не пригодный. Сидел бы возле скотины, пока пасётся, да зевал. А он в огромном городе целым гастрономом заправляет, во как! Расскажи-ка ты лучше, как ухитрился тринадцать наших овец проворонить.

— Надоела до смерти, — тихонько, чтобы жена не услышала, сказал Саргис и снова хмыкнул в усы.

— Средь бела дня у него из-под носа увели овец, он и не заметил.

— Будь у меня ружьё, не увели бы, — оправдывался Саргис.

— И ружьё бы проворонил, — уверенно сказала Араксия. — Хоть бы и тебя со скотиной увели. Сочли бы бараном, четырнадцатым по счёту. — Араксия громко засмеялась.

Саргис только рукой махнул, на его лице читалось, мол, неохота с тобой связываться.

Он попросил у Роберта закурить.

— Наш Каринтак — село геройское, — гордо сказал он. — О нём и песня сложена.

Каринтак — глубокое ущелье,
Камни, камни там, на глубине.
Передайте милой, пусть узнает —
Голову сложил я на войне.

Мать, помню, пела и плакала. Сколько армян в Отечественную войну погибло — всех убило в Керчи. — Он расстроено покачал головой, на миг умолк и продолжил: — Село называли Каринтак, потому как оно под утёсом расположилось, а выше, на утёсе, стоит Шуши. Сколько раз турки швыряли сверху на нас камни да горящие шины скатывали. Односельчане, и мама тоже, своими глазами видели в феврале 1920-го, когда турки подожгли город, армян — женщин и детей — сбрасывали с верхотуры вниз. — Саргис опять разволновался, замолк. — Но за всю историю не случалось ни разу, чтоб они наше село заняли. Оно у нас каменистое, но красивое, — с каким-то блаженством сказал он. — Нашего сельчанина Герасима Сулейманяна, который письмо в Москву написал насчёт воссоединения Карабаха с Арменией, отправили в ссылку. Когда уводили его из села, он и молвил со слезами: «Ах, родители мои, камни, родители мои, родники горные, осиротели вы».

— Много у вас родников?

— Много. Студёные, так и булькают, так и журчат, — воодушевился и затосковал Саргис. — Охна, Каменный, Пехин, Бог Охоты, Крмнджин, всех и не упомнишь. Ещё был родник, именуемый Липа; сложен из отёсанных камней, а над ним арка с армянской надписью. Сооружение ещё до войны разобрали, камни переправили в Шуши — там райком строили. В ущелье Онут тоже хороший родник, мы его Шор называем. На нём дата высечена, когда его поставили, — 1248 год. А выше того родника — Черепной шов, место высоченное, так турки и оттуда сбрасывали армян в ущелье. И не только армян, одиннадцать русских женщин и с ними девочку тоже столкнули вниз. Вы развалины Шуши видели? — спросил Саргис и, не дожидаясь ответа, с горечью сказал: — Я-то видел. Помню как сегодня, два ряда каменных домов, двух-, трёх-, четырёхэтажные, без кровель, с почерневшими от огня стенами. Мы с ребятами носили в Шуши на продажу туту, ежевику, кукурузу. Так вот, подсчитали мы и в тетрадке записали, больше семи тысяч сожжённых домов. Потом их бульдозерами снесли, сровняли с землёй. Непонятно, чего ради, можно же было восстановить, нет? Целый город сровняли с землёй. Не по-человечески это, не по-людски. Но, поговаривали, указание поступило сверху, из Баку. Секретарём Карабахского обкома был в ту пору Шахназаров. При Шахназарове это случилось.

Роберт умелыми быстрыми движениями свеживал ягнёнка. Собрал в комок содранную и вывернутую наизнанку шкуру, которая то и дело выскальзывала у него из рук, взглянул на жирные рёбрышки, круглый белый курдюк и довольно сказал:

— Видал, братец, какой я парень! — глядя на меня широко открытыми глазами, улыбнулся Роберт. — Всё мне по плечу. Так или нет?

— По плечу, — согласился Саргис и продолжил свой рассказ. — Ага-Мухаммед-хан в 1795 году ровно четыре месяца пытался захватить Шуши, да не тут-то было. Разозлившись, двинулся на Тифлис и сжёг его. А в 1826-м персидские войска окружили Шуши. Одна каринтакская девушка из рода Аветанц, по имени Хатуи, муку молола на мельнице в ущелье, она-то и стала через скальные расщелины носить голодающему русскому отряду муку. Сорок восемь дней доставляла её окружённым. А потом она по ходатайству русских до конца своей жизни царскую пенсию получала.

— Сколько у вас в селе домов? — спросил Роберт.

— До восемнадцатого года триста десять было, нынче осталась половина. Когда я в школу ходил, учеников у нас было двести шестьдесят, сегодня — сто двадцать. Раньше фабрика действовала, здорово было, мать моя тоже там работала, стахановкой была. Теперь закрыли фабрику, — с грустью добавил Саргис. — Ну а коли работы нету, человеку что на селе делать? Оттого-то народу там всё меньше. Семьсот лет назад село наше много бойцов армянской армии давало. В сражении под Аскераном четыреста карабахцев, среди них и наши сельчане, дрались против турецкой армии и победили. А летом девятнадцатого мусаватисты, которых англичане вооружили пушками, напали на Каринтак и снова были биты. В восемнадцатом, когда защищали Баку от турок, в боях участвовало больше сотни человек из нашего села. Армянских героев, погибших в этих боях, похоронили на подворье Большой церкви, там, где нынче консерватория; церковь снесли, заодно и могилы. Нет, уеду, не по нутру мне тут.

— Что ты мелешь, никак не утомнишься! — бешено налетела на мужа Араксия. — Как двухмесячный младенец в люльке, спит ли, нет ли, всё одно, сигарету, что соску, изо рта не выпускает. Из материнской утробы тоже небось так вылезал — пыхтел дымом, ровно паровоз. Возьмись за дело, скинь эту дурацкую шапку. Шампуры найди да принеси, костёр разожги.

Саргис растерялся, видно, неловко себя почувствовал и, глядя то на меня, то на Роберта, жалко улыбнулся. Повернулся и, не снимая шапки, пошёл в сторону сада.

Проходя мимо Араксии, он на ходу попрекнул жену:

— Ни стыда у тебя, ни совести. Посторонние не помеха, только бы себя показать.

— Тут кроме тебя посторонних нету, — поспешно и звонко парировала Араксия, не обращая на упрёк ни малейшего внимания. — Благодарю Бога, что они здесь, не то устроила бы тебе. — Неожиданно она коршуном налетела на него и так огрела по голове, что шапка ракетой улетела за ограду. — Сказано тебе, сними шапку! — довольная собой, она от души засмеялась.

Саргис побледнел и встал как вкопанный, затем тихо, качая головой, вышел со двора, нахлобучил на голову шапку с висячим и торчащим ушами и, ни на кого не глядя, медленно завернул за дом, наверное, за дровами.

— Чтоб через пять минут огонь полыхал! — сзади, руки в боки, распорядилась Араксия.

— И как только тебе удалось, Араксия, скрутить в бараний рог человека с такими храбрыми предками? — сказал Роберт.

— А так! Мои предки были ещё храбрее, — нашла Араксия.

Было непонятно — луна то ли выплыла из тёмного моря, то ли пряталась за садами у домов. С Араксиного двора мы тотчас увидели её величавое скольжение по громадному летнему, искрящемуся и полному звёзд небу. Поднималась луна медленно и торжественно, застилала серебряными своими лучами пустынные деревенские улицы. Обманутые светом, запели было птицы неподалёку в лесу и рядом с нами, в глубине сада. Пели они голос к голосу, не давая передыху друг дружке. Рена улыбалась, прислушиваясь к их пению и мечтательно глядя в далёкое небо.

Отсюда, из-под орехового дерева с густой кроной, мерцавшие далеко-далеко в небе звёзды казались близки одна к другой, хотя на самом-то деле и сверкающие эти звёзды, и созвездие Большой Медведицы, вокруг которых также беспрестанно вспыхивали и гасли звёздные миры, пребывали в миллионах парсеков от Земли и друг от друга и лили свой нескончаемый синевато-фиолетовый свет из необозримых далей.

Этот звёздный, из далёкого далека свет, лучился сейчас в сияющих глазах Рены; глядя на неё, я не в силах был сдержать отчаянного восторга, в который приводил меня ослепительный её облик, и, уставившись в небо, я мысленно слал Богу благодарственные молитвы за ниспосланное мне несказанное, неизмеримое счастье.

— Колдовской вечер, — крепко прижимаясь ко мне, прошептала укутанная в Араксину шаль Рена; с моря дул холодный ветер, Араксия принесла из дому шаль и набросила ей на плечи. «Как бы не простыла», — по-свойски, словно родственница, шепнула она.

— Саргис, можешь спеть? — спросил порядком уже захмелевший Роберт.

Это какой же пьяный не споёт? Однако петь, очевидно, хотелось именно Роберту, вот он и подыскивал повод.

— Какую-нибудь песню, — сказал Роберт.

— Не надо, — запротестовала Араксия, — не умеет он петь.

Наперекор жене Саргис неожиданно вытянул шею и запел: «Жаль, моя жизнь, моя жизнь миновала, словно весна, словно и не бывало, юности птица отщебетала, я и не понял — когда».

Саргис пел сердцем и пел неплохо. Я этого не ожидал и с удивлением посмотрел на него — маленький, невзрачный, небритый, выцветший пиджак порван под мышкой.

— Видишь, как поёт! — похвалил Роберт. — А ты говорила: зарежем. Виданное ли дело — такого певца резать?

Араксия со смехом сказала:

— Скрытый талант, увозите, пускай по телевизору поёт. А заплатят?

Роберт кивнул.

— Ну, коли так, и я спою, — сказала Араксия и тут же запела, потряхивая головой:

Ночь лунная, сна нету никакого.
Иной решит, что у меня нет крова,
Ах, кров есть, ах, у меня есть кров.

Араксия глубоко вздохнула, прикрыла веки и затянула дальше, всё так же потряхивая головой:

Как все, живу я под защитой крова,
Да нет со мною друга любимого,
Ах, любви и счастья нет.

Внезапно прослезившись, она вытерла глаза ладонью и, смеясь сквозь слёзы, показала мужу растопыренную пятерню, знак проклятия — пропади ты пропадом, суженый мой.

Рена смотрела на это, забавляясь.

— Гори всё огнём, — пьяный, глаза на мокром месте, прохрипел Саргис. — Не останусь я тут.

— Пошевеливайся, поезд «Москва—Баку» в Худате прилично стоит, успеешь, есть ещё время, — засмеялась Араксия.
— Ступай, spoёшь один-два куплета, бесплатно довезут.

Роберт тоже спел, его песня была трогательной, а последние слова он сочинил самолично. «До чего хороший день, — протянул он на мотив какой-то песни, — лучше не бывает».

Чем дальше, тем ощутимей становилась ночная прохлада.

— Простынешь, иди-ка в дом, — сказал я Рене с безмерной нежностью. — Араксия, проводите её, пожалуйста, в комнату.

— Как не проводить? — с готовностью сказала хозяйка, вскочила, точь-в-точь юная девушка, и подхватила Рену под руку: — Пошли!

Роберт по новой наполнил рюмки.

Саргис опять спел, теперь уже на родном своём наречии: «Красная тучка там, на горе, медленно почернела, красная нынче наша судьба завтра, глядь, почернела, — пел Саргис, покачивая головой. — Нынче ты молод, а завтра стар, вот какая недоля, сон ли ты видишь средь бела дня, сон этот полон боли».

Мы сидели уже довольно долго, мне очень хотелось к Рене, но бросать Роберта было как-то неловко.

— Вы молодые, а я состарился, — задумчиво сказал Саргис. — Задолжал я своему селу. Оно меня на свет явило, вскормило, вырастило, а я ничего для него не сделал, — сказал и, снова вытянув шею, запел: — «Тебе уже сорок, Саят-Нова, и смерть с тобою бок о бок». — Пропел и заплакал. А взяв себя в руки, спокойно, но, пожалуй, участливо и снисходительно добавил: — Раздетых, голодных, отец-то на фронте пропал, угнали нас, трёх братьев, в чужие края, и ничего нам не осталось, разве что тосковать по горам нашим да ущельям. Нет в Сумгаите дома, где я не поработал, — штукатурил, облицовывал, со счёту собьёшься, сколько всякого разного сделал, соорудил. Да кто ж это ценит? Некому ценить... Между прочим, и тут, в лесах Набрана, есть и могилы с армянскими надписями, и древние поселения, сам видел... Вот Касумкенд, большое селенье по соседству с нашим, туда ходит автобус из Баку. Оно не в Азербайджане — Дагестану принадлежит. Один наш сосед оттуда родом, ездили мы на похороны, так там на кладбище полно испещрённых армянскими письменами могильных плит. Старик лезгин мне сказал, мол, их предки были армянами. Да, на одном таком надгробье, там не иначе богач похоронен, — интересная надпись. Вот, значит, примерный её смысл: я был такой, как ты ныне, ты станешь таким, как я ныне... Чуете, что за слова? Эх, чего мы в этой жизни поняли! Явились в неё, ровно сухой лист на ветру, так и минем... — И Саргис опять запел: — «Земля в Керчи каменистая, пуля свистит неистовая».

Спать Саргису с Робертом предстояло в одной комнате. В конце концов я оставил их под ореховым деревом за беседой и направился к Рене.

Свет был погашен, но Рена не спала. Полулёжа в отсветах экрана в ночной рубашке на белоснежной постели и откинув голову на стенку кровати, она смотрела телевизор. Я заметил — моя постель в смежной комнате тоже расстелена.

— Ещё не спишь? — спросил я с любовью и неизмеримой заботой, запер дверь, небрежно бросил пиджак на диван и подошёл к ней.

Оконная створка была открыта, явственно слышался неровный глухой рокот моря. Я опустился перед Реной на колени, как перед иконой.

Сердце билось встревоженно, беспокойно.

— Знала бы ты, как идёт кулон к изумительной твоей шее...

— Правда? — Рена слегка приподняла своё светоносное тело, невесомое и гибкое, привычным движением отвела в сторону спадающие мелкими волнами золотистые локоны, смущённо улыбнулась и ласково обняла меня нежными руками.

— Знаешь, что сказала как-то раз Эмира? Я играла на пианино «Серенаду» Шуберта. Почувствовала на себе взгляд. Обернулась. Эмира бесшумно вошла, уселась на диван, поджала по-кошачьи ноги и смотрит на меня. По её мнению, раз я, оставив книги и конспекты, играю Шуберта, значит, думаю о тебе и скучаю. Засмеялась: «Не мучайся, давай я позвоню, а ты поговори». Знала б она, где я сейчас. Сама не понимаю, Лео, что я делаю, совсем с ума сошла. Не дай Бог, наши узнают про мои приключения в двухстах двадцати километрах от города. Ох и влетит мне, если проведуют. Но ведь я счастлива, — обжигая мне лицо жарким дыханием, шептала Рена. — Я прямо-таки блаженствую... Не могу поверить, что это не сон и не видение, что это явь, что ты здесь, рядом со мной, я тебя вижу. Даже сомневаюсь, потому что не может одному человеку достаться столько счастья.

Не отрываясь, я смотрел на её шевелящиеся, горячие, огненные губы, и душа переполнялась нежностью.

— Моя сладкая, бесподобная, — лепетал я. — Как Бог создал женщину, как он вложил в неё донныне неведомую могучую магическую силу? Как она, такая слабая, способна дойти до сердца самого всемогущего мужчины, обольстить его светозарным взором? И знаешь, каково совершеннейшее дело Творца? Сотворение женщины, столь прекрасной, дивной и безупречной. — Я поцеловал её в губы. — Моя сладкая, душа моя, с твоих уст сочится ароматный сотовый мёд. Я не мог оторвать своих жаждущих губ от этого вожделенного рта. С лицом, залитым алым и багряным светом, то меркнувшим, то снова льющимся с экрана телевизора, Рена была прекрасна, я ненасытно, теряя рассудок от сладкой истомы и счастья, целовал её; чуть погодя из-за дома как-то сразу выплыла луна, щедро озарив и нас, и комнату.

Рена была дивно хороша в этом лунном свете, словно восставшая из него богиня. Из-под прозрачной кружевной голубой рубашки проступало чудное тело со всеми его изгибами. Упругие груди с тёмно-розовыми, как малина, сосками звали, манили. Полуприкрытые глаза с длинными ресницами, горячечный шёпот изнывающих от нетерпения жарких губ: «Иди, иди ко мне, скорей же», нерешительная дрожь её тонких пальцев на пуговицах моей рубашки, учащённое дыхание, когда я, возбуждённый любовью, лихорадочно обнимал её и ощущал пьянящее родное тепло её преисполненной нежностью и страстью налитой груди, гладкого, не больше перевёрнутой тарелки живота, бёдер — всё это представлялось иллюзией, сном. «Любимый, любимый, любимый, — прерывисто стонали непорочные горячие Ренины губы. — Я твоя, люби меня, твоя навсегда», — утасующим шёпотом повторяла она. Мои руки с ненасытным упоением ласкали её грациозное тоненькое тело, которое чудесным образом расширялось на точёных бёдрах; я жаждал любить её, слиться с ней всем своим существом — телом, любовью, ревностью, огненными страстями, чувствами и помыслами; скулы, губы, всё моё лицо погружалось в её высокую тугую грудь; торчащие соски с розовыми ободками, словно б обидевшись и запротестовав, освободились от насилия моих ненасытных губ. «Ты слышишь, я твоя, — повторяла Рена задыхающимся дрожащим голосом, и её цветущее благоухающее горячее тело, которое, казалось, угасало с каждым моим прикосновением, невольно подавалось вперёд, — моё сердце принадлежит тебе, я твоя, твоя всецело, делай со мной, что хочешь... Ты первый поцеловал меня, и я твоя навечно». — «Нет, нет, нет, — шептал я, задыхаясь и жадно целуя её от кончиков шёлковых волос до пальцев ног и вновь и снова — от нежных пальчиков ног до восхитительных глаз с золотистыми ресницами и дугами бровей; в то же время я силился задержать и пресечь неизъяснимое лихорадочное бурление закипающей во мне крови. — Никто, никто, никто не в силах устоять перед твоим очарованием, Рена, перед волшебством твоих раскрывшихся, как роза, губ, перед сладостным колдовством твоего тела не устоит никто». — «Ты же можешь». — «С трудом, Рена, с трудом». — «Может, ты не любишь меня? — тревожно шептали её губы. — Не любишь?» — «Люблю, — лихорадочно шептали в ответ мои губы, — очень люблю, Рена, очень и очень, оттого и не вправе трогать тебя. Твоя честь — твоё богатство, и она дороже всего». Я неустанно с безумной страстью ласкал, и лелеял, и целовал свою восхитительную Киферею, свою Суламифь, покамест она не заснула на моей груди. И меня сызнова волновало всё это: спящая Рена, её улыбающиеся во сне, подобные коралловому кокону губы, спокойное, едва уловимое дыхание, песня сверчков за окном, неумолимый удаляющийся и близящийся рокот моря за домом и за оградой, шелест и шуршание шевелящейся на лёгком ветерке листвы орехового дерева, доносящийся из лесной глуши голос ночного труженика — невидимой ночной птицы, петушинный клич на околице селенья, спросонок возвещающий о рассвете, и зычный отклик на него здесь, на Араксином дворе, — зыбкое, ломкое кукареку.

Утром, едва забрезжил свет, я проснулся. Солнце ещё не появилось из-за моря, но на стенах играли оранжевые квадратики. Под красным полосатым светом словно бы разгорался пёстрый ковёр. Я нашёл клочок бумаги и написал начальные слова одной из любимых Рениных песен: «Не стану грустной песней красавицу будить». И, положив записку на столик у кровати, по пружинистому ковру бесшумно вышел на застеклённую узкую веранду, спустился во двор.

Мы вместе пили кофе, затем Роберт с Араксией уехали на машине в ближайшую Яламу за рыбой. Втайне от Араксии я сунул Роберту денег — за рыбу и вчерашнего ягнёнка. Роберт не хотел их брать, но я пригрозил обидеться, и он уступил.

Саргис уже погнал скотину на пастбище, и мы его больше не видели. Я пересёк сад и вышел в лес. Трава была покрыта предрассветной сверкающей солнцем росой. В листве не было поющей красноклювой и светло-коричневой пташки. То есть она, может, и была, но не пела. Вчера она, наверное, чирикала специально для Рены. Приятна тишина

леса на позолоченном рассвете. В ней, этой тишине, — какая-то необъяснимая тайна. Сойдя с тропинки, я углубился в лес. Знакомый пряный запах прелых листьев и сырой земли, тихое журчание затаившегося под листвой ручейка, неумолчная песня дрозда, печальный зов кукушки и вправду невольно уведут меня в другой, далёкий, переполненный сказками мир. В этом далёком мире жил мой дедушка Воскан. Высокий, светлый, худощавый, с наивным и добрым, как икона, лицом, обросший седыми волосами, тот, кого все мы, его внуки, величали Айриком⁹. Была в этом мире и Мец мама¹⁰ Машо, кроткая, смиренная, безобидная и добрейшая женщина, мать моего отца. Они и сейчас живы, в муках и мытарствах вырастившие восьмерых детей, одни-одинёшеньки живут в четырёх стенах, не сводя глаз с дороги, по которой должны вернуться их дети и внуки, заблудшие в дальних городах. В то время я закончил шестой класс и перешёл в седьмой, отец должен был приехать за мной и отвезти в Сумгаит, где мне предстояло продолжить образование. Мне не хотелось уезжать, не хотелось оставлять одних Айрика и Мец маму. Вобравшая в себя всю доброту мира Мец мама как-то весенним солнечным днём, глядя на цветущие в саду деревья, с сожалением сказала: «Вот бы человек только жил, а помирать не помирал». Был у неё природный дар. Она училась когда-то в двухлетней школе в родном селе Арачадзор и помнила наизусть всё, что там проходили, ну, к примеру, «Вставай, проклятьем заклеимённый, весь мир голодных и рабов». Эти русские слова она произносила с блаженным, счастливым выражением лица. А каким трепетным сладостным голосом она пела:

Туча нависла, воду струит,
Грустно, тоскливо мне.
Чей это милый плачет навзрыд
Там, высоко на холме?
Знать, издалёка ведут следы
Студёную ту струю.
Может, мой милый этой воды
В дальнем испил краю?

Так же трепетно она декламировала: «Ты куда бежишь, прыг-скок, сумасшедший ручеёк? Поиграли бы чуток, не бежал бы ты, прыг-скок. Нет, малыш, я не могу. Силушку поберегу. Мне, брат, сильным надо быть, чтобы мельницу крутить».

Стихи она читала, словно б отвлекаясь от всего на свете, нараспев и склонив голову набок. Однажды тёплым зимним днём с неба падали крупные снежные хлопья, и, глядя на падающие эти хлопья, Мец мама вполголоса прочитала:

Как ясно небо! Снегопад.
Луна в сиянье безмятежном.
Поля и нивы тихо спят
Под белым одеялом снежным.

Эти строки запечатлелись в моей памяти. Она сочиняла много стихов, декламировала их и потом забывала. Её чёрные, когда-то красивые, а теперь уже потускневшие глаза видели в жизни куда больше слёз, чем отрады. Как-то раз она взяла меня с собой на кладбище.

Стоял жаркий, душный летний день, стрекозы, подпевая одна другой, заглушали шелест листвы и печальную считалку кукушки в лесу. Поспевавшее изумрудно-зелёное пшеничное поле с разбросанными там и тут алыми пятнами маков колыхалось под лёгким ветерком и, волнуясь заодно с переливами жгучего зноя, накатывало, накатывало на край леса и точно так же волнами, волнами откатывало к кладбищу.

Из щелей в надгробьях тянуло прохладой, певуче раскачивались бесчисленные одуванчики, кивая то туда, то сюда жёлтыми, словно бы крашенными хной головками, похожими на подсолнухи.

Мец мама долго, очень долго плакала над могилами сыновей Аркадия и Дживана и дочки Забел. Временами звучало имя старшего сына. Бабушка причитала, покачивая седой головой: «Как вспомню, что ты пережила, Забел, поневоле плачу. Дети твои выросли, живут по-царски, а у тебя крыши над головой не было, ты про кусок чёрствого хлеба мечтала, несчастное моё дитятко». И над могилой прабабушки Шаум она тоже долго плакала. На могильном камне были высечены даты рождения и смерти, я вычел из последней цифры первую и уразумел, что прабабушка прожила ровно сто два года: 1870–1972. По простоте душевной я спросил Мец маму: неужто стариков тоже оплакивают? Она с грустью посмотрела на меня, посмотрела грустным взглядом и сказала сквозь слёзы: «Я оплакиваю жизнь, какую она прожила, тяжкую её жизнь...»

Мец мама и сама выросла в нищете, вся её родня с материнской стороны погибла при пожаре и резне в Шуши. Брата Саака убили в Баку при невыясненных обстоятельствах, он работал там инженером-нефтяником, сёстры Арусак и Занан во время бакинской резни восемнадцатого года кое-как доплыли на пароходе до Энзели, оттуда перебрались в Среднюю Азию, в Самарканд, там их жизнь и завершилась. Другой брат, Гриша, пропал без вести то ли на финской войне, то ли

⁹ Айрик — отец, дедушка (арм.).

¹⁰ Мец мама — старшая мать (арм.).

позже, через пятнадцать лет из далёкой заполярной Воркуты, города ссыльных, где двенадцать месяцев в году зима, остальное лето, пришло письмо: здоров, женился на русской, звать её Шура.

Нищую, беспризорную (отца-пономаря тоже сослали), мать Шаум решила выдать её замуж в четырнадцать лет, чтоб ей хоть кусок хлеба перепал, но в годы коллективизации всё, что было у них, отняли и сдали в колхоз, и осталась Мец мама снова ни с чем, с теми же мечтами о куске чёрного хлеба, вся жизнь в трудностях и нужде. «Чтоб у Ленина хребет переломился и у Сталина в придачу тоже, — сказал однажды в сердцах Айрик. — Хозяйство у нас было полная чаша, сорок с лишним коров и буйволов, сотня с лишним овец и коз, тягловые волы, лошади, земли десятки гектаров, не счесть плугов и сох, наши пчёлы жужжали по-над всей горой, свиньи теснились в лесной чащобе... Всё подчистую отобрали, обобществили, свели нас с голодом, ели мы жмых да зелёные листья бука, как скотина». Выговорившись, Айрик решил повести меня к Арачадзору, в Бурджали, — показать уголья, которые прежде принадлежали семье, и место, где раньше стояли их дома.

— Далеко? — спросил Айрика.

— Неблизко, — сказал он и, улынувшись в усы, добавил: — Как бы ни был далёк путь, начинается он с первого шага нашего коня с отметиной на лбу.

Мы пустились в дорогу на рассвете. Внизу, в густых зарослях тернового кустарника, живой изгородью окаймлявшего приусадебный сад, нарождающийся день приветствовал скворец с красновато-коричневыми лапками: чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. Его серебряный неумолчный щебет ещё долго преследовал нас.

Солнце только-только взошло, ущелья наполнились молочным туманом, и сводчатые лучи восходящего солнца позолотили вершины дальних гор.

Петляющий просёлок, то раздваиваясь, то сизнова соединяясь, вёл нас к этим горам. Тут и там в камышах у обочины дороги пели птахи, куковала кукушка, с полей вторили им перепела: ках-кыха, ках-кыха. Мы спускались в ущелья, подымались на холмы со множеством полевых цветов, и повсюду, куда ни глянь, колыхались нивы, время от времени вспархивал и сновал туда-сюда жаворонок, в воздухе над источающими тепло желтеющими полями трепетала, зависала, замирала горлица, там, где волнообразно блуждал серебристый ветер, летели, составив круг, стаи птиц.

— Прежде на месте этих полей стояли леса, — сказал Айрик. — Везде, сколько хватает глаз, мы корчевали, расчищали дебри, раньше тут ничего не было, разве что несколько хлевов кое-где, это всё были наши арачадзорские уголья.

На обочине дороги утренний ветерок слегка покачивал полевой синеголовник с трёхдольными листьями и шаровидными цветами, желтоватую ромашку с белыми лепестками и алый мак с характерной для него чернотой в основе лепестков. Над ними по всей дороге порхали и реяли разноцветные бабочки и, словно с испугу, осторожно садились на росистые цветы.

Лошадь шагала медленно, прямо державшийся в седле Айрик покачивался в такт движению, и, обхватив его пропахшую потом спину, покачивался и я.

— Поля мы насилу расчистили топорами, секачами. Вспахали землю, картошка уродилась на славу, каждая картофелина — что твой котёнок. Ах, что за картошка была, рассыпчатая, а уж вкус! Нынче нету такого семени, цветом смахивало на пшеницу. В войну эта картошка спасла от голода все верхние деревни. Спасти-то спасла, да только разбойники не давали нам покою ни днём, ни ночью.

— Какие такие разбойники? — удивился я.

— Что значит какие? — осерчал Айрик. — Разбойники и бандиты, большевики армянские. Которые поделили народ на две неравные половины. Сами большевики по одну сторону, им все права даны, по другую сторону — остальной народ, и на него свалены все обязанности. Тысячелетний наш Карабах привязали к Баку, к заднице его, с той поры мы свету белого неувидели. Налоги, налоги, налоги, обязательные займы не на одну тысячу, штрафы. Хороших, дельных работников сослали к чёрту на кулички, там они и сгинули, бесталанных лодырей поставили начальниками, сказали: мытарьте народ, они и мытарили, драли с народа шкуру. Куда денешься? Ты же беспаспортный, ты пленник, раб.

Айрик замолк и немного помолчал.

— Против рожна не попрёшь, человек смиряется, приспосабливается ко всем и ко всему. Согласен ли, не согласен, а всю жизнь, как явился на свет, так и живёт по чужому закону, по чужому дурацкому разумению. Господь, непостижимый и невидимый, так, должно быть, и замыслил, чтоб одни вечно мучили, другие, наоборот, вечно мучились... Нету нигде справедливости, ни на земле, ни на небе.

Айрик опять помолчал.

— Был у нас такой Арушанян Осеп, отец Арамаиса, нынешнего директора вашей школы. Золото человек, честный, трудяга, дети у него такими же уродились, Арамаис, Женя, их дети тоже... В тридцать седьмом Осепу увели, только мы его и видели. Многих из деревни увели, никто не воротился обратно. Пришли и за зятем нашего Аталиами, глядь, он больной лежит. День был дождливый, саманная кровля прогнила, капает, детишки под этой капелью раздетые-разутые. Взяли его — кулак якобы. Какой кулак, ежели у него жилья человеческого и того нету. Четверо ребятшек, два мальчика,

две девочки (одна девочка, Эвелина, с голоду померла), осиротели, позже записались в вербовку, уехали в Сумгаит. Будь у нас на что жить, я разве послал бы своих девчушек в эту самую вербовку? Да никогда! До войны на селе было полно молодёжи, а как она началась — всех забрали. Свой план Азербайджан всё больше за счёт Карабаха выполнял, поговаривали, такой сверху спустили приказ. И всё равно, после войны молодёжи снова прибыло. Так её тоже услали в эти города — в Баку, Сумгаит, Мингечаур. Опять опустело село, радость опять ушла. Да и в самом селе были такие, кто не хотел, чтобы молодёжь оставалась дома. Руководство наше. В войну никто из начальничков на фронт не попал, мало того, старых жён они повыгоняли, набрали молодых. Благо у всех молодых мужья воевали. Председатель колхоза Мирумян Акоб женился на Сиран, председатель сельсовета Гугазян Самсон тоже развёлся и женился по новой на Гёзал, жене соседа нашего Левона. Был у нас бухгалтер из соседней деревни Цмаках, фамилия у него Мангасарян, так он говорил: «Ешь, пей, пируй, не сегодня-завтра наши придут!» Нашими он немцев называл. Ну, не разбойники ли, не бандиты? Колхоз обобрали, объели — это пустяки, это можно, зато голодного пацана, у кого отец и два брата воевали, на четыре года засадили в тюрьму за несколько колосков, которые тот на скошенном поле подобрал.

Солнце догнало нас, и мы шли теперь под утренними лучами. Заодно с прохладой катилась медленная волна цветочного благоухания, повсюду кругом стоял заунывный стрёкот цикад, длинноногая круглоглазая саранча короткими по дуге прыжками перелетала туда-сюда, разогретые на солнце жёлто-зелёные ящерицы быстро прятались в пышном разнотравье по обочинам. Однако длилось это недолго, дорога вошла в лес, и солнце лишь изредка проглядывало сквозь деревья.

— Днём и ночью мы вкалывали, как рабы, ни тракторов, ни комбайнов не было, всё вручную, лопатой, а необработанной земли не оставалось, — снова заговорил Айрик. — А нынче всего навалом, а хозяина-то и нету, поля ежевикой заросли. Ну а мы сколько ни работали круглый год, под конец — голод и разутые-раздетые детишки. Это и есть их коммунизм. И теперь та же волюнка, всё в их руках, едок ест, надзиратель надзирает.

Из лесу мы попали на выгнутую дугой высотку Сарнатун. В лицо нам ударил ветер, обдав ароматом чабреца, мяты, бурачка. Отсюда, надломленное золотом восходящего солнца, в молочно-розовом полупрозрачном тумане открывалось всё село с обособленными своими хуторами, примостившимися в оврагах и на холмах. Вокруг этих хуторов раскинулись колхозные поля, отливавшие под солнцем желтизной. За полями, до макушки Высокой теснины, на исполинском, достигающем неба холме лежали руины Кармир (красной) церкви, а от гор Хндзахут и Ахперкан и дальше до Мехманы — леса, ущелья, по которым тихонько, а подчас и громко журча, струят свои воды безымянные горные речушки.

Айрик повернул коня в сторону села, и мы, стоя на месте, сверху очарованно озирали затерянный внизу в багряном рассветном мареве доставшийся нам клочок отечества. Издали, от села, до нас доносились удалявшиеся и с лёгким ветерком снова возвращавшиеся голоса: овечье бляенье, петушиное кукареканье, звонкий девичий смех у родника, прерывистый собачий лай, лошадиное ржанье...

От рыжеватого-коричневого склона горы оторвались два орла, свесив над пропастью крючковатые клювы, медленно заскользили по дуге и потерялись в тени отвесной скалы, потом опять появились в красноватых лучах солнца, совершили в воздухе широкий круг, покачались с боку на бок и синхронно поднялись ввысь в плавном, свободном, непринуждённом и стремительном полёте, долго и неспешно кружили над склонённым над пропастью карагачем, росшим в скальной расщелине приземистым грабом, зацепившимся за расщелину шиповником и жёлто-зелёной чащобе у родника Хырма. В этом густом, тенистом и прохладном лесу мы с ребятами несколько дней назад видели на сером стволе бука высоко, очень высоко вырезанные ножом имена: «ДЖИВАН АД. 1946, лето». «Ад», то есть Адунц. Это было имя моего дяди Дживана, отцовского брата. Чуть пониже стояло имя отца, датируемое десятью годами позже: «Л. АД. 1956, лето». А впоследствии ещё выше, на высоте в два человеческих роста, мы это потом заприметили, крупные буквы: «АСЯ». Это было имя моей тёти, сестры отца. Ни даты, ни каких-либо пояснений, лишь надпись: «АСЯ». Непонятно, как угораздило девочку вскарабкаться по гладкому стволу на такую высоту и за компанию с братьями обессмертить себя на три-четыре столетия. Здесь, в этой колдовской полутёмной чаще, смешавшись с природой, повинувшись царственным её зовам, они держали свиней. Сперва дядя Дживан, после его ареста тётя Ася, после неё отец. Меня охватила грусть, что-то неведомое откуда ни возмись поднималось во мне и душило... Взорвавшись на плечи дружков, на том самом гладком стволе, где значились имена отца, его брата и сестры, я вырезал остриём ножа: «ЛЕО АД. 1976, август».

Наверное, орлы и сейчас кружат над устремлёнными к свету и солнцу деревьями, поющими на деревьях птицами, холодным, серебряным, тихо журчащим источником Хырма, исполинскими мшистыми, позеленевшими валунами, задумчиво бегущими между ними усыпанными палой листвой тропинками. Эти тропки, огибая валуны и толстоствольные деревья, добегают до подножья Сарнатуна, где в узких расщелинах и самым жарким летом не переводится лёд.

Орлы снова погрузились в густую тень и снова, широко раскидывая крылья, выскользнули из неё; их крылья сверкали над хмурой тьмой родника Хырма.

— Деревня Айад тоже обезлюдела, как и Тхкот. В Ахперкане остались от силы два дома, все переселились в Хор Дзор, — с раздумчивой грустью произнёс Айрик. — А в Верин Члдране домов почитай не осталось. Пустеют наши сёла потихоньку. Беспризорные мы. — Айрик сокрушённо покачал головой. — Никому мы не нужны. Глянь-ка налево. Как она сверкает, гора Мрав!

Ущелье Тартара было заполнено туманом. Поверх золотистого этого тумана я посмотрел на далёкую гору Мрав, чья вершина тонула то ли в снегу, то ли в белейших облаках и вправду сверкала.

— Пятнадцать лет на Мраве и в эту вот сторону от Мрава, направо от Атерка, на горе Бали, я пас колхозный скот. Там деревень много было. По обоим берегам реки Тыхе, с ореховыми деревьями, гумнами, колодцами, с армянскими кладбищами, заброшенными в тёмных чащах, с разрушенными церквями, а на развалинах домов растут деревья высотой аж до неба. Дед мой назубок знал названия всех здешних деревень, перечислял без запинки: Шукаван, Срашен, Караундж, Хоторашен, Астхаблур, Акан, Масис, Мтнадзор. Там, где был Мтнадзор, бьёт бурный ключ, вода в нём бессмертная. Названия прочих деревень позабылись, они сплошь в руинах. Кто их разрушил? Неизвестно. Случилось это, может статься, во времена Чингисхана, может, при Ленк Тимуре, Тохтамыше или шахе Аббасе и Надир-шахе. Эти двое разрушили все карабахские селения от наших гор до Аракса и Куры, жителей их угнали в Персию. Когда шестидесятитысячное войско Аббаса-Мирзы вторглось в Карабах, дед мой и его братья воевали с ним в ополчении. Мне было столько, сколько тебе, даже поменьше, и он, старый, дряхлый, рассказывал, что да как. На той войне, говорит, нам русские помогли, казаки.

Мой взгляд блуждал в тумане, словно б отыскивал места, где некогда стояли армянские сёла.

— Видишь тот дом? — Айрик протянул руку, показал на далёкий холм. — Это дом Балабека. Он попал в плен, летом сорок девятого за день из нашего села увели человек десять, которые были в немецком плену. Антихристы, да и только! Говорят, на войне шесть миллионов наших очутились в плену, это не считая мирных жителей, что под немцами остались. Всё по вине Сталина. И ведь не его, Сталина, за это преступление повесили, он сам казнил и ссылая невинных людей. Семью Балабека — его стариков-родителей и младшего брата Мамвела — арестовали. Сестра его Виктория учительствовала в одном из соседних сёл, то ли в Шахмасуре, то ли в Цмакаохе, то ли в Гарнакаре, уж и не помню, вечером вернулась домой и увидела, что дом-то пустой, дверь закрыта, куры у двери сбились в кучу. Почти тридцать лет минуло, а голос её доньше в моих ушах. Как она кричала, как убивалась, а тут ещё буйволица пришла с пастбища недоенная, мычит, да так, что горы и ущелья трясутся. Волосы у людей дыбом вставали, сердце на части разрывалось. Так вот мы и жили... Жизнь, она похуже смерти бывает.

Айрик замолчал, повернул лошадь, и мы продолжили наш путь.

Путешествие было сказочное. Мы прошли Кыгхнахач, откуда открывалась дивная панорама на долину Хачена. Река Хачен не тонула в тумане, как Тартар, она сияла, сверкала на солнце, как серебряный пояс. На том берегу извилистой этой реки, выше деревни Колатак и монастыря Сурб Акоб, возвышался величественный Качахакаберд. В окутанной дымкой влажной дали разразилась гроза, дрожали и громыхали земля и небо. Время от времени молнии разрывали небо зигзагами трещин и на мгновенье освещали всё окрест медными отблесками.

От Кыгхнахача мы свернули вправо и дальше неизменно придерживались правой стороны разбитой каменистой дороги, то оказываясь в тёмном, сумеречном прохладном урочище, то выходя на простор, где вверх по косогору, подымаясь лёгкой волной, медленно колыхалась краснокрылая цветущая метёлка.

На мгновенье снова показался Качахакаберд, а за ним семицветной влажной акварелью от одного края небосвода до другого протянула дугу блестящая радуга, соединив друг с другом горы и ущелья.

— Уже близко, рукой подать, — сказал Айрик, когда мы, обойдя маленькое озерко, которое было в ту минуту спокойным и отражало прибрежные деревья, висевшие в прозрачной воде вниз головой, вышли к просторному полю с грушевыми, яблоневыми и тузовыми деревьями, с разбросанными тут и там небольшими, выцветшими от дождей стогами и волшебным запахом скошенной травы. Вокруг звенела тишина, всё было залито трепещущим туманным солнцем. Окунувшееся в него грушевое дерево с пылающими красными листьями стремилось ввысь. Прелестный зяблик с оперением, сверкавшим оттенками всех красок от синего до золотистого, должно быть, испугался тяжёлых лошадиных шагов и с вскриками перелетал с дерева на дерево.

— Вот она, наша родина, — грустно сказал Айрик.

Вокруг простирались подымавшиеся до самых гор и спускавшиеся в ущелье последние пустынные летние поля с одинокими ореховыми деревьями в окутанных покоем межах, небольшие безымянные луга с обилием цветов, на одном из холмов — разрушенные дома. В этих развалинах теперь уместилось царство высоко вымахавших деревьев, и кустарников, и зарослей ежевики. В грушевой рощице наполовину вросли в землю скособоченные стародавние надгробья. На одном из них, с заросшими мхом кружевными узорами и полустёршимися буквами я с превеликим трудом прочёл: «Здесь покоится... блаженной памяти Адунц... воевода... князь... монгол джунгар... месяц январь... пять». Посредине надписи стояло несколько заглавных букв. Наш учитель армянского языка и литературы Манвел Арушанян объяснил позднее, что они означают 1244 год, но кем был этот князь из рода Адунц, который пять лет воевал с

пришедшими из Средней Азии монголами-джунгарами, осталось неизвестно. Стёршаяся надпись не поддавалась прочтению.

— Тут и бурливый родник есть, — сказал Айрик. Мы продвинулись немного вперёд и спешили у родника. Место и вправду было волшебное. Я видел, Айрик взволнован, однако силится скрыть это.

— Тут я родился, — разом изменившимся голосом сказал он. — Люльку привязывали к деревьям, а мать меня баюкала. Четыре брата и две сестры — все мы тут родились и тут выросли. Отсюда перебрались в село Газараох... Да, такие дела, нынче-то тут, глянь, ни души, одни развалины. — Айрик стащил с лошади перемётную суму, лошадь распряг и пустил пастись. Мы устроились у родника, окружённые цветами и разнотравьем. Мец мама снабдила нас едой: хлеб из тоныра, поделённый надвое, по паре варёных яиц каждому, несколько варёных картофелин, несколько перьев лука, зелень. Мы перекусили. Айрик выпил из фляжки две стопки водки. Меня это удивило — больше стопки он никогда не пил.

— Покойся с миром, сынок, прости злосчастного своего отца, — пробормотал он. Я не понял, о ком он, с недоумением уставился на него, но не стал ничего спрашивать, чтобы не сделать ему ненароком больно. Счёл бы нужным — сказал бы.

— Отсюда весь Карабах — как на ладони, — промолвил Айрик. — Вон Шуши, видишь?

— Где? — Я разволновался, прищурился, напряг зрение. Долго вглядывался, пока не различил далеко-далеко в молочном тумане тонкую линию дороги, проследил её взглядом и заметил на гребне горы едва заметные строения не больше спичечного коробка величиной.

— Весной двадцатого года картошку мы тут окучивали. Ночь лунная была, тёплая. Видим — небо полыхает. «Горемычный наш народ, — запричитала мать, хлопая ладонями по коленям. — Шуши горит». Три дня и три ночи горел город, нам отсюда видно было. Там тридцать пять тысяч армян жило. Погибли все. Мало кому повезло спастись от этой резни. Мало того, Карабах располовинили, одну половину объявили Нагорно-Карабахской областью, другую заодно с Гюлистаном, Геташеном, Гёг-Гёлом — он в старину звался Алырак, — Шамхором, Дашкесаном, Гетабеком и многими-многими селеньями вплоть до Куры и Аракса в область не включили, присоединили к районам, где турки живут. С той поры и переломлен у Карабаха хребет. Глянь-ка в ту сторону. Видишь, за Гандзасарским монастырём горы Хучухурда. Эти горы с Арменией связывали нас. Они тоже входили в область. Оттуда, начиная с Кельбаджара и Лачина и до Кубатлы — наши горы. Мы так и не поняли, что дальше стряслось. Устроили какие-то игры, словом, одурачили нас, отрезали от Армении, разлучили с ней.

Я посмотрел, куда показывала его рука, — там высились эти сызнава тонувшие в тумане горы.

— За этими вот горами — Армения.

— Армения? — беспокожно переспросил я, сердце непонятно почему ёкнуло. Где-то я читал, не запомнил, что это, но губы мои невольно пробормотали: «Раздан, река моя родная, о, воды сладкие твои».

— Так оно и есть, Армения за этими горами. В апреле двадцатого года, в середине месяца, дашнаки под командой Дро пришли по ним к нам на помощь, не то турки и мусаватисты, как и в пятом-шестом годах, грабили наши сёла, сжигали одно за другим, истребляли без пощады жителей. Хнабад и Храморт сожгли дотла. В низинных сёлах — Бегум-Саров, Чайлу, Сейсулан — потерь было множество, в горных ущерб было куда меньше, народ сплочённо стоял, пособляли друг дружке, погибли несколько человек из Ванка, Арачадзора. На нашем, члдранском участке келани разбойники из Срхаванда убили только Маки Арутюняна. Я тоже воевал, сколько мне лет было, не помню, но я был молодым парнем, по лесным дебрям, горам и ущельям мы верхом передвигались... Нашим отрядом командовал Бахши из соседней деревни Погосагомер. Какой был человек, как дрался! Недавно умер... Однажды дождливой мгlistой ночью пришёл к нам Теван, собрание провёл. Не будь его, Дали Газара, Вардана, Никол Думана и таких, как они, Карабах бы пропал. Так-то вот, с боями, с жертвами защитили мы свою землю.

— Ты был в Армении? — спросил я.

— Нет, не довелось. Мой брат Акуп, тот был. Он знал грамоту, умел читать-писать, воевал на турецком фронте. В Тифлисе посетил Ованеса Туманяна. Рассказывал, какой тот был славный, простой человек. На обратном пути у Шамхора ночью на русский эшелон отовсюду напали мусаватисты и вооружённые турки, подожгли несколько вагонов. В суматохе брату и ещё нескольким землякам удалось спастись, в январскую стужу по горным тропам они кое-как воротились домой, в Газараох. Он рассказывал, железную дорогу специально разобрали, семьдесят эшелонов стояли, всех грабили, разоружали, чёрте что творили с их жёнами, всех вырезали. Говорил, пять тысяч русских там убили.

Айрик встал, долго кружил по участку, когда-то занятому его домом, клал руку на стволы деревьев, задумчиво, будто бы беседуя, стоял подле них. И невдомёк было, о чём он думал, о чём говорил. Потом он вернулся и сказал:

— Пошли.

— Куда?

Он не ответил, шёл, грудью раздвигая разросшийся высокий репейник, я молча следовал за ним. Где-то, скорее всего, на макушках самых высоких буков в косых лучах солнца дружелюбно ворковали голуби, на лужайке, которую заливало

солнце и которая напоминала пёструю простыню с бессчётным, неисчислимым множеством цветов, мы остановились. Под длинной вереницей кустарников журчал укрытый травой и листьями родник, в маленьком водоёме бурлила воронка, и мелкие сухие листочки беспрестанно кружились в ней, то погружаясь вглубь, то всплывая на поверхность. Сюда сквозь ветви деревьев обильно лился свет.

Айрик вглядывался под ноги, напряжённо что-то искал, и было ясно — не находит. Чуть погода присел и принялся ощупывать руками землю и раздвигать цветы, которых здесь было видимо-невидимо; подавался вперёд, отчаянно мотал головой, без слёз одышливо плакал и повторял: «Мгерик, Мгерик, лучше бы папа твой помер и не видел твоей смерти... Лучше б он ослеп и не видел... Руку бы поломал и не поднял...»

— Ты что ищешь, Айрик? — в тревоге спросил я.

Он вроде как очнулся и ошеломлённо взглянул на меня.

— Здесь она была, — сказал он, — а теперь вот не нахожу. Потерялась между цветов... Или ж я место перепутал, не возьму в толк.

Кругом и на самом деле пышно росли одуванчики и тюльпаны, жёлтый ирис и адонис, ярко-красная гвоздика и пахучая медуница, клевер и таволга, резеда и колокольчики, фиалки и целые букеты дикой розы. На длинных стеблях качались мохнатые шмели, а жужжание кружившихся над цветами пчёл охватило всю округу.

— Твой дядя тут похоронен, брат отца, — сказал Айрик, и его лицо сразу напряглось, натянулось. Слеза застыла в глазах. — Я могилу пришёл навестить и тебе показать, чтобы после нас хоть кто-то сынка моего помянул. Я-то, наверно, в последний уже раз пришёл, больше не осилю дорогу, состарился. Но, видишь, вроде бы потерял место... Тут камни лежали. Лежали, да больше не лежат.

Я в ужасе смотрел и ничего не понимал — дядя-то мой пропал без вести на войне, отец не раз об этом говорил. Словно угадав, о чём я думаю, Айрик тяжело вздохнул:

— Никто не знает, никто... Сколько лет я таил это в себе, в самом сердце... Оно у меня исколото, точно пемза. — Он прижал свою сухопарую руку к груди, помолчал. — Огонь, что запал мне в сердце, столько лет горит, жжёт, сжигает, но никому не рассказывал, поющим в лесах птицам, плача рассказывал, деревьям, заросшим мхом камням, родникам рассказывал, но людям — нет, не рассказывал...

Айрик долго молчал, погружённый в себя. Наконец открылся:

— На фронт он ушёл добровольцем, хоть и молод ещё был для призыва... То ли на Северном Кавказе, то ли где ещё при бомбёжке отстал от поезда. Его обвинили, мол, нарочно отстал. Будь он таким, записался бы добровольцем, а? Да кто ж его слушает, упёрлись, и всё тут. Взяли парня под арест, избивали, грозились расстрелять. Словом, сбежал он. По дагестанским горам ночами, днём-то хоронился, голодный, холодный, добрался с грехом пополам до родных краёв. — Айрик снова замолк, разволновался, дышал неровно, и я его понимал. — В этих местах я скот пас, он, видно, проследил. Как-то подъехал я верхом к роднику напиться, он вышел из камышей — кожа да кости, оборванный, обросший, с рыжей бородой, в обувке без подошвы... Стройный красивый парень выглядел побирушкой. Признал я его не сразу, а как признал, ноги разом подкосились. Ослепни мои глаза... Отец, говорит, у меня два дня крошки во рту не было. В лесу, говорит, на деревьях попадались фрукты, в мышиных норах — орехи, на сжатых полях — колоски, поближе к деревьям я тайком картошку выкапывал, ел её сырую. Выдюжил, добрался. А в эти два дня нигде ничего, хоть шаром покати... Ночью принёс я ему поесть, одеться. Просил, умолял — пойдёшь сдайся властям. Он ни в какую, разуверился в начальниках. Я, говорит, по доброй воле голову на плаху не положу. Коли семье нашей что грозит, прострели мне ногу и сдай меня. А сам — ни за что, не знаешь ты их... Из района наезжали к нам люди, мол, сын твой дезертировал. Не прячется ли он часом поблизости? Пускай сдастся, лучше будет. Отправим его в штрафбат. А не то поймал — расстрел на месте. Главный среди них, энкаведешник, коротышка, в галифе, злой как собака, наганом размахивает, вроде как иступлённый. Заруби на носу, орёт, поймал — у тебя на глазах расход пустим, и тебя, орёт, и всех вас как семью дезертира — в Сибирь. Такое и впрямь случалось. Из Атерка, к примеру, как-то раз угнали две семьи... Искали они его с сельскими нашими активистами по лесу, да не нашли. Сказали, через два дня снова придём... Думал я коротким своим умишком и надумал ранить его в ногу, ну и сдать. Пускай, думаю, штрафбат, лишь бы живой остался. И сына не потеряю, и в Сибирь нас не упекут. На большее ума мне не достало. — Айрик тяжело вздохнул. — Тут он стоял, за деревьями, у родника. Прицелился я издали, глаза кровью налились, и пальнул из своей винтовки Мосина. Как это стряслось, Бог весть, к земле он нагнулся, что ли, только пуля-то угодила не в ногу. Добежал я... Отсохни моя рука... Бледный, глаза помутнели, улыбкой меня вроде как обнадеживает, ладонью рану на груди зажимает... Лежит на траве, глаза открыты. Хотел что-то сказать, лишь произнёс «мама»... Два раза повторил... И всё, язык у него отнялся, говорить не в силах. Что он хотел сказать, мальчик мой, так я и не узнал. Последнее слово в сердце у него осталось. А я потерял голову, ничего не соображал, беспомощно смотрел, обнимал, смотрел... Должно быть, он тоже ничего не понял. Слабо пожал мне пальцы, наверно, прощался. Сколько уже лет что днём, что ночью встаёт он передо мной... Видишь, ошибиться и минутки довольно, а казнить да терзать целой жизни мало. Бессонной ночью человек сыпет себе соль на рану, подробно вспоминает именно то, что больше всего мечтает запомнить. Может, и

правда со временем всё забывается, только не потеря ребёнка. Этого ты до смертного часа не позабудешь. Сынок мой обездоленный вечно у меня перед глазами, глядит беспомощно, рвёт мне сердце на куски...

Айрик надолго замолчал, а потом хрипло сказал:

— Они не раз к нам являлись, не давали вздохнуть спокойно. Рыскали везде и всюду, вокруг села, в лесу, в горах и ущельях, да только сына моего, которого искали, уже не было. Принёс я его в жертву, так получается. Всего год как они бросили свои поиски, больше не появлялись... Напрасно я из Газараоха перебрался в Члдран, зря. Братья мои — Джалал, Акуп, Мухан, сестра Зари — все они там, обустроились, обзавелись детьми. Зачем я сюда приехал, чего добился? Мастерю деревянные ложки да половники, вилы да лопаты, корыта да лохани и меняю это добро с турками из низинных деревень на просо с ячменём. Кровь из носу, детей поднял, да и потерял одного за другим. Несправедливый этот мир, кровинушек своих безвинных одного за другим потерял... Жил бы среди родни, не потерял бы... Буквы на деревьях вырезая, выучился грамоте, хотел, чтобы дети выбились в люди, стали образованными. В Газараохе школы не было, а тут была... Потерял многое, а получить ничего не получил...

Слёзы градом катились по щекам Айрика. Он буквально простонал:

— Что тут скажешь, так уж вышло... Другие времена были, другие порядки. Я всю жизнь сам с собой воевал. Кому расскажешь и что расскажешь? Всё равно ничего не поменить.

Мы немного помолчали. Айрик поднялся, опершись руками о землю, рассеянно огляделся. «Не могу сыскать, мальчик мой смешался с травой и цветами, травинкою стал и цветком», — сказал он и по поросшей травой тропе зашагал туда, где когда-то стояли дома.

Солнце жгло, палило, отовсюду доносились благодные птичьи распевы, неумолчный стрёкот кузнечиков и стрекоз.

Мы вернулись к тому самому месту, где перекусывали. Долгое время молча сидели, потом Айрик улёгся на траву, лицом туда, где стоял их дом. Прошло довольно много времени. Поблизости росло грушевое дерево, слышно было, как шлёпаются наземь паданцы. Воздух от зноя колыхался, без умолку щебетали иволги. Чуть поодаль в кустах шиповника с багровыми плодами неустанно пел дрозд. Я не знал, спит Айрик или просто глубоко задумался. Было неловко встать и бесцеремонно заглянуть ему в лицо. Но, должно быть, он не спал, потому что на цветы по соседству с ним садились красновато-жёлтые пчёлы с лапками в цветочной пыли и монотонно жужжали, о них он и заговорил; выходит, он всё-таки не спал, а ушёл в себя.

— Знаешь, сколько живёт пчела? — после очень, очень продолжительного молчания спросил Айрик и сам ответил, не поворачиваясь в мою сторону: — Двести сорок дней, иными словами, восемь месяцев. Через восемь месяцев она уже стара, вылетает из улья, кое-как двигая крылышками, и падает в траву, чтобы не мешать другим. Красиво живёт в красивом своём мире и красиво же умирает, будто и не пчела вовсе, а настоящий человек.

Пока мы с Айриком добрались до села, стало вечереть. Тени деревьев удлинились и, раздробившись, раскисались над склоном ущелья. Наши тени тоже, то увеличиваясь, то уменьшаясь, шли с нами в село. С гор мы спускались уже пешим ходом. Орехами и лесными грушами наполнили две вместительные перемётные сумы, взгромоздили их на лошадь, я шагал впереди, держа её под уздцы, Айрик нетвёрдой старческой походкой — позади. У родника в верхней части села я неожиданно увидел Людмилу Аракелян, в которую давно был тайно влюблён. Сердце беспокойно забилося. Она знала, я вот-вот уеду в Сумгаит. С кувшином на плече она долго смотрела своими красивыми печальными глазами. Почему-то мне подумалось, что больше я никогда её не увижу, слезы навернулись мне на глаза. Чтоб она их не увидела, отвернулся, посмотрел назад. Мглистые горы Кыгхнахаха были омыты золотым сиянием заходящего солнца.

По долгому автомобильному гудку я понял, что Роберт с Араксией вернулись из Яламы и зовут меня.

— Где ты пропадаешь, братец? — весёлый и, как всегда, подвижный и деловитый, Роберт улыбался, засучивая рукава. — Ты только глянь, что за рыбина.

На листьях лежала громадная севрюга и судорожно открывала и закрывала рот, силясь глотнуть воздуха.

Рена вышла на голоса из комнаты Алвард, с веранды, словно бы стесняясь и не осмеливаясь, посмотрела на меня и улыбнулась. Я бросил на неё мимолётный взгляд, не в силах скрыть своего восхищения её светящимся видом.

— Позавтракайте и сходите на море, а я пока рыбу разделаю. Как вернётесь, приготовим шашлык, — посоветовала нам Араксия и пошла заниматься завтраком.

— Я вам помогу, — с готовностью предложила Рена и пошла за ней.

Когда мы покинули Набран, повеяло прохладой. До города мы доехали вечером. После тихого Набрана город напоминал огромный гудящий улей.

Первого сентября мне позвонила Эмира. Я б узнал её среди сотни голосов.

— Знаете, почему я позвонила? — спросила она.

— Не скажешь — никогда не узнаю, — пошутил я.

Она рассмеялась.

— Чтобы вас поблагодарить.

— Ну и кто тебе мешает? — продолжил я в том же шутиливом духе. — Может, Заур?

— Не-ет, — залилась она смехом. — Никто не мешает. Хочу сказать спасибо за «Шанель». В жизни этого не забуду.

— Буду тебе к каждому празднику дарить эти духи, раз уж они так тебе нравятся. Что у вас за шум?

— Я звоню из школы, сейчас перемена.

— Рассказать тебе анекдот?

— Расскажите.

— Слушай. Карабахец лет восьмидесяти заходит в городе в магазин и просит у продавца два костюма. Продавец ему: зачем тебе два костюма, износишь один — уже хорошо. Да нет, говорит карабахец, один мне, другой отцу. Коли тебе восемьдесят, говорит продавец, значит, отцу твоему лет сто — сто пять, верно? Верно, соглашается карабахец. Зачем ему в таком-то возрасте костюм, недоумевает продавец. Карабахец объясняет: отец отца, то бишь мой дед, женится, мы не хотим у него на свадьбе ударить лицом в грязь. Продавец чуть не рехнулся со смеху. Послушай, говорит, ежели тебе восемьдесят, отцу твоему — сто или сто пять, стало быть, деду — лет сто тридцать. И он хочет жениться? Нет, растолковывает наш карабахец, он-то как раз не хочет, да родители настаивают.

Эсмира расхохоталась.

— Сколько же тогда лет родителям?

— Лет, наверное, сто шестьдесят.

— Да разве же люди столько живут?

— Почему бы и нет? Адам прожил девятьсот тридцать лет.

— Быть того не может, — засмеялась Эсмира.

— А знаешь ли ты, сколько жил Ной?

— Сколько?

— Шестьсот лет до потопа, который продлился сто пятьдесят дней, и триста пятьдесят лет после.

— Ну да! — снова рассмеялась Эсмира. — Не может этого быть. Я никогда в это не поверю.

— Еврейский патриарх Мафусаил прожил девятьсот шестьдесят девять лет. В шестьсот лет он был столь бодр, энергичен и привлекателен, что девушки в Иудее влюблялись в него с первого взгляда, и никто не давал ему больше трёхсот пятидесяти.

— Ой-ой-ой, — то ли в изумлении, то ли в полном восторге засмеялась Эсмира, и я вообразил её в эту минуту — с приоткрытыми алыми губами, с ровными как на подбор зубами редкой белизны, искристым блеском смешливых глаз и покачивает вдобавок головой. — Так уж и влюблялись. Всё вы выдумываете, выдумщик вы, — снова засмеялась она. Не верю и никогда не поверю, мы в школе ничего такого не проходили. Но я всё-таки проверю, непременно проверю. А вы слышали такой анекдот? Армянское радио спрашивают: правда ли, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс муж и жена? Нет, отвечает армянское радио, это четверо разных людей. — Эсмира снова и так же восторженно засмеялась. — А вот ещё один... Ой нет, уже звонок. Жаль. Ну да ладно. Большое-пребольшое-пребольшущее вам спасибо. — Она засмеялась и повесила трубку. Я долго ещё улыбался, меня переполняла неведомая светлая радость.

С Реной мы, как и прежде, встречались по субботам, кружили на машине по городу и за городом; там, за посёлком Бинагади, на ведущей к новханинскому пляжу дороге, где сравнительно мало машин и по обе стороны трассы только и вздымаются вверх-вниз нефтяные вышки, качая нефть по трубам, я учил Рену водить машину; порою мы играли в теннис на огороженном корте спортобщества «Динамо» возле моря или посещали по специальным контрамаркам закрытые кинопросмотры в здании правительства. Самым же незабываемым выдался предновогодний вечер в ресторане «Гюлистан».

То был неповторимый, неизгладимый из памяти вечер, снежный и тёплый. Мы ждали на улице Роберта. Лёгким пушком непрестанно сыпал снег. Крупные снежные хлопья, как миллионы и миллиарды белых мотыльков, реяли, парили в воздухе и как-то нехотя, медленно падали наземь.

Чуть поодаль от нас, за присыпанными снежным покровом кипарисами, стоял фуникулёр, поскрипывая на пологом подъёме, поднимался к Кировскому парку по тросу прикрытый прозрачной снежной бело-голубой пеленой вагон. Вдали в тусклом вечернем небе одиноко высилась освещённая красноватыми огнями телевизионная башня. Я просунул руку под Ренин полушубок, обнял её жаркое, вожделенное тело, притянул, прижал к себе, вдыхая пьянящий запах её гладкой, словно полированной шеи, и сердце защемило, а душу всколыхнуло от этой обжигающей близости. Она слегка запрокинула голову, крупные снежинки, словно крылатые звёздочки, беспрерывно падали на её озарённое светом лицо. Рена, волнующая, упоительно юная, вложив руки в перчатках в меховые рукава — левую в правый, и наоборот, — восторженно смеялась, будто капризная девчушка, и ловила эти снежинки кончиком языка. В неоновых отсветах из прелестного её рта

клубился пар, я крепче и крепче прижимал её к себе, без умолку шепча: «Цавед танем, цавед танем, цавед танем», и на глазах у меня наворачивались слёзы нежности и неизъяснимой любви к Рене, переполнявших мне душу.

— Лео, — тихо и как-то насторожённо шептала Рена, — всякая девушка или женщина, не имеет значения, мечтает видеть подле себя настоящего мужчину — сильного, решительного, доброго и понимающего, чтобы чувствовать себя с ним любимой, желанной и защищённой. Жизнь не самое главное из того, что есть у человека. Куда важнее любовь, вера и безоглядная преданность своей любви. Человеку дано лишь одно сердце, в нём имеется место лишь для одного-единственного, и я не ошиблась, избрав и полюбив именно тебя. Когда я задумываюсь об этом, то сама себе завидую, и единственное, к чему я способна на свете, — это любить и чтить тебя, любить и преклоняться перед тобой, перед тем единственным, ради кого я могу в это мгновение, ни секунды не раздумывая, без малейших колебаний пожертвовать всей своей жизнью.

Я поднял взгляд, и бурная волна нежности, как и чуть раньше, захлестнула меня; в волшебном-голубых глазах Рены тоже появилось озерцо слёз, лучившееся сияющим светом.

— Рена, Рена, бесподобная моя Рена, — задышавшись ликованием и волнением и с необычайно сильно колотящимся сердцем вымолвил я, но не успел ничего сказать, меня прервал голос Роберта.

— Братан, — не выбравшись из машины, издали радостно воскликнул Роберт, — у весельчака веселья не убудет, ох и повеселимся! — воодушевлённо сказал он. — Снегу и морозу не под силу помешать нам, и мы достигнем благой нашей цели.

Мы разделись в гардеробной на первом этаже и поднялись в ресторан, где Роберт загодя заказал столик. Роберт пришёл не один, а со своим другом Зармиком. Подвижный и деятельный наподобие Роберта, Зармик тоже работал прежде в министерстве связи, но затем уволился оттуда и занялся торговлей, переправлял в Москву фрукты и овощи.

Со своими густыми пышными усами Зармик вовсе не походил на армянина; коренной нахичеванец, он говорил по-азербайджански на нахичеванский манер, произнося, к примеру, не Нахичеван, а Нахцван.

«Я из Агулиса, — говаривал Зармик. — Знаете, чем агулисы знамениты? — со смехом вопрошал он. — Мы экономны. Кладём в банку сыр, намазываем банку хлебом и едим».

Оба они были со своими девушками — Лией и Симой. Лию я видел много раз, она давно встречалась с Робертом, а с ясноглазой и белокожей Симой, жившей в Забрате, посёлке под Баку, и тоже носившей фамилию Махмудова, сталкивался впервые. В просторном зале на втором этаже, откуда весь город с мерцающими своими огнями был как на ладони, под песни и музыку самозабвенно танцевали, без конца шутили, беззаботно смеялись.

Зармик рассказал анекдот, смахивавший на сказку. «Мужик удит у реки и вдруг вытаскивает из воды серебряную рыбку, — повествовал он. — Рыбка обращается к нему на человеческом языке: братец, отпустишь меня — выполню твоё желание. Мужик был патриотом, показал серебряной рыбке карту Армении времён Тиграна Великого и сказал: хочу Армению от моря до моря. Серебряная рыбка смотрит на карту, соизмеряет её в уме с нынешней политической и территориальной ситуацией и говорит: я бы с радостью, да для такого дела нужна хватка золотой рыбки. Прости, пожелай чего-нибудь ещё. Мужик чуть было не рехнулся и не слопал серебряную рыбку, но вспомнил кое-что и говорит: дома у меня три дочки засиделись, выдай их замуж — отпущу. Серебряная рыбка говорит: покажи дочкины фотографии. Мужик достаёт из кармана фотокарточки и протягивает серебряной рыбке. Та смотрит на карточки, смотрит, смотрит и говорит: нет, братец, дай-ка лучше карту, погляжу, что можно сделать».

Мы громко расхохотались — и анекдот был остроумный, и рассказывал Зармик со вкусом.

Потом мы с Реной танцевали испанское фламенко и, видимо, танцевали неплохо, особенно Рена — вдохновенная, восхитительная, прямо-таки воплощённая прелесть в сверкающем ярко-красном длинном платье с широким вырезом, — потому что прочие пары вскоре подались назад, оставили танцевальную площадку нам двоим, образовали круг и, подбадривая нас, энергично хлопали в такт музыке.

Вечер удался, и мы не заметили, как пролетело время.

— Пусть Новый год принесёт всем нам новую радость, — провозгласил Роберт заключительный тост. — Пусть он принесёт всем счастье! Уверен, так оно и будет, и год окажется благоприятным. Иной раз — как, например, сегодня — жизнь одаривает человека неповторимо счастливыми мгновениями. У счастья нет завтрашнего дня, нет и вчерашнего, оно не помнит минувшего, не задумывается о грядущем, оно признаёт исключительно настоящее и длится не целый день, а краткие часы, минуты, может, и секунды, и его тайна в том, чтоб эти секунды, которые стоят порою всей жизни, повторялись по возможности чаще. С Новым вас годом, дорогие мои! Встретимся здесь же, в прекрасном этом зале, 23 февраля, в день Советской армии, в шесть вечера. Согласны?

— Согласны! — с весёлым единодушием откликнулись все и с задорным звоном сдвинули в знак согласия хрустальные бокалы.

Нам, увы, не удалось встретить 23 Февраля в шикарном «Гюлистане», как мне не удалось исполнить обещание, данное новогодней ночью маме, — привести Рену к ним с отцом в гости 8 Марта. И вообще начался новый год отнюдь

не благоприятно. Рена простыла и слегла, я ходил в расстроенных чувствах до тех пор, пока она не поправилась и мне не удалось наконец увидеть её. В конце января в редакции разразился скандал между Тельманом Карабахлы-Чахальяном и сотрудником его отдела Геворгом Атаджаняном. «Или я, или он, — нервно расхаживая по коридору с взятой у кого-то, да так и не раскуренной сигаретой в руке, повторял Тельман. — Всё, клянусь моими сынками-двойняшками, что растут на мои тридцатитрёхпроцентные алименты, пойду к председателю. Мышка, она маленькая, да как угодила в большущий кувшин, разом испоганила, что там было. Потому как поганая мышь. Удачу мою похерил, жизнь мою поломал, в сахарную болезнь меня вогнал. Кто привёл сюда этого паршивца?»

Дело было не только в том, что два взрослых мужика перед всем коллективом поносили друг друга самыми последними словами. Своими нравами и повадками оба они стоили один другого, их скандалы и разборки давно стали притчей во языцех, но досадно, что про них узнало и руководство комитета. В кабинете председателя комитета Эльшада Гулиева состоялся пренеприятный разговор. При нём присутствовали заместители председателя, все главные редакторы, секретарь первичной парторганизации, председатель профкома. Человек около тридцати.

Молодой, но дородный, с головой, словно бы воткнутой в шею, председатель прочёл жалобу Тельмана и, сидя за столом и тяжело дыша по причине своей бронхиальной астмы, долго и раздражённо выговаривал виновным, особенно нашему главному — за то, что принял на работу такого интригана. Прочёл он и письмо жены Атаджаняна, в котором та умоляла помочь ей с алиментами. Было и ещё одно письмо — от некой Риты Григорян. Эта дамочка жаловалась, мол, Атаджанян с помощью ложных посулов обесчестил её и сбежал. В конце концов было решено объявить главному строгий выговор, а Геворга Атаджаняна уволить. В редакцию мы поднимались в подавленном настроении. Главный расстроился и молчал. «Это разве человек? — уже в кабинете излил он своё бешенство. — Скотина неблагодарная, вот он кто. Что они теперь о нас подумают? Ты только вообрази, Лео, его по моей и прежнего главного рекомендации за день приняли в Союз писателей! Люди по двадцать лет без толку ждали, а этого за день приняли, чтобы поставить секретарём областной писательской организации. Сверху приказали — срочно принять. Я только потом узнал, как он это дельце прокрутил. И ведь не только это. Писатель Сурен Каспаров по просьбе Левона Восканяна прописал его у себя дома, устроили его корректором в журнале “Гракан Адрбеджан”, а когда оттуда выгнали, он просил-умолял взять его на работу. Да и ты за него словечко замолвил, помнишь? А куда, скажи на милость, было деваться... Ну и веди себя по-человечески, не позорь нас. Гонорары ему выписывали высокие, ведь он же, думали, на детей алименты платит. А он, оказывается, ни копейки семье не давал. У меня в голове не уместается, что ж это за человек...»

Нежданно-негаданно в кабинет вошёл Геворг Атаджанян собственной персоной. И как ни в чём не бывало, с беззаботным видом и кривой ухмылочкой на лице уселся на диван.

— Послушай, я тебя не понимаю, — не выдержал главный. — Должен же ты в конце-то концов уразуметь, что иные шаги нельзя простить, иные слова невозможно забыть, иные поступки способны смешать с грязью самого дорогого тебе человека. Ты так себя держишь, будто получил премию или, по меньшей мере, выиграл в лотерею.

— А что, собственно, случилось? — нагло глядя на главного, невозмутимо спросил он.

— А что ещё-то должно случиться? Приказом председателя комитета ты уволен с работы.

— Знаю. И что с того? — равнодушно пожал он плечами и добавил с какой-то злорадной усмешечкой: — Буду за подаяние петь на кладбищах, улицы буду подметать, лишь бы вы порадовались. Что, коммунистом быть перестану?

— Первым делом надо быть человеком. За что писатели Карабаха тебе бойкот объявили? — спросил главный и сам ответил: — За то, что бездельничал, вот за что. За то, что своими кривотолками всех перессорил, вот за что. До сих пор мог бы работать на областном радио. За что тебя оттуда выгнали? За аморалку. Перечислять пункт за пунктом? В журнале «Гракан Адрбеджан» пошли тебе навстречу, помогли прописаться, взяли на работу. А ты что натворил? Из суетных карьерных соображений ответил им на добро чёрной неблагодарностью. Без конца интриговал против достойных людей, клеветал на них. На тех, кто помог тебе, поддержал в трудную минуту. Тебе шестьдесят лет, пора бы уже за ум взяться.

— Мне шестьдесят, а все зубы на месте, полюбуйся. — Будто кобыла, у которой проверяют зубы, Атаджанян разинул себе пасть сперва с одной, потом с другой стороны. — Волосы на месте, мужская сила, слава Богу, на месте, в общем, полный порядок. Смотрите и завидуйте. На что вы ещё годитесь, кроме как завидовать? Да ни на что. Ну а напоследок спроси, нужны ли мне твои нотации, — скривив физиономию, бросил он.

— Одним словом, плюнь тебе в глаза, скажешь — божья роса. Знаешь, о чём я думаю? — Встав из-за стола, раздражённо сказал главный. — Думаю, что ты всё это делаешь с умыслом. Ты вознамерился опозорить армянскую интеллигенцию, и надо признать, это тебе, к несчастью, удаётся. Иначе как оценить, что после приезда из Карабаха ты нигде здесь подолгу не удерживался. Тебя отовсюду прогоняли, причём со скандалами, взашей. Мы из-за тебя сквозь землю готовы со стыда провалиться, а ты, как я погляжу, и в ус не дуешь.

— Именно так, поскольку я человек честный, — сказал он недрогнувшим голосом. — Поскольку таким, как мы, всегда приходится нелегко в окружении бесчестной публики.

— Таким, как мы... Кого ты имеешь в виду — себя да Роберта Аракелова?

— Хотя б и его. Завотделом в научно-исследовательском институте, кандидат наук, автор прекрасных стихов, написал докторскую диссертацию для директора института. Вам этого мало? Что до меня, то да, я человек в высшей степени честный.

— Эта высшей степени честность и заставила тебя подсунуть жену Тельмана Чахальяна под Сафара Алиева? — выходя из себя, спросил главный.

Чем больше нервничал главный, тем спокойней и наглее становился Геворг Атаджанян.

— Это моё личное дело — знакомить знакомых женщин со знакомыми мужчинами, и это никого не касается. — На его лице расплылась похотливая ухмылка. — Один лакомится, у другого слюнки текут, а? Кто такой Тельман Чахальян, чтобы наслаждаться такой женщиной? Да, это я их свёл, и хорошо сделал. А ты что, наденешь на неё пояс верности или, как средневековый рыцарь, навесишь замок? Товар её, кому хочет, тому и даёт, ты кто такой?

Главный не обратил внимания на этот цинизм.

— Всю жизнь, — сказал он с отвращением, — ты, будто шут, кривляешься перед судьями, прокурорами, милиционерами и продаёшь людей.

— А тебе кто мешает?

— Я к этому не приучен, это твоё ремесло. Твоё и твоего дружка-пропойцы Роберта Аракелова. Я с его отцом, Каро Аракеловым, в редакции газеты «Коммунист» работал. Тоже был гнусная тварь. Я смотрю, по части армяноненавистничества сынок многое унаследовал у отца. Да и дружок у него — ты, рыбак рыбака видит издалека, — заключил главный. — За что тебе Гурген Габриэлян отвесил прилюдную пощёчину?

— Не твоё дело.

— За то, что здесь, в Баку, ты бесстыже волочился за его замужней племянницей. Ты дружил с корреспондентом «Азеринформа» Радиком Григоряном, а его сестра написала на тебя жалобу руководству комитета.

— Верный, как собака, да презренный, однако, — прошипел Атаджанян.

— С Жорой, братом Гранта Бабаяна, редактора газеты «Коммунист», ты вроде бы водил дружбу, а про Гранта между тем распускаешь грязные слухи, сочиняешь на него анонимки. Что ты за существо!

— Был бы Грант Бабаян приличным человеком, — сказал Атаджанян, и в его глазах мелькнул зловещий жёлтый блеск, — принял бы меня на работу, назначил бы завотделом, и мне бы не пришлось обивать пороги.

— Бабаян, как видно, знал тебя лучше, чем мы, потому и не принял.

— Не беда, не принял он, примет Эмиль Григорян, новый редактор.

— Верно, — усмехнулся главный, — человек он новый, тебя не знает, может, и примет. Но только корректором или посыльным. Хотя, сказать по правде, ты не заслуживаешь и этого.

— Но ведь я армянский поэт... Боже мой, боже! — По-актёрски воскликнул Атаджанян и простёр кверху руки. — Все кому не лень без конца сплетничают, злословят, ставят подножки, завидуют, ревнуют. Что вам от меня нужно, жалкие вы мои злопыхатели? Чтобы я сложил крылья, загасил двигатели моей реактивной ракеты и наподобие вас тащился по старым дорогам на телеге? С ума сойти, честное слово! Вы этого хотите, убогие вы мои? Не дождётесь! Я армянский поэт, и очень хороший.

Главный посмотрел ему в глаза и с горечью бросил:

— Да какой ты поэт, вдобавок очень хороший, если в твоём-то возрасте не напечатал в Армении ни единой своей строки.

— Тебе подобные ставили палки в колёса.

— Послушал бы, что рассказывал о тебе Гурунц.

— Гурунц? — Атаджанян аж подскочил. — Знаю, знаю, наслышан, о чём он тут наболтал. Ничего, скоро... гы-гы-гы. — Звуки, которые он издал, смахивали на конское ржание. — Скоро и Гурунц получит по заслугам, — ехидно и злорадно заявил он. — Гурунц понятия не имеет, что я въедливый клещ, если вцепился — не отстану, пока всю кровь не высосу. Тельман Карабахлы тоже не знал, а теперь знает, — сказал он, таким вальяжным сценическим шагом подошёл к дверям и, не оглядываясь, удалился.

— Ничтожество ты, а не армянский поэт, — всё-таки бросил ему вслед главный. — Тоже мне краснобай — «армянский поэт, и очень хороший». Не то худо, что он дурак, а то, что выставляет это напоказ.

Случилась ещё одна неприятность, на этот раз связанная с Ариной. Последние два дня она всё время была сама не своя; прежнюю Арину — смешливую, жизнерадостную — словно подменили.

— Что с ней? — спросил я Лоранну.

— Сама виновата, вот и мается, — таков был ответ, ничего ровным счётом, однако, не прояснивший.

На следующий день Арина принесла на подпись одну передачу, снова хмурая, задумчивая, вся в себе, глаза тоскливые.

— Ты чего нос повесила? Смех с улыбкой тебе идут больше, — сказал я. Арина улыбнулась сквозь слёзы:

— Вечно я тебя огорчаю, — произнесла она, пряча глаза. — Не знаю, что делать. Я не хочу, само так выходит.

— Что именно?

— А то, что поневоле подложила тебе свинью, — вполголоса сказала Арина. — Прости меня, пожалуйста.
— За что? Ничего не понимаю.
— Сильва сказала мужу, что из-за меня её не взяли на работу.
— Но ты же сказала, что муж у неё против. Я так и передал Саиде.
— Сказать-то я сказала... — Арина залилась краской и сконфуженно посмотрела на меня. — А она сказала мужу, будто я... связана с тобой... а тот пошёл и моему мужу доложил.

В эту минуту дверь отворилась, и в кабинет вошёл парень лет двадцати пяти — двадцати шести, белокожий и вдобавок с бледным от волнения лицом, и, не глядя в мою сторону, с бешенством обратился к Арине:

— Ты чего здесь делаешь?

Перед этим Арина стояла напротив меня. Лицо её побелело, как полотно, и она не то что села, но рухнула на стул.

Я, разумеется, понял, что это Аринин муж, и грубо сказал:

— Слушай-ка, тебя как зовут?

Он обернулся и с яростью процедил сквозь зубы:

— Арут.

— Так вот, Арут. У себя дома можешь командовать, а это редакция, и будь любезен вести себя, как подобает.

Арина приоткрыла в испуге рот и, не сводя глаз с мужа, не смела слова сказать.

— Что она здесь делает? — обращаясь теперь уже ко мне и тяжело дыша, спросил Арут.

— Принесла на подпись передачу, — сказал я сухо и жёстко. — И если тебе это не нравится, мы можем сегодня же уволить её. Ты доволен?

— Нет, — сказал Арут. — Я сейчас отведу её к Сильве, вы её знаете, и если Сильва в её присутствии подтвердит, что она той сказала, тогда приговор ясен. — Неуловимым движением парень извлёк из кармана складной нож, нажал на кнопку, и выскочило лезвие.

— Тогда приговор ясен, — повторил он, и ноздри у него раздулись. — Этим вот ножом я убью и её, и вас, и себя.

— Вот что, — сильно разозлился я. — Лучше бы ты начал с себя. Вон отсюда.

Арина невольно вскочила и, понутив голову, выбежала из кабинета.

Арут холодно смерил меня взглядом и, не говоря ни слова, медленно сложил нож, убрал его в карман, оглянулся в дверях и вышел.

Что да, то да, новый год и впрямь начался неблагоприятно. Ну а поздно вечером двадцать первого февраля совершенно неожиданно позвонил заведомо культуры ЦК компартии Азербайджана Азер Мустафазаде. Прежде Азер работал у нас, в русской редакции комитета по радио и телевидению. Потом недолго побыл представителем Союза писателей в Москве и столь же недолго — заместителем республиканского комитета по печати. В былые время мы с ним, Сиявушем и писателем Сейраном Сахаватом не раз сживали в ресторанах, однажды встретились в Москве — в ресторане ЦДЛ, словом, были довольно близки.

— Лео, — сказал Азер, — завтра ты должен быть в Степанакерте. Там Рамиз Мехтиев. Зайдёшь к нему в обком, он скажет, что делать.

Рамиз Мехтиев был одним из секретарей ЦК. Прежде мне случалось иметь дело с высоким начальством, раза два бывал в районах с самим Гейдаром Алиевым — в Казахе, Исмаиллы, Агдаме и Мартуни, так что я не увидел в этом ничего странного.

— Ладно, — сказал я. — Сейчас уже поздно, поеду завтра.

Однако последняя его фраза, произнесённая вскользь: «Там взбунтовалось несколько стариков, надо б уговорить их покончить с их старческими бреднями», — последняя фраза меня насторожила. Он так и сказал: старческие бредни.

— Да нет, что ты такое говоришь, — возразил Азер. — Ехать надо сегодня. В Тбилиси идут два поезда — в одиннадцать и полвторого. Доедешь до Евлаха, а оттуда всего ничего — километров шестьдесят-семьдесят.

Фраза, произнесённая Азером как бы между прочим, не давала мне покоя. Я задумчиво расхаживал по дому взад и вперёд. Ехать в Степанакерт вовсе не хотелось. Решил позвонить главному, может, он знает что-то конкретное. Главного на месте не оказалось. «Владимир только что ушёл, — с сожалением сказала его жена Гехецик. — ЦК срочно посылает его в Гадрут». Я набрал было номер Азера, чтобы меня освободили от этого дела, но его телефон всё время был занят. Попытался дозвониться до других отделов — то же самое, в ЦК все телефоны либо были заняты, либо никто не брал трубку. Может, Сиявуш знает что-то? Нет, о Степанакерте он ничего не слышал. Я рассказал ему про звонок Азера, добавил, что мне неохота ехать в Степанакерт. «Старик, я тебя понял, — сказал Сиявуш. — Обожди, я тебе перезвоню». Спустя несколько минут раздался звонок, и Сиявуш объяснил, что в Степанакерте перед обкомом проходит демонстрация, требуют присоединить Карабах к Армении. «Я, старик, отлично тебя понимаю, — снова сказал Сиявуш. — Дело в том, что тебе и ехать плохо, и не ехать, это смотря с какого боку посмотреть. Азера нет на месте, там совещание. Я поговорил с завсектором Хейруллой Алиевым, изложил ему суть дела, он сказал, что позвонит тебе». И правда, немного погодя Хейрулла позвонил и сказал, что ничего не поделаешь, обязательно надо ехать. «Никуда не поеду, — твёрдо решил я и

отключил телефон. — Пускай звонят, сколько влезет». Однако с утра пораньше ко мне домой явился самолично Хейрулла. В дверь позвонили, я открыл и увидел его — здорового, ростом выше двух метров, с проседью в волосах.

— Лео, надо ехать, — не допускающим возражения тоном объявил он. — Едет весь ЦК, есть члены политбюро, срочно отправляйся в аэропорт, должен успеть на десятичасовой рейс. Моя машина довезёт тебя до Аэрофлота. У Аэрофлота я нарочно, чтоб опоздать на рейс, пропустил два автобуса. В депутатский зал явился с опозданием, в десять с чем-то.

— Мест нет, — сказали там. — Ни одного места. «Тем лучше», — подумал я, обрадовавшись удаче. Прямо оттуда, из депутатского зала, позвонил в ЦК, Хейрулле Алиеву, сказал, что в самолёте на Степанакерт мест нет.

— Что значит нет? — возмутился Хейрулла. — Будет дополнительный самолёт. Наши тоже туда отправляются. Дождись, улетишь с ними. В самолёте нас было всего-то человек семь-восемь. Неподалёку от меня сидел инструктор ЦК Валерий Атаджанян — озабоченный, невесёлый. Остальные были мне незнакомы, беспечно, с шутками-прибаутками попивали кофе.

Настроение у меня немного поднялось, когда самолёт пролетел над Степанакертом и направился на посадку в Ходжалу. Сверху я разглядел, что на площади перед обкомом никого нет. В аэропорту нас встречали. Мы узнали от них, что со стороны Агдама на Аскеран движется толпа азербайджанцев, вооружённая топорами и ножами, лопатами и кинжалами, дубинами и камнями. Толпа рушит всё на своём пути, избивает, истязает десятки работающих на виноградниках армян, сожгла несколько армянских домов на подступах к Аскерану. Кое-как её задержали таки военные, около тысячи человек, которые здесь, в горных условиях, проводят учения перед отправкой в Афганистан. Ужаснее всего, что убиты двое азербайджанцев. Брат одного из убитых, некто Гаджиев, сказал, что в его брата стрелял милиционер-азербайджанец.

На площади перед обкомом и вправду не было ни души. Мы поднялись на второй этаж. Здесь уже находился первый секретарь азербайджанской компартии Кямран Багиров, член политбюро Георгий Разумовский, кандидат в члены политбюро Пётр Демичев, другие высокопоставленные функционеры, генералы в форме и без формы. Здесь же был и Борис Кеворков. Я вспомнил, как говорил о нём Гурунц. Этот человек, наводивший некогда страх и ужас, испуганный и жалкий сидел сейчас в зале заседаний и озирался по сторонам, то и дело подталкивал указательным пальцем очки с толстыми стёклами на переносицу и взглядом, умолявшим о помощи, смотрел на выступавших.

Однако никто здесь его не жалел, да и никого не жалели. Выступающие метали громы и молнии.

— Прикрываясь фальшивыми речами о дружбе народов, вы годами сеяли вражду к моему народу, — бросил в лицо Кямрану Багирову поэт Вардан Акопян. — Годами подвергаете трудящихся области социальному гнёту и национальным гонениям. О какой дружбе речь, если на заседании бюро обкома завотделом ЦК компартии Азербайджана Асадов грозит, что в Карабах вторгнутся сто тысяч азербайджанцев и перебьют всё его население и что эти сто тысяч в полной готовности стоят на границе Карабаха в ожидании приказа? Ровно семьдесят лет назад точно так же нам угрожал одноглазый Султанов — мол, сто тысяч курдов и татар вторгнутся в Карабах, если карабахцы не согласятся наконец добровольно войти в состав только что созданного Азербайджана. Здесь присутствует первый секретарь Шушинского райкома партии Гаджиев, поинтересуйтесь у него, почему в городе разрушены шесть армянских кладбищ, почему изуродован памятник дважды Герою Советского Союза Нельсону Степаняну. Скажите, почему в день смерти нашего национального героя маршала Баграмяна на бакинских улицах устроили фейерверк, почему по этому поводу не было ни одной теле- или радиопередачи, почему об этом ни строчки не написали газеты. Не преследует ли антиармянская эта политика лишь одну цель — избавить Карабах, как в своё время Нахичеван, от присутствия армян? И не заключается ли наша вина только в том, что мы веками верны нашей древней земле и воде, нашему родному языку и нашей вере? Вы хотите второго Нахичевана? Не бывает этому!

— Всё это штучки Гейдара Алиева! — с яростью выкрикнул кто-то из последних рядов. Все обернулись назад; то был инструктор обкома Армен Ованнисян — с поседевшими волосами, худощавый, с искажённым и бледным от волнения лицом.

Выступил Разумовский, выступил и Демичев; их выступления были до того беспомощны и выдавали такую неосведомлённость в сути дела, что я на миг ужаснулся — вот эти и им подобные распоряжаются судьбами людей и народов — и с болью понял, что заварилась каша, которую придётся долго расхлёбывать, и что нас ожидают беды и бедствия.

Когда мы вышли из зала заседаний, площадь уже бурлила, десятки тысяч человек на коленях молили: «Ленин, партия, Горбачёв».

Четверо суток ночью и днём я слышал эту беспрестанную мольбу, адресованную каменному Ленину, глухой и немой партии и хамелеону Горбачёву.

— Принимать на веру Горбачёва значит ничего не понимать в его политике, — сказал Максим Ованнисян, человек немногословный, приятный и благородный, один из тех тринадцати апостолов, кто в далёком шестьдесят пятом подписал известное письмо в Москву о присоединения Нагорного Карабаха к Армении и перенёс из-за этой подписи массу

лишений. — Иной раз внимательно его слушаешь да так и не возьмёшь в толк, о чём же конкретно идёт речь. Уверен, он намеренно заведёт решение Карабахского вопроса в тупик, чтобы связать крах бессмысленной идеи о перестройке с этим движением и натравить на нас и власть, и прессу.

— Но ведь в ЦК пообещали нам помочь, — умиротворяюще сказал поэт Рачья Бегларян. Они с детским писателем Гургеном Габриэляном и Варданом Акопяном только что вернулись из Москвы и верили, что Карабахский вопрос непременно будет решён по справедливости. — Мы повели там обо всех несправедливостях, которые азербайджанское руководство последовательно совершает в области. Нам сказали, что наши требования вполне оправданны.

Из кабинета редактора «Советского Карабаха» открывался вид на взбаламученную площадь.

— Чтобы верить Москве, надо быть или невеждой, или бездумным оптимистом, — изложила своё мнение заведомо газеты Нвард Авакян. — Москва против наших справедливых требований, она сделает всё, чтобы развалить и опорочить это движение, потому что наше требование самоопределения фактически сводит на нет договоры между Россией и Турцией 1918–1920 годов, в том числе и предательский в отношении армян и в высшей степени несправедливый договор «О дружбе и братстве» от 16 марта 1921-го. Это как раз и позволяет понять суть заключённого в Севре договора. В конце концов, разве Москва ценила когда-то многовековую верность армян, чтобы вдруг оценить сейчас? Вы только посмотрите, на площади десятки тысяч человек, среди них есть и азербайджанцы, никто не говорит и не скажет им обидных слов, но во вчерашней передаче Москва всех обозвала экстремистами. Это что, справедливо?

— Вчера здесь у меня был сотрудник ленинградского журнала «Аврора» Александр Василевский, — сказал Максим Ованнисян, не отводя взгляда от многотысячной толпы на площади. — Он встретился с родным братом убитого под Аскераном Али Гаджиева — Арифом. Гаджиев утверждает, что его брата на самом деле убил милиционер-азербайджанец. Это произошло на глазах у товарища Арифа, Ульви Бахрамова. Между братом и милиционером вспыхнула ссора, милиционер вынул пистолет и выстрелил в грудь брату, которому было двадцать два года. Ульви говорит, что не знает этого милиционера, но агдамского милиционера, поспешившего увезти убийцу на машине, знает очень хорошо.

— У этого убийства лишь одна цель, — вмешался в разговор Гурген Габриэлян. — Попомните моё слово, в ответ на наши мирные демонстрации по телевидению сообщат, что армяне убили двух азербайджанцев. О десятках наших раненых, которыми забита областная больница, даже не упомянут, о наших разрушенных домах, разбитых взрывом автобусах и сожжённых машинах тоже не проронят ни слова, зато про убийство сообщат. Цель ясна — науськать два народа друг на друга, ну а потом довести это противостояние до межнациональных столкновений.

— А потом Баку и Москва начнут совместными усилиями выселять армян, — неожиданно-негаданно сказал учитель Вагаршак Габриэлян из села Колотак. Высокий и худой, перед этим он молча стоял в углу кабинета. — И нам придётся прибегнуть к самообороне, — твёрдо добавил он, немного подался вперёд и наклонил голову, испытующе глядя из-под бровей. — По-другому нам не спастись. Мы обязаны защитить свою землю. Я припомнил этот разговор через два дня, уже в Баку, когда направлялся с железнодорожного вокзала домой и таксист-азербайджанец сказал: «Вчера поздно вечером Москва передала, что в Степанакерте убиты два молодых азербайджанца».

Едва закрыв за собой дверь, я позвонил в Сумгаит родителям.

— У нас всё в порядке, — сказала мама. — Перед горсоветом толкуются человек сорок-пятьдесят, с балкона видно, но что говорят, не слышать. У вас что, митингов нет?

— Да нет, никаких перемен, спокойно, — сказал я.

— Когда приедешь? Я звонил им из Степанакерта, они знали, что дома меня не было. Я сказал, что только что приехал, на этой неделе не смогу, а вот на следующей обязательно приеду.

Никаких перемен не было и в редакции, всё то же самое.

— Видел главного? — спросила со смешком Лоранна. — Ступай, проведай. Я открыл дверь кабинета и остолбенел. С забинтованной головой главный выглядел комически.

— Что случилось?

— И не спрашивай, Лео, спасся от смерти. — Главный со смехом вышел из-за стола и шагнул мне навстречу. — Считаю, заново родился. Садись.

Главный сел на место, я — напротив. Глаз у него тоже был повреждён. Смотрел он словно бы не на меня, а куда-то поверх головы.

— Сажусь я в Евлахе на гадрутский автобус, — начал главный. — Тихо-мирно доезжаем до Агдама. Откуда ни возьмись, человек двадцать — двадцать пять подростков, совсем ещё сопляки. Принялись забрасывать нас камнями, машина, понятно, покорёжена, стёкла вдребезги. Правда, водитель оказался молодцом. Не тормозя, добавил газу, мы и проскочили. По всей дороге, пока не выехали из города, с обеих сторон стоят эти камнемётатели. Многие ранены, вот и я тоже, голова в двух местах пробита. Доехали до Мартуни. Голову мне в больнице перевязали, ничего страшного. А несколько человек в тяжёлом состоянии, их госпитализировали. Ты как добрался? Что-то сделал?

— Ну, я-то был в составе правительственной делегации, — засмеялся я. — Мы в дороге кофе попивали. Должен был повидать Рамиза Мехтиева, да какой уж там Мехтиев, что ты! Переполох, светопреставление...

— Правду сказать, я даже доволен, что стал таким красавцем, — тихонько произнёс главный.

— Почему? — не понял я.

— Зачем нас, по-твоему, послали в Карабах? Чтобы мы приехали и по телевидению вразумили будто бы помутившихся рассудком карабахцев, квалифицировали их движение как инспирированное экстремистами и националистами, то есть подтвердили антиармянскую резолюцию политбюро. Ну-ка скажи, могу я в таком виде выступать по телевидению? — с победной улыбкой завершил главный.

— По телевидению — нет, — засмеялся я, — зато по радио — вполне.

Главный испуганно взглянул на меня.

— Типун тебе на язык! Послушай лучше, что я тебе скажу. Ступай домой, выключи телефон, пока не разберёмся, что происходит. Если позвонят — скажу, ты ещё не приехал. Ночную передачу смотрел?

— Я ночью в поезде ехал...

— Выступил заместитель генерального прокурора Александр Катусев. Неужели стоило в такой взрывоопасный момент оглашать недостоверные сообщения о гибели двух этих молодых агдамцев? Да ещё называть их имена, фамилии, даты рождения. Ты не усматриваешь в этом умысла? Лично я усматриваю.

— Я тоже, — сказал я.

По совету главного я отправился домой. Рена, должно быть, ещё не пришла из института. Я отключил телефон. Подключил только в половине четвёртого, полагая, что она уже дома.

— Алло. — Трубку взяла Рена.

— Привет, Рен, — сказал я, волнуясь. — Это я. Как ты?

— Здравствуй, — не сразу ответила Рена. — Я только что зашла. Ты сдала зачёт? Послезавтра увидимся в институте. — Она торопливо положила трубку. Я улыбнулся Рениной изобретательности. Ясное дело, говорить она не могла. «Брат, видимо, стоит рядом», — подумал я. Не видел её несколько дней, страшно соскучился. «Послезавтра после занятий буду ждать тебя возле парка», — мысленно сказал я, вновь отключая телефон. Всякий раз, увидев у парка вблизи медицинского института машину, она на миг останавливалась, улыбалась, поспешно пересекала трамвайную линию и с чудной своей улыбкой на красивом лице лёгкой походкой приближалась. И всякий раз я ловил себя на том, что ужасно, до умопомрачения ревную её — вдруг там, в институте, кто-то положил на неё глаз, приударяет за ней; от этой мысли у меня слабели колени, сердце беспорядочно, быстро-быстро колотилось, дыхание замирало, кровь стыла в жилах... «Цавед танем» — её излюбленное словечко. В эти несколько дней я, наверное, миллион раз думал о ней. «Знала бы ты, как я тебя люблю, — снова и снова повторял я Рене мысленно, — день без тебя — всё равно что год».

По местному телевидению про Карабах даже не вспоминали. Разве что два бакинца-пенсионера — один инвалид войны Сергей Хачатуров и второй, бывший сотрудник газеты «Коммунист» Каро Аракелов, — перебивая друг друга, говорили о дружбе, рассказывали, как они счастливы, что живут в Азербайджане.

Пустили в эфир праздничный концерт, в котором певцы армяне исполняли азербайджанские песни, певцы азербайджанцы — армянские. Зейнал Ханларова спела шуточную песенку «Нуне»: «Нуне, Нуне, Нуне, о, стань любимой мне». Странное дело, на следующий день вечером опять передавали армянский концерт. Зейнал Ханларова снова заливалась той же песенкой. «Многие встречались мне, но люблю я лишь Нуне, увели мою Нуне, одиноко, грустно мне». Зачитавшись, я поздно лёг спать, а наутро проснулся от звонка в дверь. «Неужто снова Хейрулла? — мелькнуло в голове. — Если он, скажу, что только-только пришёл». К счастью, это был Сиявуш. Я с радостью открыл дверь.

— Старик, ну ты и соня.

— А который час? — удивился я.

— Первый час, вот который. Есть у тебя выпить?

— Чего ты надумал с утра пораньше? Коньяку выпьешь?

— Неси. Видел последний номер «Литературного Азербайджана»?

— Нет. А что там?

— Подборка моих стихов с посвящением тебе.

— Спасибо! Жаль, я не читал.

— Я взял для тебя экземпляр, принесу. Я приготовил кофе, поставил на стол початую бутылку коньяка.

— Одну рюмку, — сказал Сиявуш. — Больше не буду.

Мы выпили по одной.

— Старик, ты когда меня научишь кофе варить? У тебя всегда вкусный получается. В Ереване у писателя Ованеса Гукасяна дома тоже отменный кофе подавали. Варят в золе или в песке. Между прочим, я большой армянский цикл написал. Когда ездил на праздник переводчиков, был в Гарни, Гехарде, Звартноце. Впечатление потрясающее. Обо всём этом и написал. И о Комитасе задумал что-то вроде поэмы, не знаю только, получится ли. Послушай-ка, — что-то вспомнив, сказал Сиявуш. — У тебя что, телефон не работает?

— Работает. Просто я его отключил, чтобы не позвали выступать.

— Хотя бы мне сказал. А то я звоню, звоню... Весь вечер звонил. Видал, что сделал эта проститутка Катусев?

— Не видел, но слышал. Не надо было этого делать.

— На словах все люди одинаковы, различия между ними выявляют одни только поступки. На его совести, если только у такой бляди есть совесть, кровь невинных жертв.

— Каких жертв? — очнулся я.

— Говорят, в каком-то общежитии заваруха случилась, — уклончиво сказал Сиявуш. — Есть жертвы.

— Здесь, в Баку?

— Нет... В Сумгаите.

— Да что ты? — Я срочно включил телефон, набрал номер наших. Никто не отвечал. — Дома никого нет, — встревоженно сказал я. — Интересно, куда они пошли.

— Хочешь, съездим в Сумгаит? — внезапно предложил Сиявуш. — Есть у меня знакомый парень, Зульфугар Алиев, директор тамошнего музыкального училища, всё время приглашает.

— Поехали, — сказал я. — Слава богу, машина во дворе.

— Поедем не на твоей машине, — решительно сказал Сиявуш, встал, подошёл к телефону. — Подожди, надо позвонить. — Он набрал номер, немного подождал. — Айдин, это Сиявуш. Скажи, пожалуйста, можем мы ещё раз съездить в Сумгаит? Честно говоря, будь это возможно, я бы тебя не беспокоил. Спасибо. Улица Вагифа, 30. Отлично... Поедем на другой машине, — повернувшись ко мне, сообщил Сиявуш. — С минуты на минуту подъедет.

— Я знаю этого Айдина?

— Нет, мы познакомились недавно. Он написал книгу из жизни чекистов, я перевожу на русский. Выйти должна в Москве, стоит в тематическом плане, документальные рассказы и повесть. Он на высокой должности, но парень что надо.

Дожидаюсь Айдина, мы выпили ещё по чашке кофе. Услыхав с улицы автомобильный гудок, поняли, это он.

— Приехал. Пошли.

Высокий, смуглолицый, с приятными чертами лица, Айдин быстро вышел из машины нам навстречу, мы познакомились. Усаживаясь в машину, я заметил у Айдина слева повыше пояса пистолет. За городом, после Баладжары, сразу за Хрдаланом и вплоть дотуда, где от шоссе Баку—Ростов дорога сворачивает вправо, к Сумгаиту, стояли воинские подразделения, танки и бронемашины, грузовики с кузовами, покрытыми брезентом цвета хаки, в которых у правого и левого борта сидели солдаты.

— Что это они здесь? — поинтересовался я. — Учения, что ли?

— Лео, — неожиданно приобняв меня за плечо, сказал Сиявуш изменившимся голосом, и по его тону я понял, что он скажет сейчас нечто тяжёлое и жестокое, буквально нутром это почувствовал, и по телу пробежала холодная дрожь. — В Сумгаите творятся скверные дела.

— Что за скверные дела? — спросил я, не слыша собственного голоса.

— Там беспорядки. Есть жертвы. Но с твоими всё хорошо, — попытался утешить меня Сиявуш. — Я не мог тебя найти... Думал, ты тоже в Сумгаите, доехал на такси до Джейранбатана, но дальше нас не пропустили, гражданские машины разворачивают обратно. Нашёл Айдина, поехал с ним. Его машину не останавливают. Хотел привезти твоих в город, но твоя мама не согласилась...

— Где они сейчас? — До меня не доходило то, что говорил Сиявуш. — Ты заходил к нашим?

Прежде мы с Сиявушем бывали у наших дома, он знал, что родители живут у горкома.

— Заходил, но... все армяне сейчас в пансионатах, а часть — в горкоме и напротив горкома, в клубе каучукового завода...

Мы въехали в город. Тут и там бросались в глаза разбитые машины, многие были сожжены, некоторые всё ещё дымились, рядом — поваленные, совершенно чёрные автобусы, возле автостанции лежали перевернутые ларьки и киоски с выбитыми стёклами.

Поехали по улице Мира; некоторые дома тоже зияли разбитыми окнами. На улице валялись остатки сожжённой мебели, телевизоры, обгорелые и дымящиеся матрасы, детские вещи, холодильники, судя по всему, выкинутые с верхних этажей.

— Это что же здесь творилось? — едва слышно выговорил я, до глубины души потрясённый.

Одна за другой проезжали бронемшины.

— Ума не приложу, как такое могло случиться, — наконец произнёс Айдин. Всю дорогу он молчал. — Первобытное варварство в конце двадцатого века, просто поверить невозможно.

На перекрёстке улиц Мира и Дружбы стояли бронемшины, а в глубине дворов, я видел это, толпа жгла груды вещей.

Свернув вправо, мы проехали мимо центрального почтамта, пересекли трамвайную линию и оказались на площади возле горкома, окружённой сотнями солдат и десятком бронемашин. Въезжать сюда посторонним автомобилям было запрещено, но Айдина никто не задержал.

— Ты, Лео, зайди в горком, а мы скоро подойдём, — сказал Сиявуш, когда машина притормозила перед горкомом. Я вышел из машины, полагая, что родители, скорее всего, здесь, в горкоме.

Мне не хватало воздуха. Я вошёл внутрь и застыл у дверей; шум, гвалт, на полу, на каменной лестнице и на подоконниках расположились люди — раненые, избитые, сидя, полужёжа, полураздетые, многие в домашних шлёпанцах, кто-то босиком, в халатах и ночных рубашках, с окровавленными вздутыми лицами. Я долго простоял, оглушённый этим адом. Молоденькая девушка глухо рыдала, сотрясаясь всем телом. Медленно продвигаясь вперёд, я искал глазами своих. Кое-как пробираясь между сотнями людей, поднялся до четвёртого этажа. Но так и не нашёл их.

— Спуститесь на второй этаж, — посоветовала мне русская женщина с чёрными синяками на лице. — Там составлены списки, может, и найдёте по ним своих.

Кабинет первого секретаря горкома Джангира Муслимзаде тоже располагался на втором этаже. Приёмная была битком набита. Кто-то плакал, кто-то с трудом стоял на ногах — люди ждали очереди. Я тоже занял очередь. Милиционеры у дверей кабинета требовали тишины, грозились вывести тех, кто шумит, из приёмной. Когда дверь открывалась, был виден длинный стол, во главе которого сидел председатель совета министров Азербайджана Гасан Сеидов, я знал его в лицо. Были в кабинете и другие.

— Из роддома не выкинули ни одного ребёнка, — объяснял кому-то по телефону Сеидов, — это были детские игрушки.

Попробуй пойми, какое отношение имели к роддому игрушки...

— Я этот город этими вот руками строил, — немного погодя сказал стоявший перед Сеидовым мужчина лет пятидесяти. — С семнадцати годков работаю, а сейчас мне пятьдесят два, вот и посчитайте — сколько. Выходит, тридцать пять лет. Тридцать пять лет я для вас дома строил, и за всё за это у меня к вам одна только просьба. Хочу на своей машине в Ставрополь уехать, от зверья подальше, к людям. Вот и всё, помогите уехать.

— Ты что, не мужчина? — Сеидов повысил голос. — Не в состоянии уехать на своей машине? Надо быть мужчиной. В Сумгаите двадцать тысяч армян, я что же, всех по одному буду сопровождать? Никакой помощи не будет, езжайте, как хотите.

— Ты не министр, ты пастух с гор! — выкрикнул мужчина и свалился без сознания на пол. Два милиционера не мешкая вбежали в кабинет, вынесли его в приёмную, оттуда в коридор. Через минуту-другую он пришёл в себя, сел прямо на полу, прислонясь к стене, и, сдерживая рыдания, заплакал. Лицо было полностью истерзано, изуродовано, тёмные синяки кругами окружали веки, один глаз был почти не виден, лоб был рассечён в двух местах, на одежде и на голове чёрная засохшая кровь.

— Да это никак Бармен, — склонившись к нему и внимательно взглядевшись, удивился человек лет тридцати. — Точно, Бармен, Бармен Бедян. Мы работали вместе. Бармен, ты? — нагнувшись ещё ниже, спросил он.

— Я, кто ж ещё. — Бармен повернул на голос лицо в синяках; один глаз у него, скорее всего, не видел. — Это ты, что ли, Костя? — сказал он и разрыдался. — Видал, что с армянами сделали? — он покачал головой. — Нелюди, звери, дикие звери, хуже зверей. Что с нашим народом сотворили, трудовым многострадальным нашим народом — всех резали, как овец, бесчестили, отца, мать, сына, дочку. Иных заживо сожгли... Ты грузин, Костя, тебе-то, может, и не будет ничего, да жена у тебя армянка...

— Мне тоже худо, Бармен, погромы в городе продолжают, милиция заодно с бандитами грабит и режет, армия не вмешивается, приказа, мол, нет.

— Когда всех вырежут, тогда и приказ будет, — сказал кто-то. — Всё это заранее спланировано и сделано с позволения Москвы и Баку. Я вырвался кое-как из рук сброда, унёс ноги, вижу — милицейская машина. Обрадовался, когда остановилась, и бегом к ней. Протянул руку к дверце, а она с места сорвалась. А сосед наш Вагиф и сестра его Сабиргюль орут из окна первого этажа: «Хватайте его, прикончите».

— А меня милиция схватила и швырнула толпе, — сказал Бармен. — С первого этажа я увидел, как сборище забежало во двор. Под нашей квартирой у нас было подвальное помещение, туда ведёт дверца на полу. Я всех наших быстро спустил через эту дверцу, накрыл вход стареньким ковриком. И в этот момент, взломав входную дверь, ворвались они — человек десять-пятнадцать, и коршунами налетели на меня... Прижав к стене прихожей, меня бешено избивали, но я не издавал ни звука. Больше всего я боялся, что сын услышит мой голос, не выдержит, выйдет и попадёт в лапы этих зверей, этим самым поставит под угрозу жизнь остальных... Сжав зубы, я терпел и думал, что сейчас убьют. Я хотел только одного, что если убьют, то пусть это будет на улице, лишь бы наши ничего не услышали. Из-под страшных ударов этих извергов я кое-как вылез во двор и убежал, унеся за собой эту стаю... Избитый, глаз кровью заплыл, бежал, а толпа улюлюкает: «Хватай армяшку-труса, бей!» Два мента меня поймали и со смехом отдали толпе. Я, наверно, там ведро крови потерял. Извергам показалось — готов, оставили меня, ушли. Мне помогла, хоть и с опаской, одна русская бабка. Встал я, дотащился до больницы, сколько ни упрашивал медсестру, чтобы позволила позвонить нашим, узнать, живы они, нет ли, — ни в какую. Не дала... Всё организовано.

— Вот именно, всё организовано, — подтвердил грузин Костя. — Ещё двадцать первого февраля мой приятель по работе Ильхам Гумматов сказал, мол, в конце месяца против армян большая демонстрация пройдёт. Они заранее готовились, у нас на заводе по особому распоряжению изготовили ножи, топоры, металлические прутья, в микрорайоны

откуда-то привезли на самосвалах булжники, тоннами раздавали бензин. Водители-азербайджанцы, когда проезжали мимо толпы, трижды сигналили и протягивали из кабины руку, дескать, свои. Мало того, вечерами все азербайджанцы не должны были гасить у себя дома свет. Это не доказательство, что всё расписано? Первую жертву я видел, — продолжал Костя. — Я на площади стоял. Выступала второй секретарь горкома Малак Байрамова. Не надо, говорит, армян резать, пусть уходят, а дома и имущество вам останутся, только пусть они уберутся. А перед этим вылез один приезжий из Капана. Будто артист был, наподобие артиста наизусть шпарил. В Капана, говорит, армяне мать его убили и родителей жены, квартиры и всё, что у них было, отняли. Такой с продолговатым лицом, в чёрных очках, с маленькой бородкой, тоненькими усиками. В лайковом плаще. Потом, уже на следующий день, пришёл Муслимзаде. Снова выступал капанец, говорил то же самое. Разве что прибавил, мол, у азербайджанок было в Капана общежитие, туда будто бы ввалились армяне, насиловали женщин, вырезали у них груди. Под конец бросил клич: «Вышвырнем армян с азербайджанской земли! Слава Турции!» Турция-то тут при чём? Муслимзаде чуть ли не слово в слово повторил призывы Байрамовой, только добавил, что Горбачёв на стороне азербайджанцев. «Прошу вас как мусульманин, — говорит, — пожалуйста, разрешите армянам уйти из нашего города». Площадь ликовала, потому что раньше погромщики боялись властей, а тут ясно как день стало, что власть их поощряет и наказаний не последует. Ведь первый секретарь горкома не угрожает им, а наоборот, уговаривает. Оттого-то площадь и ликовала. Кто-то в толпе завопил: «Микаил Мехмед оглы Горбачёва эшг олсун!»¹¹ Не знаю, с какой стати Муслимзаде заговорил о резне пятнадцатого года. Дескать, во время всех русско-турецких войн армяне неизменно предавали турок, переходили на сторону русских, им помогало множество вооружённых отрядов. И за всё это, говорит, в пятнадцатом году их настигла заслуженная кара. Муслимзаде спустился с трибуны, взял азербайджанский флаг и пошёл во главе толпы. Как раз там, у выхода с площади, погиб первый армянин. Их было двое — парнишка лет восемнадцати-двадцати убежал в сторону четвёртого участка, к улице Нариманова, ну а пожилой остался лежать на земле.

Костя немного помолчал и заговорил снова:

— Того капанца я видел ещё раз. Оказалось, никакой он не капанец, а курд родом из Армении, директор средней школы, звать его Хыдыр Алоев. Погромщики во главе с ним громили ларьки, рушили магазины, врывались в дома, убивали армян. Я позвонил в горком. «Что делать?» — спрашиваю. Они решили, я армянин. «Уезжайте из города», — говорят. «Как уехать, — говорю, — помогите». — «Как хотите, — говорят, — так и уезжайте. И положите трубку, не отравляйте воздух». Свою семью я к товарищу отвёл, к Адилу Ализаде, у него дома пряталась ещё одна армянская семья. Позже про это то ли пронюхали, то ли просто заподозрили. Смотри, пригрозили Адилу, голову оторвём. Короче, мы с ним вооружились подручными средствами, пошли на завод взять отгул. Видим, у старой железнодорожной станции два сожжённых «Икаруса», сожжённый микроавтобус, а потом увидели «Жигули» — машина выгорела изнутри и снаружи, а в кабине сгорел человек. Чуть подальше — опять сгоревший «жигуль».

— Я своими глазами видел во дворе машину «скорой помощи», — сказал Бармен. — Семья собиралась бежать на ней, их схватили и сожгли. Машина, я видел, была вся чёрная, не разберёшь, «Москвич» или «Жигули», а внутри пять обгорелых трупов. Своими глазами видел.

— Возвращались мы с завода и зашли к знакомым, — продолжил Костя. — Одного зовут Игорь, другого Руслан. Руслан и говорит, что в клубе каучукового завода напротив горкома — эвакуационный пункт, всех армян туда ведут. Вчетвером привели мы в этот эвакупункт две семьи — мою и соседей Адилы. На обратном пути в первом микрорайоне видим — два солдата ведут к эвакупункту девочку. До смерти мне этого не забыть. Девчужке лет двенадцать или тринадцать, ноги и колени сплошь в крови, сознание в ней едва теплится. Один солдат ведёт её под руку, а следом, шагах в двадцати, бредёт женщина лет пятидесяти, истерически плачет, причитает и рвёт на себе волосы. В буквальном смысле рвёт, потому как те летят с неё клоками.

— Солдаты хватали погромщиков и сдавали милиции, — сказал Бармен, — а та их отпускала.

Кто-то слабо потянул меня за рукав, я мигом обернулся. Это был Сиявуш. «Пойдём», — позвал он взглядом. Я спустился за ним и на первом этаже увидел маму — жалкую, сразу постаревшую, с абсолютно седыми волосами. Вид у неё был измученный, отсутствующий, глаза покраснели. У меня пересохло во рту, ноги подкосились, и я не помню, как подошёл к маме, как обнял её. Маму трясло в моих руках, она уткнулась лицом мне в грудь и плакала, не в силах вымолвить ни слова. Мне не терпелось узнать об отце — где он?

— Папы нет, Лео, нету папы, — внезапно произнесла она с искаженным лицом сквозь рыдания. — Сгорел в машине, сожгли твоего папу... Папы нету, мы его похоронили... — Я прижал маму к груди и не смог сдержать слёз, горло перехватило удушьем. Мы долго стояли так, обнявшись, мать и сын. Наконец Сиявуш взял меня под руку и шепнул: «Будь мужчиной, Лео, ты должен поддержать мать».

Мы вышли из горкома.

Площадь по-прежнему была полна солдат и бронетехники.

¹¹ Слава Микаилу Мехмет оглы Горбачёву! (азерб.).

— Если можно, зайдёте на минутку домой, — тихо сказала мама, не подымая головы.

По распоряжению Айдина к нам приставили нескольких милиционеров. Сиявуш пошёл с нами. Все окна были разбиты, наш диван, на котором отец любил полежать с книгой в руках, обгорелый валялся во дворе. Здесь же были разбросаны книги и мебель, по большей части сожжённая. Мы поднялись в дом. Дверь выломали, всё внутри порушили, раскурочили. Там и сям — осколки посуды, с провода свисала разбитая люстра. Телевизора, маминой швейной машинки, магнитофона, напольного и настенного ковров ручной работы не было. Всё пропало.

— Что понаделали, — расплакалась мама. — Что мы тридцать лет наживали, за тридцать минут изничтожили, по ветру пустили. Книги сожгли, тетради сожгли. — Мама нагнулась и со слезами подняла с пола листок бумаги. — Гляди, отцовская рука, его почерк. Он же несколько тетрадей исписал, всё загубили, нету. Я взял у мамы листок. Это было стихотворение. При виде отцовской рукописи я снова прослезился. И затуманенными глазами прочёл отцовские стихи:

Эй, Кыгхнахач,
 мой рай земной,
 мой Кыгхнахач,
Мой дивный сон,
 мой детский смех,
 мой сладкий плач!
Трава шуршит,
 ручей бежит,
 пчела жужжит.
В земном раю,
 в родном краю
 так чудно жить.
Далёкий смех,
 звон бубенцов,
 собачий лай
Зовут меня:
 вернись, наш сын,
 в родимый край...

Я долго стоял и молча глотал слёзы. Меня душила судорога жестокой утраты и отчаяния. Листок со стихами я положил в карман; это всё, что осталось мне в память об отце. Я с горечью вспомнил фразу Армена про выпущенных из тюрем уголовников и его странный тост в ресторане: «Пусть люди не останутся без крыши над головой, и пусть не дано будет услышать плач и причитания по безвременным утратам».

— Пошли, — сказал я, обнимая маму за плечи. В дверях мы последний раз оглянулись на свой разрушенный очаг. Мама горестно покачала головой и, не в силах себя сдержать, опять расплакалась.

— Сиявуш, — сказал я, — спроси Айдина, нельзя ли заехать на кладбище.

— Конечно же, заедем, — сказал Сиявуш. — О чём вообще речь?

— Муж умер, стало быть, умерла моя половинка, — повторила мама сквозь плач. — Навестим его, очень может быть, что больше не получится.

Милиционеры доехали на своей машине до кладбища. Я упал на свежую могилу отца и горько заплакал. Мама всхлипывала, говорила, что теперь её жизнь потеряла смысл, упрекала отца, зачем он её не послушал и вышел из дому, если бы, говорила, послушался, может, и ему б удалось спастись.

— Ох, не послушал он меня, не послушал, — с неизменной горечью повторяла мама; она чуть-чуть успокоилась, когда машина выехала на трассу и понеслась к Баку. — Ведь видел же он, что творится на площади. Там толпа с флагами в руках орала: «Смерть армянам». Впереди всех шёл человек лет сорока — сорока пяти в сером пальто, что-то говорил, и все, в основном молодые парни, вопили следом: «Не отдадим Карабах», «Режьте армян», «Да здравствует Турция». Вопили, орала, потом закричали: «Ура!». А люди всё подходили и подходили — с заводов, фабрик, училищ; и женщины в толпе тоже были. Одна из них, артистка здешнего театра, это мы потом узнали, так вот, она заговорила, вернее сказать, исходила криком: наших там раздевают, орала, насилуют, убивают, а вы не мужчины, наших убивают, а вы тут отмалчиваетесь. Словом, заводили молодёжь, науськивали на нас, а я только и думаю: только бы сынок мой, мой Лео, не приехал из Баку, хоть он и говорил, что на этой неделе не приедет, я всё равно боялась — услышит и приедет. Словом, братец Сиявуш, людей прибывало и прибывало, а я мечусь в испуге туда-сюда. Вышла на балкон, а на другом балконе наша соседка азербайджанка стоит. Я спрашивают: «Это что такое, что стряслось?», а она в ответ: «Я и сама не пойму». И лица на ней нет, извелась вроде меня. В руках у них, у этих парней, что-то блестящее было, у всех одинаковое, одного размера, мы потом уж узнали — железные прутья толщиной примерно с палец, отточенные, сделанные по спецзаказу; железяки эти были почти у каждого. Шли они, размахивали прутьями и орала. Тот, что шёл впереди, вроде как их главарь, тоже был с прутком. Через десять-пятнадцать минут является муж. Едва вошёл, я говорю: «Боюсь я, убивать нас будут». Он и говорит: «Зря боишься. Это же пацаны из профтехучилищ, нечего тут бояться». Не стал обедать, взял книжку, лёг на диван. На тот самый, что во двор сбросили. В это время по телевизору передали, что в Карабахе, под

Аскераном, армяне убили двух азербайджанцев, одному двадцать два года, другому шестнадцать. Муж разнервничался, книжку в сторону. Сообразил, видно, что передача эта неспроста, не просто так. Мне не говорит ни слова, но я же вижу, побледнел. Совсем я потерялась. «Убьют нас», — говорю, а он знай твердит: «Ничего не будет, не бойся». После той передачи бабы на площади завизжали. Не знаю, что именно, муж окно закрыл. И ничего больше не было слышно. Позже всё вроде б утихомирилось, но заснуть я не могла. До трёх ночи стояла у окна, чего только не передумала. Телефоны были отключены, позвонить никуда не позвонишь. — Мама перевела дух. Сиявуш молча слушал, куря сигарету за сигаретой, выпуская дым в приспущенное боковое стекло. Я неотрывно думал об отце, прикрыв глаза, видел его — легковерного, с незлобивой улыбкой, — и сердце заходило от тоски и бессилия.

— Назавтра, братец Сиявуш, муж встал, выпил чаю и решил выйти. Я ему: «С ума сошёл, сиди дома». Не послушался. «Дело есть, — говорит, — надо съездить». — «Не будь упрямым, — говорю, — хоть один-единственный раз меня послушай, не выводи машину из гаража, не езжай на машине». А он говорит: «Запри дверь». И на лестнице тоже что-то сказал, то ли трусихой обозвал, то ли ещё что, не расслышала. И ушёл. Ушёл и ушёл. — Мама всхлипнула. — До часу дня было вроде бы тихо, соседка сказала, что вчера вечером многие дома разгромили, сейчас, мол, погромы продолжаются. Сказала, что на автостанции жгут машины. Я спрашиваю: «И нашу тоже?» — «Нет, нет, нет, — говорит, — одни только государственные, автобусы». Муж между тем не идёт и не идёт. Уже пять часов, уже шесть. Пробило семь, а его нету. Ну, думаю, убили. По городу горели шины, всё заволокло чёрным дымом, небо и то почернело. Стою на балконе, трясусь, дрожу всем телом. Господи, думаю, убили мужа, точно убили. Не помню, который был час, в доме напротив со второго этажа всё кряду в окно выбрасывают. А внизу всё поджигают. А милиция, человек десять, может, и больше, смотрят и посмеиваются. И странное дело. Все эти погромщики как на подбор одеты в чёрное. Вся одежда чёрная или тёмная. Может, для того, чтобы не обознаться, не перепутать своих с чужими. Или чтоб их воспринимали как чёрную, зловещую массу и нельзя было выделить и запомнить каждого по отдельности, не знаю. Швырнули вниз телевизор, он, как бомба, взорвался. Наша соседка с третьего этажа Ханум Исмаилова вышла на балкон и кричит: «Вы что творите, зачем вещи жжёте? Люди каждую копейку ради них сэкономили!» А снизу ей кричат: «Скажи-ка лучше, там у вас эти есть». Это они нас, армян, подразумевали. «Нет, нет, нету!» Соседка бегом ко мне, говорит: «Дай мне ключи, сама ступай к нам, если придут, скажу — квартира сестры, они, скажу, в гости ушли». Дала я ей ключи, пошла к ней. А тем временем во дворе у нас двух братьев убили, вместе. Лео знает их, Алик и Валера. Не выдержала я, спустилась во двор, вижу — соседский сын, азербайджанец. «Пойдём, — говорю, — сходим в гараж, поглядим, может, муж мёртвый там лежит». Не пустил он меня, пошёл сам, вернулся, говорит: «Нету там никого, гараж заперт. Алика, — говорит, — убили, а Валера хрипит». Хорошие были мальчики, без отца выросли. Хотел он подойти, Валере помочь, они дружили, да те не пустили. А милиция смотрит и гогочет. Я поднялась к Ханум. А тут головорезы ввалились в наш подъезд. Жила у нас в подъезде Лена Аванесян, дверь у неё вышибли, слышим, как посуду бьют, вопли, крики, точно весь дом ходуном ходит. Лену и мужа её, Сашика, выволокли на улицу, били дубинками, железными теми прутьями. Потом слышим, этажом ниже погром, девушка Ира, у неё день рождения был, вся растрёпанная, страшная, выскакивает на балкон с ножом в руке. «Не подходи, — кричит кому-то, — не подходи!». А народ стоит, как ни в чём не бывало, смотрит, будто кино какое, и никто из мужиков не скажет: «Вы что делаете, поимейте совесть, не звери же вы». Потом узнали, что Иру и двух её сестёр человек двадцать изнасиловали, вытащили голых на улицу. Гости у них были из Баку, не смогли вернуться, потому что автостанция уже не работала. Гостью, Аиду, тоже изнасиловали, пырнули ножом в живот, отрезали ступни, вырвали с мясом уши. И всё это на глазах у отца, и среди них были мужчины лет по пятьдесят, и в том числе директор двадцать пятой школы Хыдыр Алоев. Отца Аиды не убили, сказали: «С него и этого хватит, пускай мучается». Остальных спасли военные. Один солдатик, увидав, в каком люди состоянии, упал в обморок. — Мама заплакала. У меня тоже текли слёзы бессилия и жалости.

— Больше не рассказывай, мам, хватит, — попросил я. Но она меня не услышала и продолжила:

— Храни Бог Ханумку, Ханум Исмаилову. Из сорок шестой квартиры. Соседи, здоровенные мужики, на помощь не пришли, не помогли. А вот одинокая женщина тридцати пяти лет готова была собой пожертвовать, лишь бы спасти нас. С неё тоже золотую вещицу сняли, обручальное кольцо. Ударили несколько раз. И ножом угрожали. Мы это слышали. Ну а Аванесянов и Григорянов она спрятала в сорок первой квартире на втором этаже, в квартире Светы Мамедовой. Светы в тот день дома не было, с мужем они в Ленкорань на похороны уехали, а ключ оставила Ханумке, чтобы та цветы полила, ну, Ханумка и воспользовалась. Избитых армян из квартир и со двора к себе вводила с риском для жизни. Сколько раз бандиты приходили, один ударил Ханумку по лицу, да не на ту напали. Ханумка надрезала жилу, крови хотите, говорит, вот она, моя кровь. Ещё ей Игорь Агаев помог, Лео знает его, в одной школе учились. А Габриэлянов спас начальник одной из их дочек, Мамедов, увёл их в клуб. Уршан Мамедов, он из Ленкорани. А перед тем их, изнасилованных зверски, в своих квартирах соседи укрыли — Кярамов, Салима и Сабир. А вот во втором доме Мелкумянов никто не защитил, шесть душ, один-то гость, убили, да как убили, как истязали: бросили живыми в огонь, их сын Эдик, славный, добрый мальчик, хотел было вылезть из огня, так его железными прутьями снова туда затолкали. Его сестру Ирину, настоящую красавицу, здесь рядом, в аптеке работала, её тоже сожгли. Бедная девочка по балконам

перебралась к соседям, а те — Севиль и два её сына, малолетки, выпихнули её из квартиры, бросили в пасть этим волкам озверелым. А брат этой Севили кричал с балкона: «Избить её мало, прикончите, сожгите!» Растерзали бедняжку, живьём бросили в огонь, зажарили, сожрали. До этого они оказывали сопротивление теми предметами, что было у них дома — торором, ножом, ножками от стульев, когда свора зверей в пятнадцать-двадцать человек, взломала дверь и ворвалась внутрь. И какое только безобразие не сотворили они с ними. Чудом спасая их невестка Каринэ, плача, рассказывала в клубе, этот проклятый Хыдыр Алоев, говорила, крутя в руках заточенным металлическим прутком, сказал её свекрови Раисе: „Одного из твоих сыновей дарю тебе, выбирай, кого будем убивать,.. Невестка говорит, свекровь бледная, язык отнялся, как рыба из воды-рот открывался, закрывался, а голоса не было слышно. По его указке, прямо перед глазами матери, нанесли несколько ударов ножом истерзанных сыновей. Потерявшую сознание мать и остальных, избивая, выволкли во двор, сверху, окаменев, мы видели все это, вся семья лежала во дворе в нескольких метрах друг от друга, и отребье десяти — двенадцати лет безжалостно избивали их лопатами и заточенными прутьями, пока тех бросили в огонь. Шесть человек из одной семьи, а соседи глядят из окон и с балконов, смеются себе. Так оно было. Мы все это, как было, из за шторы видели. Тот Хыдыр Алоев, из двадцать пятой школы, вышел на их балкон и оттуда, как Ленин, рука вперед орал: „Гырын,гырын,,!»¹² Такой вот директор, учитель. Зато соседи из дома напротив, из двенадцатизатжки, спустились вниз и не пустили погромщиков к себе в подъезд. И две армянские семьи тем самым спасли. Одна молодая азербайджанка, не знаю, как её звать, из соседних домов так же себя повела. Сперва из окна погромщиков обругала, потом спустилась, встала в дверях подъезда и говорит: «Вы сюда только через мой труп войдёте». А в том подъезде тоже две армянские семьи жили. Спасибо тебе, незнакомая девушка, и тебе, Ханум, спасибо, мы вам жизнью обязаны. Ханум с нами до последнего сидела, всех спасла, накормила, в эвакупункт отправила. Ну а до этого и нашу квартиру подожгли, все книги, две тысячи штук, во дворе сожгли. У них были списки армян, по этим спискам они и ломались в наши квартиры. Видели бы вы, как убили Эмму Григорян, как измывались над ней. Шестьдесят лет ей, раздели догола, бьют в спину, во двор гонят, а она руками груди прикрывает. Уборщица была, чем она провинилась? А Герсия Мовсесова! Боже мой, боже, что с бедной женщиной сделали! К родственникам из Баку в гости приехала, старуха, восемьдесят шесть лет. Врач в больнице у неё на теле тридцать шесть ножевых ударов насчитал. Зверь зверю такое сделает? Зверь-то не сделает, а человек сделал. Советский человек.

Мама умолкла. Сиявуш обернулся, взял меня за руку — дескать, мужайся. В его глазах я заметил слёзы.

— Бог создал человека по Своему образу, — заговорила мама. — Получается, когда они убивают людей и бессовестно режут их, они убивают и режут Бога. Это как?

Помолчав, она продолжила; говорила тяжело, словно бы сама с собой:

— Странное дело, все убитые и пострадавшие — армяне. Одни только армяне — либо те, кто наподобие нас приехал сюда по вербовке, либо невинные их дети. Что это такое, мне непонятно. В семь утра пришли в клуб три милиционера с медсестрой из больницы скорой помощи. Сколько лет я в этой больнице работала, сестру привели, чтоб отыскала меня среди пяти тысяч душ. В клубе на четыреста человек, вы сами видели, пять тысяч — старые, малые, избитые, раненные, лежат вповалку — на полу, на скамьях и под скамьями. Ни воды нету, ни света, антисанитария страшная. Три ряда солдат с танками нас защищают, чтобы погромщики не ворвались. Ну, это вы тоже видели. Увезли меня в больницу. По дороге вижу, разрушенное жильё спешно ремонтируют. Привезли меня в больницу, я и поняла сразу, что нету больше моего мужа. «Сара-баджи, — спрашиваю медсестру, — муж мой среди мёртвых?» — «Нет, — мотает головой, — что ты такое говоришь?» Она мужа знала, конечно, сколько раз он помогал больнице ремонтировать. Обращаюсь к главврачу: «Скажи, доктор, очень тебя прошу, муж мой мёртв?» — «Что ты, — говорит, — завелась, мёртвый да мёртвый». — «Умоляю, — говорю, — скажи правду». Он и сказал. Заплакала я, запричитала, закричала прямо у него в кабинете. Он и говорит: «Ступай, отдохни немного». Потом отвели меня в морг. Там сожжённые были, женщины среди них и один ребёнок. Ему лет, наверно, десять было, ребёнку этому. Я как увидела всё это — будто с ума сошла. Не могу, говорю, глядеть, сил моих нету. Следовательно спрашивает: «Есть у вашего мужа особые приметы?» Говорю, нет у него половины большого пальца на руке. На работе покалечился. Дайте, говорю, одежду, или обувь, или носки, я узнаю. Принесли рукав от рубашки и свитер, который на нём был... обгоревший вконец... Я, как увидела, запричитала: вай, звери, сожгли. Кричала я, плакала, не помню, на пол ли упала, сидела ли... Следовательно и говорит: «Ну ладно, ладно, значит, опознали, да и большой палец руки обрублен». А главврач говорит, мол, надо бы пораньше похоронить, ещё не известно, что дальше будет. Я говорю: как же так, сына здесь нет, одна дочка в Чаренцаване, другая в Ставрополе, как же так? У него сёстры есть, брат, отец с матерью. В общем, такого заслуженного человека без всяких почестей схоронили. Боялись, и на кладбище тоже могут напасть, схоронили по-быстрому, врач очень помог, храни Бог его деток. И вас тоже Бог храни, в такой тяжкий день дважды сюда приехали, сына моего поддержали. До земли вам кланяюсь.

— А дядя Аббас не появился? — спросил я после долгого молчания.

¹² Гырын, гырын! — Режьте, режьте! (азерб.)

— Дядя Аббас в больнице лежит, в реанимации. В первый же вечер у ресторана «Бахар» толпа напала на троллейбус, требовала, чтоб армяне вышли. Он ввязался в драку, защищал армян, его несколько раз железным прутом ударили, два дня в сознание не приходил. И руку тоже сломали. Да разве б он отца твоего бросил одного? Так вот оно — хорошие страдают, мерзавцы пользуются. Бог слепой, не видит, кто да что, чтобы людям по делам их воздать, хорошим — хорошее, плохим — плохое. Да мы-то видим, что ровно наоборот Он делает.

— Прими мои соболезнования, Лео, — сказал на прощание Сиявуш. — И знай, что это чудовищное злодеяние совершил не азербайджанский народ, а азербайджанская партийно-правительственная мафия с опорой на отребье. За спиной у этой националистической партийной мафии — центральная мафия, всесоюзная. Судя по всем признакам, эта резня тщательно спланирована. — Сиявуш тяжело вздохнул. — Именно так, мафия организовала геноцид с благословения кремлёвских противников перестройки и гласности. Москва не решит Карабахский вопрос, — продолжал Сиявуш, — Кремль создаёт точки межнационального напряжения не во имя и не против какой-либо республики, а чтобы сохранить империю. И знаешь, Лео, что для нас ужасней всего? — снова вздохнул он. — Не знаю, думал ли ты над этим, а я думал, и много. Для нас ужасней всего то, что на волне националистических и шовинистических настроений придёт новое поколение и не узнает, не узнает никогда, что прежде них были люди, и немало людей, для которых не существовало рода-племени, национальности и всякого такого, они были выше этого, новое поколение не узнает, как мы были спаяны друг с другом и как друг друга любили. Вот что страшней всего. — Он поглядел на меня с сочувствием и грустью. — Прошу тебя, ещё раз прими мои соболезнования. Я тебе позвоню.

Мама не хотела оставаться в Баку.

— Нет, я тут не останусь, не могу, — сказала она. — Отправь меня к сёстрам, в Ставрополь или Чаренцаван. А Сумгаит для меня больше не существует.

Я попытался дозвониться до Чаренцавана, ничего не получилось. Зато со Ставрополем связался без каких-либо помех. Сестра долго плакала, мне никак не удавалось утешить её. Наконец я передал трубку маме. Поначалу она говорила спокойно, а дальше не выдержала, принялась плакать и, плача и всхлипывая, поведала о трагической кончине отца. «Нет у меня больше жизни, — причитала она. — Раз отца вашего нет, и мне жить ни к чему». В конце концов я дозвонился и до Чаренцавана, но довольно поздно, чуть ли не в двенадцать ночи.

Утром позвонил главный, выразил соболезнование, сказал, что до крайности расстроен. А позже поинтересовался, не направляюсь ли я куда-нибудь.

— Да нет, я дома.

Он пришёл с Лоранной и Ариной. Вид у всех троих был подавленный. Главный был уже без повязки, под глазом красовался крупный отёк. Обнял меня, чуть изменившимся голосом сказал: «Крепись». Лоранна слабо пожала мне руку, тихо сказала: «Соболезную», тогда как Арина стояла с растерянным видом в прихожей и смотрела перед собой, будто не решаясь пройти в комнату.

— Проходи, Арина, что ты встала, — сказал я, пытаюсь улыбнуться, и протянул ей руку. Она пожала её своими холодными пальчиками и шагнула в комнату. В её чёрных искрящихся глазах блестели слёзы, и я всем сердцем ощутил её самое глубокое сочувствие и стремление разделить моё горе. Может быть, оттого, что Арина в раннем детстве лишилась матери и знала, каково это — терять родителя.

Они выразили соболезнование маме.

— Для меня Сумгаита больше не существует, — повторила мама. — Этот город осквернён кровью армян. Кровью безвинных людей.

— Неужели всё это было организовано? — просто так спросил главный.

— Ещё как организовано, — спокойно сказала мама. — Взбудоражили народ обманными слухами, вывели его на улицы. Само собой, организовано. Заранее всё спланировали, а мы и не подозревали. Всех армян отправляли с работы по домам. А для чего? Зачем отключили телефоны? Откуда взялись у погромщиков списки армян? Почему милиция и скорая помощь не отзывались на наши вызовы? Бронемашины кружили по городу, в ста метрах от них убивали людей, а военные не вмешивались, приказа, видите ли, не было. С чего б это? Наверно, проведут следствие, выяснят правду, так это не останется...

— Всё-таки тяжело, страшно тяжело, что у нас в стране, где дружбу народов возвели в ранг абсолютной святыни, человека можно среди бела дня убить за то, что он другой национальности, — со вздохом сказал главный. — Сумгаит отбросил нас на тысячу лет от цивилизации к дикости.

— Тысячу лет назад людей поджаривали, пожарили? — наивно спросила мама, и главный не нашёлся с ответом.

— По крайней мере были среди азербайджанцев такие, кто сочувствовал? — спросила Лоранна. — Помогали хоть чем-то?

— Были, конечно, были, помогали, — ответила мама. — Лезгины, талиши очень даже помогали. Не то сколько б ещё народу погибло, страх. И всё же мало было таких. Основная-то масса была на стороне погромщиков, убивала с ними и

грабила либо стояла на своих балконах и в окнах, для них это вроде как бесплатный театр был, смотрели, как жгут людей. Господь, Он должен был вложить совесть в человека-зверя, а бедолаге она к чему? Как это Господь смотрит на такие ужасы и терпит? Эх, а может, и впрямь Его нету, может, и это враньё... Ой, чего это я расселась...

Мама кинулась на кухню, накрыла на стол. Лоранна с Ариной тут же взялись ей помогать.

— Держись, брат, это жизнь, — сказал главный. — Все наши хотели прийти — Миша Гаджиян, Нора, Мнацакан, Боджикян, Ахумян, Юрий Погосян, остальные... Но я решил, это неудобно... — Он помолчал. — Я ведь тоже сызмала родителя потерял. Эх, сколько лет уже прошло, никак не позабуду. Родителей не позабудешь.

Мы долго молчали вдвоём, и главный сказал:

— Твоя мать, Лео, надеется, что проведут следствие, докапаются до правды. Она верит, что так и будет. А вот я не верю. Не будет этого. Есть в Дашкесанском районе село Бананц, в нём две тысячи жителей. Решили там поставить памятник односельчанам, погибшим на Великой Отечественной войне. Там погибло больше народу, чем во всех азербайджанских деревнях района, вместе взятых. Короче, памятник уничтожили за одну ночь, и возглавляли это безобразие руководство района и первый замминистра культуры Теймур Сулейманович Алиев. Кто-то понёс ответственность за снесённый памятник? Наоборот, на этой почве произошла драка, и десятки молодых армян бросили в тюрьму. То же случилось и в моём родном Шамхорском районе, в селе Чардахлу с его двухтысячелетней историей, где живёт свыше трёх тысяч армян. Том самом селе, которое дало двух маршалов — Баграмяна и Бабаджаняна, десятки генералов и героев Советского Союза. Из тысячи двухсот пятидесяти его жителей, ушедших на войну, четыреста пятьдесят два человека не вернулись. Кто за это ответил? Никто. Первый секретарь райкома Асадов стал Героем Соцтруда и пошёл на повышение. Сейчас он заведует отделом в ЦК и грозит Карабаху карами. Ходят слухи, будто на днях его назначат министром внутренних дел. Что ни год — у Шаумянского района урезают земельные угодья и передают азербайджанским районам, нанося тем самым сокрушительный удар по экономике армянских хозяйств. Родине адмирала флота Исакова, троих Героев Советского Союза селу Геташену, которое в целом отправило на фронт более полутора тысяч своих сыновей, из которых больше половины не вернулись домой, принадлежало много равнинных земель, а на них — деревня Чалаберд, я бывал там раза два — райские места. Недавно её самоуправно присоединили к району Касума Исмаилинского. Кого призвали к ответу за самоуправство? Снова никого. Всю правду о сумгаитской резне не раскроют никогда. Чтобы прояснить истину, нужно первым делом понять, кому на руку эта резня. В Сумгаите случился настоящий геноцид — тяжелейшее преступление против человечности. Но за этим кроется, Лео, кое-что ещё, не менее страшное. Мне кажется, перед нами только видимая часть исполинского айсберга, политическая часть — внушить армянам ужас, сковать их волю перспективой новых кровавых злодеяний, вынудить армянский народ отступить от Карабахского движения. Но, повторяю, это только видимая часть айсберга.

Главный многозначительно улыбнулся.

— А вот что имеется на невидимой его части. На мой взгляд, запомни, это акция, заранее подготовленная Горбачёвым и его окружением, Лигачёвым, Крючковым, Язовым, Пуго, Шаталиным и прочими лужьяновыми. Дальнейшие события, не сомневаюсь, это лишь подтвердят. В сущности, Карабах — удобное яблоко раздора, чтобы столкнуть лбами два соседних народа. В пятом году точно таким же способом действовал Николай Второй. Ничего удивительного в этом нет. В одном из своих писем Левон Шант отмечает, что в политике сплетаются ложь, обман, мошенничество. Так оно и есть. Политика — грязная штука, политики — люди без стыда и совести. Сталин — революционный деятель и при этом агент царской и турецкой охранки, под именем Бериашвили, два года тайно жил в Турции. Берия — из активнейших членов партии «Мусават», участвовал в расстреле двадцати шести бакинских комиссаров в Ахча-Куйме. Москва прекрасно всё это знала — и ничего. Словом, очень возможно, что Горбачёв под покровительством своих отнюдь не бескорыстных западных хозяев, особенно американских, преследует дальнюю цель — разрушить и расчленить могущественную советскую державу. Ты с этой точкой зрения не согласен? Два месяца назад сюда прибыла из Москвы следственная группа, возглавляемая помощником Генерального прокурора по особым поручениям Аслахановым, чтобы разобраться в деятельности Гейдара Алиева: массовые приписки, необоснованные тюремные заключения, убийства, в том числе и первого секретаря Кюрдамирского райкома Мамедова, многообразные государственного масштаба фальсификации, вопиющего уровня коррупция и прочее. Понятно, дело касается периода, когда Алиев руководил Азербайджанской компартией, был руководителем республики. Три гостиницы — «Азербайджан», «Апшерон», «Южная» — заполнены московскими следователями. Словом, азербайджанская разновидность узбекской следственной группы Гдляна и Иванова. Впрочем, если в Узбекистане хищения исчислялись миллионами, то здесь речь идёт о миллиардах. Десятками, если не сотнями полетят головы, и какие головы! Тюремны набьют теми, кто долгие годы безнаказанно грабил республику, да и сейчас продолжает грабить. А не организовано ли всё это, чтобы сорвать, провалить расследование событий в Сумгаите? На митингах уже звучат категорические требования — немедленно удалить из Азербайджана группы следователей, поскольку их присутствие, видите ли, дезорганизует обстановку в республике. Здорово, а? Другая точка зрения. Ты ведь знаешь, Гейдар Алиев не из тех, кто способен простить виновников своего политического поражения. И в этом ряду Горбачёв — его враг номер один. Потому как именно Горбачёв с позором изгнал его из

политбюро, вследствие чего Алиев перенёс тяжёлый инфаркт. Именно подвластная Горбачёву союзная пресса, включая «Правду», не раз писала, будто в сорок первом году лишь из-за поддельных справок о болезни Алиев избежал фронта. Простит Алиев такое? Да никогда! Вместе с единомышленниками в госбезопасности он и организовал эти беспорядки — во-первых, чтобы скинуть Горбачёва, ну а во-вторых, чтобы проложить себе дорогу к возвращению во власть. Я слышал от верных людей, они утверждают — ещё до событий в Сумгаите три члена правления народного фронта, Эльчибей, Неймат Панахов и Этибар Мамедов, отправились в Москву для встречи с Алиевым. Учти, без его ведома ничего не делается, всё это устроено для того, чтоб он вернулся. И он ещё вернётся в Баку, Лео, помни моё слово, вернётся, и триумфальное его возвращение начнётся с родного Нахичевана.

Сослуживцы пробыли у меня довольно долго. Я вышел проводить их, Лоранна тихонько сказала:

— Приходила Рена, спрашивала тебя. Твой телефон, говорит, не отвечает. У тебя что, телефон не работает?

— Уже работает, — ответил я.

— Я сказала ей, что твой отец убит. Узнала это от Сиявуша. Рена сильно побледнела, Лео, смотрела на меня как-то рассеянно, словно ничего не понимает.

— Она плакала?

— Да... откуда ты узнал?

— У меня душа болела.

Лоранна взглянула на меня, покачала головой.

— Не представляю, что с вами после всего этого станется.

Мы помолчали.

— Прости, Лео, я предчувствую, что тебе предстоят очень и очень трудные дни, — наконец нарушила затянувшуюся паузу Лоранна; голос её был полон отчаяния. — Я готова низко поклониться тебе за эти неизбежные муки.

— Послушай, Лоранна, — почему-то рассердился я, — ты не старец Зосима и я не Митя Карамазов.

— А как насчёт Сонечки Мармеладовой? — кокетливо спросила она.

— И не Сонечка Мармеладова.

— Но ведь она же предчувствовала трагедию Раскольникова.

— Сонечка была человеком не от мира сего, иначе не отправилась бы добровольно в Сибирь, чтобы долгих восемь лет делить с Раскольниковым его муки.

— Увы, мне не выпало разделить с тобой твои муки, — с горечью взглянула на меня Лоранна. — Но ты знаешь, я готова с величайшей радостью помочь тебе. Вот почему мне бы хотелось — я хорошо тебя знаю, понимаю, что говорю вещи совершенно несбыточные, — но, повторяю, мне бы хотелось, чтобы ты оставил свою азербайджанку. Ты ведь и сам видишь, какая пропасть образуется между двумя нашими народами, как день ото дня и час за часом накаляется атмосфера. Неужели тебе так трудно её оставить? — Лоранна посмотрела мне прямо в глаза.

— Оставить трудно, забыть невозможно. Ромео сказал бы: любимая моя столь совершенна, путь укажи, как мне забыть её.

Наморщив лоб, Лоранна не то грустно, не то снисходительно смотрела мне в глаза. Вообще-то взгляд у неё был довольно странный — она щурилась так, словно читает в твоих глазах строку, набранную мелко-мелко, петитом. С минуту она колебалась, точно взвешивала свои слова, и сказала с безоглядной нежностью:

— Как указать мне путь тебе, любимый? Разве ты не видишь организованный характер и цель того, что творится? Раскручивая интригу, нас подталкивают к войне. Ты армянин, она азербайджанка, ваша любовь обречена, какой же путь указать тебе, Лео?.. Да, она изумительна и ослепительна, да, красота у неё редкостна, и, глядя на неё, поневоле теряешься. Потому-то я и понимаю, что тоска по ней будет изнутри жечь тебя всю жизнь. И тем не менее, оставь её, Лео, послушай меня, оставь. Разве нет других девушек?

— Нет, других нет, — сказал я с непрекаемой твёрдостью. — Помимо неё, для меня никого не существует. Ванга полагает — что написано у нас на роду, то и случится. В Священном Писании что сказано? Человек предполагает, а Бог располагает. Господь милостив.

— Милостив, да не к нам.

— Не греши, Лоранна, и не распаляй сердце. Верь, по воле Божьей, раз и навсегда совершено всё самое лучшее и самое доброе. Бог велик в божественной Своей силе и благословен ныне, присно и во веки веков. Божья слава велика.

— Божья слава велика, яма на пути глубока.

— Снова грессишь. Бог поистине всемогущ.

— Бог поистине всемогущ... Господи, да придет царствие Твоё, — пробормотала Лоранна и добавила с каким-то злорадным отчаянием: — «Глас в Рае слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Если Бог и вправду всемогущ, отчего же не истребит окончательно горе и печаль, Он же в состоянии сделать это. Почему не сделал этого до сих пор и не делает сейчас? Он могущественнее Бога.

— Кто?

— Зверь, — сказала Лоранна. — Человек-зверь. Зверь-людоед — окровавленная пасть, который за тысячелетия кое-как стал убийцей и, руки в крови, тяжко бредёт по долгому пути, ведущему его к человеку. Путь очень далёк и долог, — подытожила она. — Не знаю, как вы, а я здесь не останусь.

Рена была дома, но, по всей видимости, снова не одна. Говорила негромко, словно бы прикрывала рукой мембрану.

— Это я, Рена.

— Здравствуй, — глуховатым угасающим голосом откликнулась она. — Твой телефон не работал, я звонила... Звонила много раз... Я соболезную тебе... Я очень хочу тебя видеть... Ты слышишь? — до предела понизив голос, сказала Рена. — Я люблю тебя, люблю сильнее прежнего... Я жить без тебя не могу...

Почти то же самое она сказала в редакции, со слезами на глазах признавшись, что повсюду — дома, на улице, на занятиях в институте, в транспорте — непрестанно думала обо мне.

— Человеческое сердце делает за день сто тысяч ударов, — сказала она после паузы. — Сто тысяч раз на дню моё сердце бьётся для тебя, Лео... Я боюсь тебя потерять.

Я всего лишь улыбнулся в ответ; что, собственно, мог я сказать? Ничего. Почти ничего.

— Было бы возможно, мы б улетели на другую планету, зажили бы на другой планете, — сказала Рена, плача и улыбаясь одновременно. — Все против того, чтоб я любила тебя, никто не понимает, как сильно я тебя люблю и как я страдаю, не понимают, что запреты лишь усиливают любовь. Весь белый свет против, а я ничего не могу с собой поделать, это выше моих сил, никто не может этого понять. Никто не хочет понять. — Прозрачная её слеза скользнула по щеке. И снова после паузы:

— Известно ли тебе, что Шекспир ничего не выдумал? Ромео и Джульетта существовали. История их любви — это подлинная история. В Вероне до сих пор сохранился балкон Джульетты, тысячи туристов приезжают со всех концов света взглянуть на него. И то, что их родители принадлежали к двум враждующим кланам, между которыми пролегла стародавняя ненависть, озлобленность, вспыхивавшая после любой искры, — тоже было. — Слёзы затуманили ей глаза, и она в отчаянии закончила: — Ничего не изменилось!.. Ничего не изменяется!..

И в другой раз:

— Отчего ж это так, Лео? Теперь я смотрю на жизнь как-то по-другому. Прежде я на подобные вещи не обращала внимания. На нашем курсе многие уже знают, где будут работать после института: один — заведующим отделением, другой — главврачом, третий — заместителем министра здравоохранения. Родители занимают высокие посты в ЦК и Совете министров, а сами они целыми днями прогуливают занятия, и преподаватели даже сделать им замечание боятся. Недавно прочла я книгу Айтматова «Белый пароход». Там юный герой бросается в реку, потому что его легкоранимая, не привыкшая к грязи и злу детская душа не способна противостоять окружающей лжи, лицемерию и несправедливости. В самом деле, почему так?

Рена посмотрела на меня, но ответа не ждала.

— Придёт время, все люди станут братьями, — сказала она с горькой улыбкой. — Язык, вера, цвет кожи, предрассудки, которые столетиями сковывали людей, — всё это не будет иметь значения... Но когда, когда ж это будет, Лео, когда настанет золотой век? Неужели тогда, когда нас уже не будет?

Поддавшись маминым уговорам, я поездом отправил её к сестре в Ставрополь.

Сеял мелкий дождик, в сероватых сумерках едва виднелись тусклые огни привокзальных домов и первые этажи туристской гостиницы, в одиночестве стоявшей на холме за вокзалом. До отправления поезда оставалось минуты две, и мама, неожиданно-негаданно для меня, заговорила о Рене. После убийства отца она никогда не затевала этого разговора, ни разу не упоминала её имени.

— Так я и не повидала Рену, — с искренним сожалением сказала она, грустно покачивая головой. — Папа очень хотел её увидеть... Должно быть, ему неудобно было тебе сказать, всё меня заставлял с тобой поговорить, чтобы ты привёз её в Сумгаит. А как узнал, что восьмого марта вы приедете, обрадовался, разволновался, как дитё... Да, всё поменялось, только и осталось, что в сердце...

— Рена тоже очень волновалась, — после короткого молчания сказал я, и, хотя кроме как Лоранне никогда и никому не рассказывал о своей всепоглощающей любви, мне вдруг ужасно захотелось поговорить об этом с мамой, больше того, эта мысль доставила мне несказанное удовольствие, я и сам поразился, откуда взялось у меня непонятное трогательное чувство этакой бодрящей сентиментальности. — Папе она б очень понравилась, — с нежностью шепнул я, — и ты, мама, тоже бы полюбила её, ведь она такая хорошенькая...

Мама искоса взглянула на меня и улыбнулась сквозь слёзы.

— По фото видно, сынок. По фото видно.

— В жизни она лучше, чем на фотографии, — сказал я, и сердце быстро-быстро забилось от сладкой и глубокой тоски, которую пробудили мои же слова. — Знала бы ты, мам, какой у неё золотой характер. Будто не от мира сего — искренняя, чистая, ну, прямо святая...

— Душевная красота, сынок, дороже красоты лица. По фото её тоже видно. — Со слезами в глазах и улыбкой на лице мама ласково прижалась щекой к моему плечу. — Хорошая девушка. Глядишь, а глаза никак не насытятся, хочется

глядеть и глядеть... Сестра твоя очень фото просила привезти, пускай посмотрит... — Мама помолчала и со вздохом добавила: — Что тебе сказать, сынок?.. Дай Бог, чтобы всё сложилось, как ты желаешь... Тут, в Баку, вроде бы тихо, ничего такого нет, — уже стоя в закрытом тамбуре вагона, сказала она. — И всё равно, продай машину, никуда на ней не выезжай. — Мама и раньше несколько раз говорила то же самое. Но сочла необходимым снова напомнить это в последнюю минуту. — Я позвоню оттуда. Ежели не продашь, обижусь.

Роберт помог мне с этим делом. Нашёл покупателя — худого парня по имени Гадир из Баилова. Мы вместе пошли в сберкасса, Гадир внёс на мой счёт деньги, двадцать семь тысяч рублей. У меня уже были на книжке деньги, отложенные с гонораров, итого получилось сорок тысяч.

— Ты, братец, богач, того гляди задерёшь нос, — рассмеялся Роберт.

Вечером я позвонил маме, чтоб она больше не беспокоилась.

— Я, скорей всего, здесь не останусь, — объявил Роберт. — Зармик приглашает в Москву. Можно и в Америку двинуть. Уехать многие собираются. Приеду в Москву, для тебя тоже возьму в американском посольстве анкеты.

После Сумгаита жизнь для нас точно перевернулась с ног на голову. По телевидению крутили передачи, будто всё, что случилось, как селевой поток — было и прошло, что же до виновных, они непременно будут наказаны по заслугам.

Далее на какое-то время наступило затишье, такая выжидательная ситуация, никаких передач и никаких статей о Сумгаите, кроме кратких официальных сообщений: бюро ЦК компартии Азербайджана вынесло строгий выговор Муслимзаде и освободило его от занимаемой должности. Директору трубопрокатного завода имени Ленина Абдуллаеву объявлено предупреждение за изготовление в механическом цехе по специальному заказу металлических прутьев, ножей, кинжалов, топоров и т. д. Сумгаитское городское партийное бюро вынесло строгое предупреждение первому заместителю председателя горисполкома Гасанову и заместителю председателя Тагиеву. Объявили, что девяносто четыре молодых человека, участвовавших в массовых беспорядках, арестованы, что генеральная прокуратура создала следственную комиссию, которой руководит... Александр Катусев. Тот самый Катусев, по милости которого жертвами погрома стали многие совершенно невинные люди.

— Сделают всё, чтобы скрыть и заболтать суть преступления и его организованный характер, — заключил Сагумян.

Сагумян не ошибался; уголовные дела раздробили на фрагменты и послали расследовать в разные города — Москву, Саратов, Куйбышев, Воронеж... Основная же масса этих дел осталась в Сумгаите, частично — в Баку. Тем самым ясно давали понять: никто и никоим образом наказан не будет. Организаторы и вдохновители геноцида в Сумгаите вышли из укрытий и принялись действовать. Газеты и телеэфир наводнили статьи и передачи, попирающие истину. Недолго пробыв в подполье, поднял голову один из активнейших вдохновителей сумгаитской резни академик Зия Буниятов, прославившийся фальсификациями истории и напечатавший в академической газетке «Элм»¹³ программную двухстраничную статью «Почему Сумгаит?», полную бесстыдной лжи, выдумок и давно скопившейся желчи, в которой без зазрения совести обвинил в преступлении... его жертв. В редакции только и было разговоров, что про Сумгаит и Карабах.

— У нас, армян, неизменно были хорошие дипломаты, а хорошей дипломатии сроду не было, — как всегда, тихо и спокойно говорил Сагумян. — Пробовали ли мы когда-либо решить узловые, основополагающие вопросы, последовательно добиваясь ряда малых побед? Нет, мы предпочитали бороться под девизом: или триумф, или поголовная гибель. Как повели себя в двадцатом году мусаватисты? По наущению турок без единого выстрела встретили большевиков и объединились с ними, по-прежнему проводя свою, мусаватистскую политику, и советская Россия всячески поддерживала их. А теперь армяне. Ревком и большевики настроили против себя армянских рабочих и крестьянство, варварской своей прямолинейностью подталкивая тех к восстанию, и в очередной раз пролились реки армянской крови. Большевики разорили весь Карабах и сотни сёл в Армении, тюрьмы были битком набиты ведущими политиками, интеллигентами, военными. Всё армянское офицерство, тысяча двести человек, в их числе пятнадцать генералов и двадцать пять полковников, во главе с главнокомандующим национальной армией Назарбекианцем, — всех их собрали в здании парламента и предательски взяли под арест. В февральскую стужу пешком через Севан их погнали в Казах, оттуда в закрытых товарных вагонах отправили в бакинские тюрьмы, а уж оттуда, вместе с офицерами-армянами из Грузии, Карабаха и Азербайджана, которые тоже служили в русской армии и воевали на западном фронте с австрияками и немцами, на турецком фронте и в Сардарпате, — напрямик в Рязань, в концлагерь. Среди них были блестящие командиры — Силикян, Ахвердян, Камазян. Была уничтожена верхушка армянской армии — семьдесят высших командиров и среди них национальный герой Амазасп. Одновременно с этой бойней, увлечённые бессмысленными словесами о мировой революции, большевики ссудили «революционной» Турции десять миллионов золотом, оружие и боеприпасы. По сути, они поощряли их войти в Армению, истребить оставшееся в живых население и захватить новые территории. Единственная из стран, потерпевших в первой мировой войне поражение, Турция заполучила новые земли, добравшись, по сути, до Баку. Кто первыми признал кемалистов? Именно большевики.

¹³ Элм — наука (азерб.).

Политическая логика большевиков заставила их заключить в 1921 году договор с турками, по которому территорию Армении кусками роздали соседям. Причём Нахичеван Ленин подарил Азербайджану по подсказке Сталина и по просьбе Мустафы Кемаля. Что касается Карабаха, то мы снова повторяем прежнюю ошибку. Надо было немного подождать, вопрос был поднят поспешно, стихийно, не разработана программа долговременных действий — как достичь благородной, но труднейшей цели, не изучены возможные подходы к решению проблемы.

Что будет с полумиллионом армян, живущих в Баку, Кировабаде, в северном Карабахе и прочих районах? Подумал об этом кто-то? Это ведь то же самое, что вывести войска на поле боя и только тогда начать знакомиться с местностью. Подобного рода недалёковидность чревата серьёзными потерями. Вновь обратимся к примеру Азербайджана. Известно, что до двадцатого года в Нахичеване жили пятьдесят четыре тысячи армян, имелось более шестидесяти армянских сёл. Примерно так же обстояло дело в Кировабаде, где прежде жило семьдесят тысяч армян. Азербайджанское руководство не пошло на конфронтацию, но прибегло к политике последовательных малых побед, составило план, как изгнать армян из одного и другого края, и с успехом его реализовало. В шестьдесят девятом году Лукулл наголову разбил под Тигранакертом армию Тиграна Великого и двинулся к Арташату. Однако, — Сагумян перевёл дух и продолжил, — он приблизился к городу в таком состоянии, что не решился на приступ. А дело в том, что, ни разу от Тигранакерта до Арташата не вступив в бой, римская армия растаяла. На всём пути армянские полки не нападали на неё, но каждый ночлег и каждый марш по узкому ущелью приносили неожиданные потери. Понятно, что каждая из этих потерь сама по себе была невелика, но взятые вместе они послужили причиной развала великой армии. Лукулл повернул вспять от предместий Арташата, и обратный путь обернулся для него паническим бегством, подобным бегству Наполеона из России. Мы не устаём гордиться нашей нравственной победой в Аварайрской битве, героически погибшим у реки Тхмут доблестным полководцем Варданом Мамиконяном и тысячью тридцатью шестью святыми мучениками. А ведь как поучительна история Лукулла — точно рассчитать время и соотношение сил и путём малых побед достичь грандиозного результата.

Лоранна оказалась хозяйкой своего слова. Она первой в нашей редакции покинула Баку. Её муж работал в городской госавтоинспекции, и начальник ГАИ купил у них квартиру.

— Жаль, Лео, не удалось повидать тебя напоследок, — сказала она по телефону. — Планировала прийти попрощаться со всеми, особенно с тобой, но не вышло, прости, пожалуйста. Вся наша жизнь, Лео, — длинная череда случайных встреч и взаимоисключающих обстоятельств, длинная череда внезапных поворотов, полная множества несчастных, а подчас и счастливых случайностей, неприятностей, печалей, недолгих радостей, безмерной любви и безмерной ненависти... Говори, что хочешь, но это и есть подлинная жизнь, Лео, которая несёт нас, как бурная многоводная река, и она действительно полна противоречивых истин. И трудно постичь, осмыслить, какая из этих истин истинней всех остальных, ясно только, что впереди, дорогой ты мой, непроглядная тьма, не остаётся ни надежды, ни веры, что когда-нибудь жизнь опять обернётся для нас лучезарным эдемом... Может быть, мы никогда больше не встретимся... — Она на миг умолкла и поспешно добавила: — Желаю удачи на выпавшей тебе трудной дороге... Мы пока что едем в Ереван, а куда направимся оттуда — Бог весть. Прощай, Лео. Помнишь танку Ирасека, мы вместе её читали: «Останавливаются они на горестном своём пути и полными слёз глазами смотрят назад — на тот любимый, благодатный край, где был их дом и родина»? Кто бы подумал, что с нами случится то же самое? Прощай, дорогой мой, я всегда буду тебя помнить...

Она быстро повесила трубку, и я почувствовал невыразимую горечь и пустоту, жизнь словно и впрямь остановилась, утратила смысл.

Следующим был Роберт. Его отъезд, однако, никак на меня не подействовал. Может, оттого, что он просто-напросто взял отпуск и должен был вернуться. Раз он позвонил и посоветовал тоже взять отпуск и поехать к нему. «Приезжай, не пожалеешь, — сказал он. — У Москвы особая прелесть».

На другой день ко мне в редакцию пришла Эмира. С горящими глазами, стройная и тонкостанная, как молодой тополёк, она стояла передо мной с зардевшимся искажённым лицом.

— Что случилось, Эмира? — испуганно спросил я. — Где Рена?

— Рена дома, — пряча глаза, сказала Эмира. — Я пришла к вам с просьбой, — выпалила она.

— Слушаю тебя, — чуть успокоился я.

— С условием, что Рена этого не узнает.

— Чего не узнает?

— Того, что... что я сюда приходила, к вам... Дайте слово, что она не узнает этого никогда-никогда.

— Даю слово.

— Нет, поклянитесь, — не уступала Эмира, зардевшись ещё сильнее.

— Клянусь.

— Не так. Поклянитесь всем самым святым. Прошу вас... то, что я скажу вам, вы не должны передавать Рене во имя её... вашего чувства.

— Да говори же, Эмира, не мучь меня.

— Ирада ждёт внизу. Сперва пообещала, что мы вместе к вам поднимемся, но в последнюю минуту не смогла, послала меня. Вы больше не должны звонить Рене, — сказала она и, словно сбросив тяжкую ношу, глубоко вздохнула.

— Почему?

— Не знаю, — снова пряча глаза, произнесла Эсмירה. — Не могу вам сказать... Сестра вам, наверное, ничего не говорит, но ей очень тяжело... Брат её убьёт, понимаете? Вы не представляете, что у нас творится, не могу я вам всё выложить... Отныне он будет контролировать каждый её шаг... Не звоните ей, ваш звонок для неё смерть, прошу вас, умоляю. Поклянитесь, что не позвоните.

— Не позвоню, — с усилием выговорил я. — Клянусь.

— Спасибо, — прошептала Эсмירה. — Я... Мы никогда вас не забудем. Никогда, никогда, — добавила она и, пуще прежнего раскрасневшись и утирая пальцами текущие по щекам слёзы, вышла из кабинета.

Её шаги, как последние отзвуки отчаяния, затихли, заглохли. Послышался шум лифта и тяжёлый хлопок железных дверей в дальнем конце коридора. Наступила тишина. Долгая свинцовая тишина.

В редакции все разговоры снова и снова вертелись вокруг Сумгаита и Карабаха. В одной из телепередач поэт Сабир Рустамханлы на полном серьёзе объяснял, что в Карабахе вовсе не было никаких историко-архитектурных памятников, всё это самолётами и вертолётами завезено из Армении и сброшено в карабахские леса. «Ничего удивительного, — прокомментировал передачу главный. — Геббельс утверждал, что даже самая гнусная и отвратительная ложь, если она многократно повторена, западает в сознание человека как доподлинный факт. Этим девизом и руководствуется Зия Буниятов».

Прежний директор Ереванского азербайджанского театра Орудж Идаятов, ставший позднее главным редактором издательства «Гянджлик», выступил в республиканской молодёжной газете со статьёй. Говоря о будто бы имевших место в Капане насилиях армян над азербайджанцами, он не привёл ни одного конкретного факта и не назвал ни одного имени, зато завершил статью патетическим восклицанием: «Чего там только не происходило, моё перо бессильно воспроизвести всё это». А прежде, когда ещё жил в Ереване, Орудж захаживал к нам в редакцию. Раз два мы передавали по радио его стихи, я был с ним накоротке.

— Орудж, — обратился я к нему, встретив на первом этаже у лифта. — Прочёл я твою статью в «Азербайджан Гянджлари». Почему ты никаких фактов не приводишь, не называешь имён потерпевших?

— С-с-статью в к-корне п-п-переделали, — сильно заикаясь, сказал он по-армянски, при этом косые его глаза смотрели то ли на меня, то ли на потолок лифта. — От м-м-моего т-текста н-ничего не осталось. П-переписали.

В те дни с выдавшим виды портфелем в руках и кепке с длинным козырьком на небольшой голове в редакцию заглянул Мухтар Бахшалиев, высоченный худой человек лет за шестьдесят. Кандидат исторических или филологических наук, он был завучем школы то ли в самом Капане, то ли в одной из окрестных школ, писал докторскую диссертацию и поэтому частенько наезжал в Баку.

— Мухтар-муаллим, скажите честно, прошу вас, — обратился я к нему. — Правда ли в Капане происходили стычки армян с азербайджанцами, а то не знаешь, кому верить? Судя по слухам, которые гуляли по Сумгаиту, и статье Оруджа Идаятова, там убивали азербайджанцев. Это так?

— Можете дать мне кусок хлеба? — неожиданно попросил Бахшалиев.

— Какого хлеба? — не понял я.

— Ну, хлеба. Обычного хлеба.

— Сейчас принесу, — сказала Арина, зашла к себе и вынесла хлеб.

Бахшалиев взял его, поцеловал и сказал:

— Хлеб для меня святыня, и клянусь вам этим святым хлебом, готов семь раз поклясться на Коране и совершить паломничество во все три наши святыни — Медину, Мекку и Кудс, или, по-вашему, Иерусалим, — азербайджанцев в Капане не убивали и азербайджанских погромов там не было. Валлах-биллах, это ложь. Говорят, в Капане было какое-то общежитие для азербайджанок, это тоже ложь. Что, в Баку есть какое-то особое общежитие для армянских девушек? Вот и в Капане ничего подобного нет и не было. Как можно верить этакой ерунде? Наши мудрецы недаром говаривали: из одного и того же цветка у пчелы получается мёд, у змеи — яд. Для нас, капанских стариков-азербайджанцев, это сущий позор, что, склоняя наше имя, в Сумгаите учинили чудовищное зверство. Говорю вам как есть, даже после сумгаитского кошмара нас никто пальцем не тронул. Поговаривают, сопляки-молокососы звонили кое-кому, страшали, угрожали. Не знаю, правда ли это, мне, к примеру, не звонили. Но это тоже было после Сумгаита. Ну а если в Капане хоть один азербайджанец пострадал — ослепни мои глаза за враньё. Не было такого, ложь это. — Бахшалиев покачал головой. — Человек изначально рождается душевно здоровым, но если не выстоит перед выпавшими ему испытаниями, подчас из-за слабости, может получить нравственное увечье.

— Множество увечий, — уточнил Сагумян.

— Вот именно, множество увечий, — вполоборота повернувшись к Сагумяну, согласился Бахшалиев. — Между двумя народами-соседями посеяли вражду. А ведь во всём Советском Союзе ни у одного народа не было такой близости, такого родства с другим народом, как между нашими народами. У любого армянина был азербайджанец побратим, и наоборот. Жаль, бесконечно жаль, что так вышло, и бесконечно жаль, что негодяи и подлецы, натравившие нас друг на друга, как всегда, выйдут из воды сухими, напротив, усядутся в кресло повыше и потеплее. Не следовало мне этого говорить, а я всё-таки говорю и никого не боюсь, потому что совесть у меня чиста. Первый секретарь Апшеронского райкома Зограб Мамедов — из наших краёв, и у него по этой части рыльце в пушку. А ещё страшная вина за сумгаитские погромы лежит на артистах Ереванского азербайджанского театра. Это они по сценарию Оруджа Идаятова и Хыдыра Аловлы разыгрывали пострадавших капанцев, рассказывали жуткие небылицы, возбуждали народ. Будь они прокляты, злодеи! Да обрушит Аллах на их головы беды, какие они принесли другим. А сверх этого ничего не скажу.

Бахшалиев помолчал, погружённый в себя, и прибавил со слабой улыбкой на бледном лице:

— Время всё лечит, всё забывается. Пройдут долгие годы, много-много лет, армянин с азербайджанцем опять помирятся, подружатся, по-иному никак нельзя. Кровь кровью не отмывают, кровь отмывают водой. После пятого-шестого годов и после восемнадцатого-двадцатого между нами тоже собака пробежала, но время шло, и мало-помалу наступало примирение, люди, как и прежде бывало, снова селились бок о бок и жили в ладу и согласии, как жили до того, как на Кавказе объявились турки. Что до пятого года, тут не обошлось без русских, распрю затеяли с подачи Николая Второго. Кавказских армян решили проучить за то, что они протестовали против закрытия их национальных школ и захвата церковного имущества. Но в любом случае не должно было так быть. Чтобы в свободной советской стране да такое бедствие... Гром среди ясного неба.

— По его словам, время всё лечит, всё забывается... — Бахшалиев ушёл, и после его ухода заговорил Сагумян. — И время, и мудрость бессильны утешать душевные раны. В февральской резне пятого года погибли несколько моих родственников. Между прочим, до сих пор, к несчастью, не выяснено, чем занимался в те дни Иосиф Джугашвили, хорошо известный в воровских кругах под кличкой Чопур¹⁴, зачем он срочно приехал из Батума в Баку, какую цель преследовали его тайные встречи накануне погромов с главарями городских бандитских группировок? Револьверный выстрел одного из этих главарей, некоего Бабаева, в саду Парапет по соседству с армянской церковью в воскресный день шестого февраля и положил начало столкновениям между армянами и мусульманами. Что делал он у бакинского губернатора Накашидзе, ведь и месяца не прошло после «Кровавого воскресенья»? Вооружённая правительством толпа нападала на дома армян, поджигала и грабила их, убивала их хозяев. А тем временем Накашидзе, которого спустя три месяца, одиннадцатого мая, как собаку, пристрелит Дро, разъезжал со своей свитой по городу, возвращая погромщикам отнятое у них казаками оружие. Несколько месяцев спустя то же случится и в Елизаветпольской губернии, в Гандзаке, где губернатором был генерал Тайкашвили, племянник Накашидзе. Под его высоким покровительством мусульманам тайком раздавали оружие, тогда как всех армян без разбору разоружали. Восемнадцатого ноября в Елизаветполе, то есть Гандзаке, где, как писала газета «Кавказ», в то время жило семнадцать тысяч турок и пятнадцать тысяч армян, случилась ужасная резня. Тайкашвили с начальником полиции Теймурбеком Гасанбековым и охраной стоял возле гостиницы «Централ», курил и со смехом наблюдал, как режут безоружных армян. А с начала следующего года по прямой его указке погромы возобновились в Дживанширском, Шушинском, Джабраильском, Шакийском, Арешском, Казахском, Зангезурском уездах и в самом губернском центре — Гандзаке. В этих уездах разрушили десятки армянских сёл, несколько деревень уничтожили под корень. Одно из них — Минкенд, расположенное между Зангезуром и Карабахом. Сто девяносто семь его жителей вместе с грудными младенцами были вырезаны. Подчистую вместе с двумястами двадцатью крестьянами было истреблено также село Крзен, стоявшее вблизи Куры в Арешском уезде... Накашидзе на посту бакинского губернатора сменил Фадеев, особа не менее гнусная, чем его предшественник, и не случайно в августе и октябре того же года в новых погромах, убийствах и грабеже армян участвовали заодно с татарами уже и лезгины, русские и казаки — под музыку, с флагами и портретами царя. Разве такое забывается? В восемнадцатом году я был семилетним мальчонкой, и мне врезалось в память, как на Сабунчинском вокзале собирали со всего города мужчин, и стариков, и молодых. С площади, огороженной канатами, их грузили в товарные составы и везли на погибель на станцию Альят. Этот самый Альят отлично виден мне с балкона. Наверное, Бог пожелал, чтобы я каждодневно созерцал место, где зверски убили моего отца и двух старших братьев. Созерцал и мучился. Попробуй забыть такое.

Мерцающая и трепещущая ломкими красно-зелёными огоньками, играет во тьме магнитофон... Рена, должно быть, уже спит... Я взглянул на часы — первый час ночи. Конечно, спит... Во сне, наверное, улыбается своими сладкими, медовыми губами... Непостижимо, поразительно; почему, зачем и вообще как это происходит, что совершенно не

¹⁴ Чопур — рябой.

знакомое тебе прежде существо, про которое ты знать не знал и понятия не имел о его существовании на свете, неожиданно-негаданно появляется, забирается тебе в сердце, переполняет от края до края душу неизъяснимым блаженством, и ты самозабвенно и беспрестанно думаешь о нём, днём и ночью мечтаешь о нём?..

Внезапно раздаётся телефонный звонок. Странно, кто это в такой-то час? Я лениво снял трубку. На том конце провода ни звука. В молчании таилась осмысленность, я почувствовал это, и молниеносно возникшая мысль вызвала учащённое сердцебиение. Сердце сказала — она.

— Ты звонишь, чтобы перед сном я услышал ангельский твой голос? — произнёс я восторженным шёпотом. — Ну так говори.

На том конце провода раздался смешок, и Рена тихонько сказала:

— Ровно наоборот, я звоню, чтобы не ты, а я сама услышала твой голос. Услышала, и душа полна священным чувством.

— А как ты узнала, что, погасив свет, я думал в эту минуту о тебе? Под боком у меня тихонько играет магнитофон, и под упоительную мелодию я грежу наяву. Я и вправду думал о тебе, Рена. Замечательно, что ты позвонила. Неужели ты читаешь в моём сердце?

— Да, — прозвучал её нежнейший шёпот. Должно быть, она улыбалась.

— И ты, конечно, чувствуешь — оно бьётся только ради тебя.

— Мне б этого хотелось.

— Так оно и есть, Рен, это так. И не только потому, что тебе этого хочется, и не потому, что хочется мне. Так пожелал Творец. Я люблю тебя. — Волна, непроизвольно захлестнувшая меня изнутри, увлажнила мне глаза. — Я люблю тебя, я люблю тебя.

— Спи, уже поздно. Я не могу говорить долго. Услышала твой голос, и мне теперь так приятно... Видимо, величайшее в жизни счастье — быть уверенной, что тебя безумно любит тот, кого ты и сама безумно любишь... Послезавтра я приду к тебе. Хотела зайти в конце недели, но нет, столько я не вытерплю. Цавед танем, спокойной ночи.

Я вышел из кабинета главного и тотчас увидел Рену. В лайковом желтовато-коричневом плаще нараспашку, в блестящей светло-розовой шёлковой блузке, в тёмной плиссированной юбке, длинноногая, с изящной голенью, словом, очень эффектная, она быстро проходила по хорошо освещённому коридору, ни на кого не обращая внимания, тогда как остальные поневоле замедляли шаги, оборачивались и глядели ей вслед. Я смотрел на неё с неизменным восхищением и тёплым чувством, думая, что красота приятна и человеку, и Богу и что нет на свете ничего прекраснее красоты красивой девушки. Дойдя до моего кабинета, Рена с улыбкой открыла дверь и, обнаружив, что внутри никого нет, обескураженно замерла. Не дав ей повода для беспокойства, я тут же подошёл и не без волнения поздоровался.

Рена повернулась, улыбка её снова расцвела, распустилась на дивном лице и в лучистых голубых глазах.

— Привет. Я поднялась на минутку, — немного запыхавшись от быстрой ходьбы, сказала она и вошла в кабинет. — Только на минутку, я ведь обещала. Хотела повидаться, но задерживаться не могу. Как ты? — спросила она, непроизвольно придвинувшись ко мне. С нежностью, выдававшей, как я соскучился, обнял я Рену, самое родное мне в этом огромном городе существо, потёрся лицом о её чудные волосы, а вот поцеловать отчего-то не решился.

— Нормально, — всё ещё взволнованно сказал я. — Ты-то как? — Словно в первый раз, я не в силах был оторвать от неё взгляд.

— Тоже нормально... Ну ладно, мне пора. — Рена легонько вздохнула. — Дольше не могу, готовлюсь к экзамену.

Экзамен она, конечно, выдумала, тут я не сомневался.

— Побудь хоть немного, — умоляюще взял я её за руку.

— Нет, нет, нет, не могу. Но буду заглядывать. — Осторожно высвободив свою руку, Рена попятилась к двери и с улыбкой добавила: — Зайду через два дня в это же время. Смотри не уходи, — наказала она с той же улыбкой. — Будешь ждать?

— Разумеется, — сказал я. — Не то что два дня — два года, — попробовал я пошутить.

— Два года? — искоса глядя на меня лучистыми голубыми глазами, спросила она. — Так мало?

— Ну, тогда не два, а двадцать лет, — уступил я с улыбкой. — Одиссей двадцать лет ждал Пенелопу.

— Не-ет! — простодушно не согласилась Рена. — Это Пенелопа в Итаке двадцать лет ждала Одиссея, а не наоборот. Да ты лгунишка!

Я засмеялся, обнял Рену у дверей и ласково спросил:

— А ты? Ты будешь меня столько ждать?

— Я?.. — она отпрянула, словно бы раздумывала над ответом, и сердце у меня тревожно ёкнуло. — Если возникнет нужда — буду, — отчётливо произнесла Рена. — Но нет, — после секундной заминки она резко встряхнула головой. — Не смогу я ждать целых два года, — с кокетливой улыбкой сказала она, положила руку мне на грудь и кончиком языка медленно провела слева направо и справа налево по верхней губе, просунула пальчики под галстук, скользнула

под рубашку и, беззвучно смеясь, пощекотала меня. У меня тут же перехватило дух. — За два года я умру в тоске, — уже игриво сказала она и вдруг, неожиданно подавшись вперёд и благоухая духами «Клима», крепко прижалась ко мне хрупким, трепещущим жизнью телом. — Какие два года! Для меня прожить без тебя два месяца — пытка. — Раскрасневшись от волнения, Рена впилась пылающими своими губами в мои губы.

Это длилось мгновение. С намернувшимися на глазах слезами она попятилась и, выскочив из кабинета, побежала по коридору к лифту.

Следующим своим звонком Роберт меня расстроил. По его словам, Зармик советует ему не возвращаться в Баку, остаться в Москве и заняться торговлей. «Это самое выгодное нынче дело, — сказал Роберт. — На него вся интеллигенция переключилась. — И спросил: — Завтра иду в американское посольство, взять анкеты для тебя?» — «Возьми, — равнодушно сказал я, и тут же меня осенила мысль — уехать с Реной в Америку. — Возьми, — торопливо повторил я, — непременно возьми. Когда понадобится, приеду».

Двумя днями позже я осторожно намекнул на это Рене, не зная, как она отнесётся к новой перспективе, и страшно обрадовался — её глаза загорелись восторгом.

— В Америку? — взволнованно прошептала она. — Разве это возможно?.. Я думала днём и ночью, выхода не видела и пришла к выводу — нет в жизни большей трагедии, чем абсолютная невозможность изменить то, что выше наших сил. Боже мой, неужели это возможно...

— Так ты уедешь со мной? — обрадованно спросил я.

Рена вдруг опечалилась и с горечью посмотрела на меня.

— Да, но... представляешь, под какой удар я поставлю наших? — вполголоса произнесла она. — Но чем же я виновата, Лео, скажи, чем я виновата? — Словно подбадривая себя, она с виноватой полуулыбкой добавила: — Как бы то ни было, я поеду с тобой куда угодно, — заключила она, обвив мне шею руками. — Понятно, наши меня не простят. Не простят сначала, ну а в конце концов сдадутся... Боже мой, я никому этого не скажу, никто не узнает об этом. Ирада с Эсмирой тоже. Позвоню прямо перед отъездом, но где я, всё равно скрою. Согласен, Лео? И тогда уж мы будем вместе всегда. Боже мой, неужели это возможно? — возбуждённо повторила она. — Я посвящу тебе, Лео, всю свою жизнь, каждую минуту своей жизни, буду кроткой, верной и преданной и никогда-никогда, я тебе уже говорила, не сделаю ничего, что причинило бы тебе боль. Я пожертвую ради тебя всем, что у меня есть, всё принесу тебе в жертву, а взамен потребую лишь одного — люби меня. Я очень тебя ревную, без конца думаю об этом, но тебе не говорю и никогда не скажу. Хочу, чтобы ты любил одну меня и никого кроме, слышишь, никого кроме... А ты любил кого-нибудь? — неожиданно спросила она, уставившись на меня широко распахнутыми глазами и с некоторой робостью дожидаясь ответа.

— Да.

— Неужели? — Рена подалась назад, тревожно глядя на меня.

— Это было давно, ещё в школе.

— Где, в Сумгаите? — спросила она разочарованно и растерянно.

— Да нет... У нас в деревне. С первого по шестой класс я учился в деревне. Там.

Рена малость успокоилась, втянула в себя воздух и запоздало спросила:

— Как её звали?

— Людмила.

— Она была красивой? — опять же запоздало спросила Рена.

— Красивой.

— И ты её вспоминаешь? — глухо спросила Рена.

— Вспоминаю, — сказал я. — Изредка. Когда она улыбалась, улыбка появлялась у неё в глазах и растекалась по лицу. Это я помню... Но ведь это было так давно. Я учился тогда в шестом классе. В начале сентября всю школу, с шестого по десятый класс, повезли на грузовиках на поля Нижнего Оратага — собирать хлопок. Там-то, поздно вечером, звёздным и лунным, в тени вышедших из строя тракторов и молотилок мы с Людик и поцеловались. И, нежная, необычайно родная, она положила голову мне на грудь... Я до рассвета не мог уснуть в любовной лихорадке. Тайное это свидание и первый в жизни поцелуй будоражили меня...

Стоя перед окном в модных облегающих джинсах, Рена долго молчала. Она неотрывно глядела вдаль, на тихое море.

— Любовь это то, — сказала она, — после потери чего нам уже нечего терять.

Чуть погодя она спросила гаснущим шёпотом:

— Мы уедем в Америку, и нам никто не помешает всегда быть вместе?

— Никто не помешает, никто. Мы всегда будем вместе и всегда неразлучны, — бормотал я таким же гаснущим шёпотом.

— Господи, когда же придёт этот день?.. Я нежно обнял Рену за плечи, вдыхая благоухание её податливого тела.

— Лео, любимый, я ведь пришла только на минутку, — сказала она, — я...

Я приложил пальцы к её губам.

— Я люблю тебя, — не позволяя ей завершить фразу и немного робея, сказал я. — Ты знаешь это? — Лицо у меня, должно быть, исказилось, потому что Рена, похоже, чуть-чуть испугалась, отпрянула назад и прижалась округлой попкой к письменному столу. Тем не менее, она улыбалась.

— Нет, ответь, знаешь ли ты, что я тебя люблю?

По-прежнему улыбаясь, Рена кивнула, что значило — да, она знает, что я её люблю.

На лицо ей упал яркий солнечный луч. Прищурившись, Рена взглянула на меня, небрежным движением головы откинула назад золотистые волосы, на мраморно-белой, как у Нефертити, шее блеснули цепочка и кулон с голубовато-белым бриллиантом. Очарованный ослепительной Рениной красотой, я ласково взял её за подбородок: Рена слегка запрокинула голову, глядя на меня нежным мерцающим взглядом.

— А что я влюблён в тебя до умопомрачения, — дрогнувшим голосом прошептал я, — это ты тоже знаешь?

Рена снова кивнула, улыбаясь шире прежнего.

Не отдавая себе отчёта в том, что делаю, я повернул в двери ключ:

— Я тебя отсюда не выпущу.

Положив на грудь руки с изящными пальцами, Рена посмотрела на меня с немой просьбой. Но ничего не предприняла и не сказала. Она сознавала силу своей прелести, в её взгляде светилась уверенность в себе, ясные глаза лучились лукавой одухотворённостью. Снова, скользнув кончиком языка по верхней губе, она взидала на меня с солнечной улыбкой, словно упивалась моей растерянностью. А я... я никак не мог отвести взгляд от её пламенных губ.

Боже ты мой, до чего ж она хороша, когда, чуть откинув голову, заливается журчащим смехом и жемчужный ряд её зубов блестит, как свежее выпавший снег на утреннем солнце, когда, словно бы обиженная, как Мона Лиза в Лувре, с прищуром устремляет на тебя пронзительный и мимолётный взгляд, а в неповторимо лучащихся синих-пресиних глазах играет всепрощающая таинственная улыбка, когда обворожительным привычным движением откидывает со лба золотистую прядь, когда, внезапно зардевшись от овладевшего ею порыва, бросается в объятия, и обволакивает ароматом юного тела, и прижимается так, будто жаждет раствориться в тебе и просочиться в душу, когда... Боже, Боже мой, как она желанна и восхитительна, меня и вправду сводит с ума её дивный вид, посадка головы, лёгкая, чуть враскачку, походка, медово-бархатистый голос; в ту минуту я с внезапной, неодолимой и сумасшедшей страстью желал одного — поцеловать кончик её розового язычка, скользивший по припухлой губе. От сумасбродной этой мысли у меня закружилась голова, я как-то непроизвольно схватил Рену повыше локтя и порывисто притянул к себе.

— Никто на свете, Рена, никогда и никого не любил и не мог любить так, как я люблю тебя. — Мои жадные губы впились в её сладостный рот. Ренины губы пылали пышущим изнутри огнём. Я чувствовал и этот жар, и жар её девственного тела, мягкой налитой груди. Поднявшись, её руки нежно обвили меня, пальцы перебирали мои волосы. Поначалу я целовал Рену до крайности нежно, а потом иступлённо, взасос. И сочные Ренины губы мало-помалу открывались, уступая этому иступлению, её зубы покусывали меня; захлёстнутый счастьем, я вконец потерял себя, кружился, подхватив её, по кабинету и, не отрываясь от её рта губами, посадил её на письменный стол.

— Всему свету ведомо — ты моя, ты птица, а я гнездо твоё, — почти бессвязно бормотал я и жаждал, чтоб эта минута тянулась вечно, жаждал вечно чувствовать дрожь её тела и жар, исходивший с волной восторга и слабым стоном из её разжатых губ, я жаждал держать и держать её в объятиях, любить, ласкать, облизывать с головы до ног, я не хотел выпускать её, не мог ею насытиться, я услаждал зрение бесконечным её созерцанием... Наконец, словно очнувшись от наваждения, Рена сказала:

— Я пойду... Мне нельзя задерживаться, — застёгивая лайковый с бахромкой плащ, прошептала она и выскользнула из моих объятий. В дверях она ещё разок обернулась, покрасневшая и смущённая, улыбнулась мне своей солнечной, лучистой улыбкой и тихонько произнесла: — Цавед танем.

Роберт позвонил в конце недели.

— Анкеты я взял, — сказал он, — но заполнить их ты должен сам, своей рукой и сам же сдать в посольство. Сдаёшь и ждёшь интервью. Словом, едем в Центральный Мичиган, в Лансинг.

Мне пришлось долго уламывать главного, прежде чем он подписал заявление.

— Я всё понимаю, ты два года не был в отпуске. Но ведь я же почти один остаюсь, — задумчиво расхаживая по просторному кабинету, говорил он. — Вы все разъезжаетесь. Вот и Арина написала заявление, они, кажется, обменивают квартиру.

— Как так? — изумился я.

— Я только что подписал ей заявление, понесла в отдел кадров. В угловой, выходившей на солнечную сторону комнатке Арины было две двери, одна вела в общий отдел, а другая в кабинет главного редактора. Дверь не была закрыта, и я напрямую прошёл к Арине. Она стояла у окна в лучах вечернего солнца.

— Уезжаешь, а мне ничего не говоришь? — входя, сказал я с лёгкой обидой.

Она быстро повернулась ко мне. Глаза черны, нежны и, что называется, на мокром месте.

— Тебе главный сказал? — улыбаясь сквозь слёзы, тихо спросила Арина.

— Ну да.

— Знал бы ты, Лео, как мне тяжело, — грустно произнесла Арина, подсаживаясь к столу и положив на столешницу маленькие свои руки. — Можешь ты это представить? Не можешь.

Отвернувшись, Арина уставилась в окно. Ей не хотелось показывать мне свои слёзы. После паузы сказала:

— Рождаемся из ничего, из безвестности, и направляемся в безвестность. А по пути теряем тех, от тоски по кому мается душа... Люди знать не знают, что тот, кто с готовностью всем улыбается, тайком плачет по ночам. Если ж он порою, съёжившись под одеялом, кутается от холода и всё равно не в состоянии согреться, то холод этот не снаружи, нет, изнутри, откуда-то из глубины сердца... — Арина сделала паузу и задумчиво сказала: — Я пришла к убеждению, что есть два способа жить. Можно жить и считать, что чудес не бывает. А можно верить, что жизнь и сама по себе чудо. Я почувствовала это только здесь. И мне сдаётся, что случайностей вообще не бывает, всё на свете либо испытание, либо кара, либо дар, либо предзнаменование. Что из этого моё, понятия не имею. Знаю только, что в жизни всякого, подчас и поздно, но непременно появляется кто-то, встреча с кем совершенно тебя преображает. И вовсе не важно, полное ли это счастье, нестерпимая ли боль. Просто чувствуешь и сознаёшь — ты уже не та, что прежде, и прежней уже никогда не будешь. — Она снова сделала коротенькую передышку. — Волею судьбы и благодаря тебе, Лео, я попала сюда. Почти три года я приходила на работу, как на праздник. Я всегда буду помнить весёлые наши субботники, когда мы сажали деревья в парке у Шиховского пляжа, не забуду нескончаемый смех и забавные истории, когда мы сидели после субботников и первомайских демонстраций в кафе. Всё-таки жизнь это не те дни, что минули, а те, что остаются в памяти. Господи, Лео, разве мыслимо забыть это, разве я когда-нибудь это позабуду?.. Обаяние трёх этих лет навсегда запечатлелось во мне, и где б я ни очутилась, и что бы со мной ни случилось, оно согреет всю мою будущую жизнь...

Арина посмотрела на меня в упор, и в слепящем закатном свете блеснули влажные её глаза.

Мне тоже трудно было вообразить, что я уже не увижу её, за эти три года я тоже привык к ней.

— Куда вы едете, в Ереван? — спросил я. — По словам главного, вы меняете квартиру.

— Отдаём просторную трёхкомнатную квартиру с мебелью в сталинском доме да ещё приплачиваем немало, а взамен получаем две комнатухи где-то на окраине Еревана. Свёкор тут же согласился, потому что потом и этого не будет, азербайджанцев-то в Ереване раз, два и обчёлся, а в Баку — сотни тысяч армян.

— Это же временно, всё утрясётся, — сказал я.

— Утрясётся... жизнь, она тоже временна, — грустно улыбнулась Арина и, глубоко задумавшись, добавила: — У свёкра мнение другое. Ты-то что будешь делать?

— Останусь тут, — просто так сказал я. — Не всем же нам уезжать.

— Родители мужа поселятся в Ереване, а мы поедем в Венгрию. Брат свёкра там служит, в городе Веленце, он офицер. Живут они, по его словам, на самом берегу озера, зовёт нас. Я позвоню тебе оттуда, хотя бы голос услышу, — горько улыбнулась Арина. — Я часто тебя огорчала, Лео, прости, пожалуйста. Мужа моего тоже прости, он вспыльчивый, но сердце у него доброе, ему страшно неловко. Между прочим, отец его чуть из дому не выставил за тот визит.

— Я уже забыл про это.

— Это из-за меня вышло, наговорила Сильве всяких глупостей, она и уши развесила. Потом пошли мы с мужем к ним, так она глаз на меня не подняла со стыда. Муж решил, она всё выдумала. Я сама виновата, не надо было болтать.

— А что ты, собственно, наболтала? — подсев к столу напротив, полюбопытствовал я.

— Да так... Про что мечтала, выдала за правду...

Арина посмотрела на меня, словно раздумывала, стоит говорить или не стоит, а потом разом выпалила:

— Призналась ей, что влюблена в тебя и что будто бы ты тоже ко мне неравнодушен. Не хотела, чтобы, когда она устроится сюда работать, заводила с тобой шуры-муры. — Арина отбросила волосы со лба, при этом внимательно следила, как яотреагирую.

— А дальше? — спросил я со смешком.

— Дальше?.. Она всё доложила мужу. Представила дело так, мол, я помешала ей устроиться на работу.

— Выходит, её муж не был против?

— Конечно, нет. Это я подстроила, чтоб она сюда не приходила. Не хотела, и всё тут. Вроде как ревновала. — Арина улыбнулась, посмотрела мне прямо в глаза и сказала: — Добавлю кое-что, всё равно ведь последний день, ты простишь. Сколько девушек тебе ни звонили... Особенно одна, очень красивая, с золотистыми волосами, носила шляпку в стиле Мерлин Монро. Улыбчивая такая, с ужасно красивыми губами, и глаза тоже очень красивые, серые, будто у тигрицы. С первого или второго курса строительного института, Сильва Асриян, я её видела здесь раза два, последнее время что-то не появляется... Вот она особенно настойчиво звонила... Словом, я всем отвечала, что тебя

нет на месте — то ли в отпуске, то ли ушёл, ну, всё в таком роде. Тоже, должно быть, из ревности. Я и к Лоранне тебя ревновала, бывало, дух от злости перехватывало, — внезапно залившись краской, призналась она. — Особенно когда она часами у тебя сидела. Ты сердисься?

— Да нет. — Я с улыбкой покачал головой. Я вправду почему-то не сердился. Что-то во мне крошилось, я чувствовал, что теряю сегодня нечто дорогое и родное, очень мне родное.

Несколько мгновений Арина молчала, в ней ощущалась внутренняя борьба, она покусывала губы и снова устремляла взор в окно. Потом обратила ко мне чрезвычайно сосредоточенный взгляд и с полуулыбкой, осветившей её лицо, сказала:

— На свете, Лео, было два слепца. Первый ты, потому что не видел, как ты мне дорог, и я, потому что не видела никого, помимо тебя... Одинокие люди не редкость, их сколько угодно, — добавила она. — Можно иметь множество приятелей. Родственников, друзей... Можно иметь одного того, кто любит тебя и всегда рядом с тобой, и всё равно быть одинокой, испытывать одиночество. Тебе будет казаться, что ты всю жизнь искала, да так и не нашла. Не нашла того, кому бы всецело себя отдала; при таком счастье ты бы сама себе позавидовала... Понимаешь меня? — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила: — Время — то единственное, что нельзя повернуть вспять. Нам чудится, оно наше, но нам оно не принадлежит. Удержать его превыше наших сил. Оно ускользает, убегает от нас, как песок меж пальцев. Нынешний день никогда не повторится. Вот этот блаженный миг, тот, что здесь и сию секунду, он тоже не вернётся... — Арина повернулась и, подперев ладонями щеки, воззрилась в окно; наконец, не оборачиваясь, произнесла: — Человек осознаёт ценность того, что у него было, не раньше, чем утратит это. Все эти три года, Лео, я всегда чувствовала твою близость и не просто уважала, но поклонялась тебе, таким ты останешься и в моей памяти... Между нами ничего не было, — продолжила она с трогательной искренностью, — но я так была тобой увлечена, так потеряла голову, что куда бы ты меня ни позвал, последовала бы за тобой, куда бы ни пригласил — побежала бы. Мейерхольд страшно ревновал свою жену, Зинаиду Райх, к Есенину, ему казалось, Есенину довольно поманить её пальцем — она побежала бы за ним без оглядки. Будто про меня сказано... Но ты меня не позвал, не пригласил никуда, хотя знал и видел, как самозабвенно я тобою увлечена. Да, ты знал это, нельзя было не знать, не чувствовать, огонь и любовь невозможно скрыть, но ты, тем не менее, не воспользовался моей слабостью...

— Но ведь мы же родственники, Арина?

— Потому я тебе и признательна, потому моё чувство ещё глубже. Знаешь, что я однажды подумала. — Плавным движением руки, вновь убрав со лба непослушную прядь, она сказала: — Я подумала, что душа прекрасна своей чистотой, и когда ты любишь, но твоя любовь безответна, грустить незачем, победа всё равно за тобой, ибо твоя любовь столь велика, что не умещается в его сердце. И не стоит унижаться и бегать за тем, кто счастлив и без тебя. Честное слово, на минутку мне захотелось, чтобы ты полюбил меня, только затем, чтоб я тебе отказала, и ты бы помучился. — Арина повернулась, пристально на меня посмотрела и добавила: — Но... когда ты любишь безумно, бескорыстно и безраздельно, то хочется лишь одного — чтоб он был счастлив. И хочется сделать всё ради этого, неважно, твой он или не твой... Да, ты хочешь ему только хорошего, чтоб он был счастлив. Однако сердце сжимается от боли, когда ты видишь, как он счастлив с другой. — Она слегка помедлила. — На свете, должно быть, у всего есть конец — у любви, слёз и муки, бесконечна только память, у неё нет ни конца, ни края. Я буду помнить тебя, Лео, как брата, как родного человека до самого конца, до последнего дыхания... Поверь, эта память останется со мной навсегда, это моя Жар-птица, и никому не под силу отнять её у меня...

Я не знал, чем ответить Арине, не мог подыскать слов, и мысль, что мы впредь уже не увидимся, вызывала в душе боль и отчаяние. Но что-то нужно было сказать. И, положив руку на её смуглую с тонкими пальцами ладонь и нимало не веря своим словам, я произнёс:

— Мы ещё встретимся... Встретимся через много лет и поглядим друг на друга туманными нежными глазами.

Она натужно улыбку устало. Встряхнула головой.

— Нет, — грустно возразила она, — это не повторится, не повторится... Я знаю, чувствую, что вижу тебя в последний раз, в последний раз смотрю в дорогие мне глаза, а ещё знаю, что тысячекратно увижу во сне эту сценку — последнюю нашу встречу в залитой солнцем комнате...

Аринины глаза увлажнились, она вновь улыбку блестящими от слёз глазами и сказала:

— Но я счастлива хотя бы тем, что говорю тебе всё это и, что ты это слышишь. Потому что тяжело носить в себе боль невысказанных слов. Я не плачу и, погляди, не лью слёз из-за того, что всё уже позади. Нет, я улыбаюсь, поскольку всё это действительно было. — Она немного помолчала. — В прошлом году ты подарил мне на восьмое марта пластинку. Я часто её слушаю. Патрисия Каас поёт грустную песню, я ставлю пластинку и вспоминаю, вспоминаю тебя. Поёт она приблизительно вот что: когда вижу на улице стариков, меня на миг охватывает ужас, ведь настанет и наша последняя весна, и там, где горел огонь нашей молодости, мы найдём только пепел, ибо жизнь подобна розе, её лепестки — видимость, а шипы — реальность... А ты говоришь: мы встретимся и нежно посмотрим друг на друга...

Она быстро повернулась, снова выглянула из окна наружу, где догорал солнечный день и на стенах зыбким веером мерцали золотые и оранжевые блики закатного солнца.

— Почему, Лео, почему так быстро заканчивается счастье? — сказала Арина. — И вообще, что это такое, счастье? Поражающая красотой радуга, преломлённый в слезе, мгновенно гаснущий луч солнца...

Вот так мы с Ариной и расстались, она такой и осталась у меня в памяти — сидит за сияющим полированным столом в залитой золотым закатным солнцем комнатке, печально улыбается мне и смотрит близким и родным взглядом, а в красивых чёрных её глазах застыли слёзы.

Наутро Арина не пришла на работу, и больше я её не видел.

Два дня спустя ближе к вечеру я вылетел в Москву, к Роберту.

— Не очень задерживайся, — со своей улыбкой напутствовал меня главный. — Не бросай меня одного.

Рена пришла меня проводить. Это было неожиданно, в редакции мы договорились, что провожать она не придёт, я сказал, что улетаю ненадолго и провожать меня не стоит. Однако, заведя её в аэропорту, буквально ошеломил. Я был уже на лётном поле, у самолётного трапа, когда вдруг увидел её за толстыми стёклами залитого поздним осенним солнцем зала ожидания. Мне показалось, она была в том же белом платье, в котором я увидел её впервые. С развевающимися по сторонам волосами, она без устали махала рукой, прощаясь. Издалека не было видно, но мне чудилось, что она беспрестанно улыбается мне неотразимой зовущей улыбкой своих прозрачных голубых глаз.

Я и в самом деле полагал, что не задержусь в Москве. Чтобы заполнить анкеты, понадобилось вызвать маму из Ставрополя. При содействии Роберта мы сняли комнату в коммунальной квартире и чуть ли не ежедневно ходили в посольство сдавать бумаги. Там были громадные очереди, кое-кто приходил занять очередь в полночь. Желаящие уехать в Америку были преимущественно сумгаитцы, но день ото дня росло число беженцев-армян из Баку и разных районов Азербайджана. Покинувшие родные очаги, беззащитные и беспомощные, они рассказывали друг другу о свалившихся им на голову бедствиях, одно другого чудовищнее, и, должно быть, эти рассказы приносили им какое-то облегчение.

— Всю жизнь мучайся, страдай, испытывай бесконечные притеснения, даром, почти что даром надрывайся на эту страну, строй для неё, чтобы в конце концов остаться без крыши над головой, голым и беззащитным, — роптала очередь. — Посмотрите-ка, что пишут уехавшие. Разом обеспечивают жильём и всем необходимым, каждому назначают пособие — шестьсот тридцать долларов и ежемесячно ещё откуда-то сто тридцать долларов, больницы, лекарства — бесплатно, высшее образование детям — бесплатно, люди плачут, если, говорят, были где-то такое отношение, такая забота и такой рай, чего же ради загубили мы свою жизнь в том аду. Люди, говорят, неловко себя чувствуют, они же ничего для этой страны не сделали и получили столько благ и льгот. Не то что здесь... Страна без конца и края, тысячи обезлюдевших деревень, а для нас ни места нет, ни прописки, ни работы, на каждом шагу запреты, куда ни сунься — взятки, побои, унижения, простого сочувствия и того нету. За что же наши отцы и братья кровь проливали, гибли в Великую Отечественную, коли нынче нам Америка протягивает руку помощи? Позор такому государству! Я сокрушался, что не могу позвонить Рене, сердце изнывало от тоски, но нарушить данное Эмире слово и, главное, подставить Рену под удар я тоже не мог.

Позвонил главному, он страшно обрадовался, но сильно меня огорчил — ситуация в городе, сказал он, неважная. «Радио, телевидение и газеты наводнены армянофобскими выдумками, — тихо сказал он. — Но мы не вмешиваемся и выпускаем только официальные материалы. Зато подонок Геворг Атаджанян, — главный перешёл на шёпот, — за компанию с негодяем Робертом Аракеловым, сыном Каро Аракелова, со списком в руках собирали деньги у сотрудников газеты “Коммунист” — будто бы для того, чтобы послать в Москву телеграмму. Ты представляешь, что это значит — в многоэтажном издательском здании, где, кроме армяноязычной газеты “Коммунист”, десятки других редакций, демонстративно собирать деньги? Никакого сомнения, вся эта затея со сбором денег подробнейшим образом подстроена, чтобы завтра же на митинге у дома правительства начались толки, мол, бакинские армяне собирают средства для Карабаха. Ничего такого не было, это наглое враньё, но в городе резко поменялось отношение к армянам. Армян массово избивают в транспорте и на улицах. Мало того, что Геворга Атаджаняна вместе с актёром Меджидом Шамхаловым застукали в каком-то притоне в Похлударе и оскандалили в газете, мало гнусной истории с изнасилованием сестры Радика Григоряна и его наглое посягательство на жену нашего прикованного к постели друга-писателя Сурена Каспарова, наконец, мало письма Гурунца к Сурену Каспарову, которое, как потом выяснилось, Геворг выкрал в доме Сурена и передал Сафару Алиеву в КГБ. Тебе, насколько я знаю, эта история с письмом о Карабахе тоже известна. В те дни, когда Гурунц — помнишь? — заходил к нам, это письмо читалось в доме Каспарова при наших ребятах, там высказывались замечания к нему, а потом после правки Гурунц отправил его из Еревана Каспарову, отсюда оно должно было уйти в Москву, чтобы журналист Анатолий Безуглов лично передал его в политбюро. Я слышал, об этом была предварительная договорённость, однако сволочь Атаджанян, обманув жену Каспарова Иду Михайловну, выкрал письмо и сдал его в органы. Участники обсуждения этого письма — Каспаров, другие наши лучшие люди: редактор мартакертской районной газеты Шаэн Оганджян, известный всему Карабаху геолог Альберт Шахназарян, Гурген Даллакян из министерства просвещения, даже прославленный председатель колхоза в Чартаре Сурен Адамян, который, между прочим, случайно заглянул в тот день к Каспарову, — все они один за другим погибли при невыясненных

обстоятельствах. Причём, если Альберт и Шаэн, все здоровые и молодые, скоропостижно скончались, то Даллакяна задушили дома, на улице Хагани, неподалёку от Союза писателей, Адамяна убили обухом топора в Чартаре, в его доме, и когда дело слушали в Верховном суде (я присутствовал в зале), то сколько ни пытался его сын-врач выявить заказной характер его убийства, судья Ибрагимов последовательно отклонял все его запросы, а обвиняемых Артюшу Арутюняна и Альберта Мкртчяна расстреляли сразу после вынесения приговора, видимо, чтобы замести следы. Серьёзно пострадали и другие участники обсуждения: писатель Левон Восканян, художник Рубен Габриэлян, Эдуард Георгиан из городского комитета народного контроля... Руководство Союза писателей в те дни представило документы Левона в ЦК, где его должны были утвердить главным редактором журнала «Тракан Адрбеджан» (до этого он заменял главного). После эпизода с письмом его кандидатуру тотчас отозвали, а его готовая к выходу в свет книга немедленно пропала в недрах издательства; потом её вычеркнули из тематического плана. Вдобавок его квартиру дважды ограбили неизвестные. Двери квартиры художника Рубена Габриэляна облили бензином и подожгли; потом поджоги повторились, и он волей-неволей бежал в Ереван. До смерти избитого Эдуарда Георгиана нашли в подъезде соседи. Всего этого недостаточно, то ли ещё будет. Я тоже, Лео, я тоже виноват. Я говорил тебе, что дал Геворгу рекомендацию в Союз писателей. Словом, Лео-джан, — добавил он в конце, — пока что приезжать не стоит, не советую тебе. Подожди, а там видно будет, чем закончится эта заваруха, я здесь кое-как перебыюсь».

На исходе второго месяца я снова позвонил главному, но его телефоны — ни рабочий, ни домашний — не отвечали. Другие редакционные телефоны тоже были отключены. Я позвонил Сиявушу, мне показалось, настроение у него неплохое. Спросил: «Как в Баку жизнь?» — «Ничего, — сказал Сиявуш и пошутил: — Если выпивку нашёл, всё на свете хорошо». В конце недели по центральному телевидению прошла передача о том, что жизнь в Баку входит в нормальное русло, работают все заводы, предприятия и учреждения, возобновились занятия в учебных заведениях.

После очередной встречи с Робертом я твёрдо решил не говорить маме, что собираюсь в Баку. Мы с Зармиком условились туда съездить. У него был паспорт на имя и фамилию азербайджанца, по-азербайджански он говорил чисто, и поездка в Баку не составляла для него проблемы. Договорившись обо всём, на завтра же поехали в аэрокассу и купили билеты на двенадцатое января.

Роберт в конце концов меня уломал:

— С твоей специальностью ты здесь вряд ли найдёшь работу. Там, в Баку, ты же сам помнишь, сколько раз приходил ко мне в министерство связи, я писал какие-то дурацкие отчёты. Ну а теперь чем занимаюсь? Торгую в ларьке: подай, возьми, подай, возьми. Работёнка лёгкая, а вдобавок никакого раздражения, наоборот, я вполне доволен. Если дело так пойдёт, какая там Америка, какие там Мичиган и Лансинг? Поезжай,ними свои деньги, а как вернёшься, мы тут же, у метро, присмотрим и для тебя местечко. Без денег, скажу прямо, ничего не выгорит, надо по меньшей мере восемь-десять тысяч долларов. Поезжай поскорей и долго не задерживайся. Рене-то звонишь? Или позабыл уже?

— Позабыл, — ответил я в тон ему.

— Да ну? — Роберт с сомнением взглянул на меня и улыбнулся. — Раза два я видел, как она, Лео, на тебя смотрела. Когда женщина или девушка смотрит на кого-то таким очарованным взглядом, значит, прочие три миллиарда мужчин на земном шаре для неё не существуют. Такая любовь, братец, Божий дар, а ты шутики шутишь — позабыл. Её разве забудешь? Ладно, не хочешь — не говори. Короче, пока ты вернёшься, я со здешним начальством договорюсь. Это я беру на себя.

Маме за два часа до отъезда я коротко сказал:

— Еду в Баку.

— В Баку? — испуганно спросила она, словно речь о поездке туда зашла впервые. — Когда? — в её голосе чувствовалась неприкрытая тревога. — А что вообще говорят, какая там обстановка?

— Нормальная, какая ещё, — спокойно сказал я. — В газетах ничего не пишут, по телевизору ничего не показывают.

— Неужто нашей прессе можно верить? Во время сумгаитских событий тоже ничего не писали и не показывали.

— Ну, тогда и сейчас — разные вещи, — попробовал я приободрить её. — Старых ошибок обычно не повторяют.

Я снова и снова вспоминал слова Роберта о Рене. «Шутки шутишь, её разве забудешь?» При мысли, что вскоре увижу Рену, голова моя шла кругом от счастья.

— Ради Бога будь осторожен, — напоследок опять остерегла меня мама. — Как сделаешь своё дело, быстро возвращайся, нельзя там оставаться. И вот упрямо и монотонно гудит самолёт, иной раз его встряхивает и тяжело покачивает, это двигатели с монотонным своим рокотом расщепляют бескрайнее небо. Прав ли я, что не послушал на этот раз маму и проигнорировал её предостережение? Ждать ясности недолго. Ведь откладывать уже нету сил, мама третий месяц твердит: обожди, и я, боясь её расстраивать, оттягивал отлёт со дня на день. А теперь конечно, тянуть невозможно, на жизнь и оплату комнаты нужны деньги. Правда, тянул я не только из-за маминых увещеваний и поисков работы, а главным образом из-за царившей в Баку неопределённой ситуации; кроме того, мы давно сдали в посольство бумаги на убежище в Америке и ждали ответа. Чуть ли не через день, как и до сдачи анкет, я наведывался в посольство, где сотни таких же, как я, бывших бакинцев собирались, чтоб узнать, когда нас вызовут на интервью, которое почему-то откладывалось и откладывалось. Я смотрел в иллюминатор; внизу, под ускользающими назад белокрылыми лоскутьями

облаков, пониже альпийских лугов и горных склонов серебряными нитями тянулись речки. Тут и там виднелись одинокие потерянные в тумане деревушки, казавшиеся с высоты покинутыми.

— У вас свободно? — спросил мелодичный женский голос. В проходе приветливо улыбалась хорошо сложенная молодая женщина лет двадцати — двадцати пяти с блестящими каштановыми волосами. Гофрированный костюм синего шёлка подчёркивал её изящество и смуглую кожу. Я оглянулся. Зармик увлечённо беседовал с кем-то в задних рядах.

— Садитесь, — кивнул я.

— Спасибо. — Медленно раскрывающиеся при улыбке губы таили в себе нечто притягательное. — В переднем салоне очень шумно, — мелодично произнесла женщина, устраиваясь в мягком кресле. — Подальше от двигателей спокойно. — Секунду-другую помолчав, она печальным голосом продекламировала:

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.

Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.

— Вы бакинка? — спросил я.

— Была бакинкой, — сказала она с какой-то застенчивой полуулыбкой; в её ответе звучало сожаление. — Еду оформлять обмен. Удобный вариант. У нас четырёхкомнатная квартира в новом кооперативном доме, в самом центре.

— Где именно?

— На улице 28 апреля. В том девятиэтажном здании, где аэрокассы, на шестом этаже. Только что сделали ремонт. Меняем на две комнаты довольно далеко от Москвы, в Обнинске. Первый этаж, без балкона, пол бетонный, представляете? Что поделаешь, другие и этого не находят. Меняемся с азербайджанцем, жена у него русская. Надо встретиться с младшим братом этого азербайджанца, оформить бумаги, хозяин дал доверенность на имя брата. Вы тоже из Баку?

— Да. Работаю в комитете по радио и телевидению.

— Правда? Наша соседка тоже там работает. Вы в какой редакции?

— Армянских передач.

— Значит, вы должны знать мою маму, Розу Григорян. Она работала в Верховном суде, член коллегии. Прежде из армян там был Арутюнов, потом Арушанов, позже Василий Ананян. После того как Ананяна убили, членом коллегии стала моя мама.

— Конечно, знаю, — сказал я. — Мы даже передачу о ней давали. Её родители из карабахского села Каракшлах, но позже бежали в Зардахач Мартакертского района.

— Верно, мама там и родилась, в Зардахаче. Мы, получается, знакомы. Меня зовут Карина. Я тоже назвался и добавил:

— Поедемте из аэропорта вместе, мы вас подбросим до дома.

— Прекрасно, — обрадовалась Карина. На миг её зубы блеснули белизной. — Муж очень беспокоился. Ему не удалось вырваться, только-только кое-как устроился на работу. Говорят, есть негласное указание — беженцев не прописывать и не брать на работу. Просто ужас. Вы останетесь или вернётесь в Москву?

— Вернусь, — ответил я. — Я ненадолго.

— Я в аэрокассах знаю почти всех девочек. Если понадобится, помогу с билетами, — с детской готовностью и непосредственностью предложила она. — Можете не беспокоиться. Я долго раздумывал, сказать ей о Рене или не стоит. Наконец решил открыться и попросить у неё помощи.

— Я вам помогу, — сказала она, дружески положив ладонь на мою руку. — Позвоню ей, приглашу прийти к нам домой. — Нет, — она быстро поправилась, бросив на меня заговорщический взгляд. — Я дам ей номер своего телефона и скажу, чтоб она позвонила мне откуда-нибудь. Так надёжнее. Я ей всё объясню. Завтра в котором часу вам удобно? Я передам ей, и она придёт в это время. Запишите мой номер — 93-81-44. Дом вы знаете, второй подъезд, шестой этаж, дверь налево, квартира сорок три. В четыре часа вам удобно?

— Удобно.

— В четыре она будет у нас, не сомневайтесь.

«Боже мой, неужели завтра я увижу Рену?» — ликуя, подумал я, ощущая, с какой силой заколотилось в груди сердце.

Под самолётом расстелилась обозначенная красными огоньками взлётная полоса, шасси громыхнули, и бетон устремился навстречу.

На площади перед аэропортом мы взяли такси, Зармик подсел к водителю, мы с Кариной — на заднем сиденье.

— Высадим вас у дома, — сказал я ей. — Завтра в четыре увидимся.

Карина с улыбкой кивнула, и я вновь отметил про себя, что её медленно раскрывающиеся в улыбке губы по-настоящему притягательны.

— Я нахичеванский, зовут меня Закир, а ты откуда будешь? — по-азербайджански спросил водителя Зармик.

Водитель был человек немолодой, наполовину лысый; он крепко держал руль обеими руками, а его широко раскрытые глаза не отрывались от дороги.

— Из сабирабадских краёв, — откликнулся он, искоса взглянув на Зармика. — Из жаркого Сабирабада, края арбузов и сладких гранатов.

— Как по-твоему, — незаметно подмигивая мне, спросил Зармик. — Эти армяне чего хотят от нас?

— Эх, — ответил водитель с болью. — Нас жалко, их тоже жалко. Надувают нас всех, с толку сбивают. Апшеронский секретарь Зограб Мамедов что ни утро беженцев из Армении сажал в автобусы и отправлял в Сумгаит, на митинги. Не просто так, ясное дело. Сколько раз я своими глазами видел эти караваны — битком набитые автобусы и грузовики. По телевизору сказали и в газетах написали, мол, секретарь ЦК Гасан Гасанов стал в Агдаме на колени перед толпой — не ходите, мол, бить армян. Вроде как армяне ягнята, а наши волки. А русский поэт Евтушенко, наивный чудак, стихи посвятил Хураман Аббасовой. Будто бы та платок с головы сорвала и бросила под ноги толпы, и толпа остановилась, не пошла на армян. Враки. Потом выяснилось, ещё как пошла, несколько тысяч душ дошли до Аскерана, кто из армян встретится, тех избивали да калечили, любую постройку рушили да сжигали. Я своим коротким умишком так мыслю — раз уж они всё-таки двинулись дальше, то, стало быть, Гасанов и Аббасова их не останавливали, а науськивали, подучивали, что да как делать. Этот вывод самый верный, потому как побоище в Сумгаите, что нас на весь мир оскандалило, с того похода началось. — Он перевёл дух. — Ай киши¹⁵, трудовому люду не всё одно — армянин ты, русский или грузин? Мне что, не всё равно, кого везти в аэропорт или оттуда в город. Ежели платят, то и Аллага шукюр¹⁶, благодарствую. Вон азербайджанцы приехали из Армении, город ими кишит. Я вам вот что скажу. Отсюда, из Баку, кто уезжает? Уезжают из благоустроенных своих домов известные врачи, вузовские преподаватели, деятели науки и искусства, учителя, музыканты, люди с именем, мастеровые с золотыми руками. Ну а сюда из Армении кто приезжает? Рыночные торговцы, спекулянты да тёмные крестьяне из дальних деревень, только и знающие, что держать овец и коров. Они поди за всю жизнь и бани-то не видали. Хотите соглашайтесь со мной, хотите не соглашайтесь, они для нас чужаки. В длинных своих папах, небритые, насквозь провонявшие скотом... А с другой-то стороны, здешних армян в Ереване не больно привечают, «перевёртышами» зовут — шуртвац... В магазине им иной раз и хлеба не продадут, требуют — по-армянски говори. Коль языка не знаешь — оставайся голодный, так выходит. Оттого те уезжают в Россию, в Америку. Не по-людски это.

— Не по-людски, — серьёзно сказал Зармик. — Говорят, идёт Горбачёв по Карабахскому вопросу к Сталину — дескать, помоги ради бога. Сталин, недолго думая, предлагает объединить Азербайджан с Арменией, а столицей сделать Магадан.

Водитель рассмеялся.

— Ада, валлах, хорошо сказал. Очень даже хорошо, с нами так и надо. В далёкие-то времена случались деньки наподобие нынешних. Встречаются в лесу двое с маузерами за поясом и крестьянин. «Большевик или меньшевик?» — спрашивают. Крестьянин думает: скажу меньшевик, а вдруг те большевики, пристрелят, скажу большевик, а вдруг те меньшевики, тоже прихлопнут. Он и говорит: «Не большевик и не меньшевик, я щенок той собаки, что у вашей двери привязана». Те двое захохотали, пришпорили лошадей и ускакали. Нынче такие же смутные времена.

Возле посёлка Раманы машина свернула влево и, с лёгким урчанием одолевая подъём, помчалась к городу.

— Когда Брежнев последний раз в Баку приехал, что на этой дороге творилось, что творилось! — сказал водитель. — У холуйства тоже границы должны быть. Алиев Брежневу, будто тот не хозяин огромной страны, а жена или там любовница, на палец перстень надел. А весь мир смотрит и диву даётся. И ведь не простой перстень, а чистой воды бриллиант ценой, говорили, двести двадцать шесть тысяч рублей. Рассказывают, заказали перстень, а про деньги за него — молчок. Директор ювелирной фабрики, говорят, обивал двери ЦК, а потом обнаружили его у себя в кабинете, повесился. А может повесили, кто знает. Нет, что ни говорите, у всего на свете границы должны быть. Алиев пообещал, мол, встречать Брежнева выйдет миллион народу. Чего ради? Кому нужны все эти переходящие знамёна, что ему вручали, липовые ордена да звания, когда народу жрать было нечего, в магазинах пусто, хоть шаром покати! Я сам подсчитал по газете, за время пленума Алиев имя Брежнева сто семьдесят раз произнёс: и тебе самый выдающийся деятель двадцатого века, и тебе «новый Ильич», это вроде как Ахундов, тот Хрущёва «новым Лениным» назвал. Не иначе потому, что оба были лысые, — засмеялся водитель. — Валлах, весь вечер и всю ночь из города и районов, что поближе, свозили народ автобусами, грузовиками, нашими такси. Вы представляете, что такое миллион человек от аэропорта до города и по обе стороны дороги? И как назло с утра такой ливень обрушился, настоящий потоп. И на всей дороге — сами видите — совсем укрыться негде, ни дерева нет, ни куста. Брежнев сильно опоздал и в десять утра со своей свитой — вшшш, промчался. И на эту массу народу всем наплевать. Ни капли воды, чтобы попить, ни туалетов. И тащись двадцать пять километров пешком до дому. Поглядишь и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать...

Мы с Зармиком договорились встретиться завтра в четыре у Карины. Сойдя с машины, я не встретил во дворе ни души и поднялся к себе. В лицо ударило затхлым запахом давно не проветриваемого помещения. Я намеревался позвонить Сиявушу, главному, другим ребятам и хотя бы услышать голос Рены. Но телефон не работал. Я походил по комнате, не зная, чем заняться. Лучи закатного солнца проникали сквозь оконное стекло и падали на диван, книжный

¹⁵ Здесь: эх, друг (*азерб.*).

¹⁶ Слава Богу (*азерб.*).

шкаф, письменный стол, на которых осела пыль в палец толщиной. Со стороны дома правительства доносились голоса, там стоял шум, иногда взрывались аплодисменты. Я долго смотрел из окна; некогда любимый и родной город казался чужим. Было видно море, где мы с Реной катались на прогулочном катере, был виден и парк имени Кирова, где на холме сфотографировал нас двоих корреспондент «Азеринформа» Яшар Халилов.

А перед тем мы вдруг угодили под проливной дождь. День был солнечный, и сразу, неожиданно-негаданно, загрохотало небо, так же неожиданно-негаданно полил дождь. Мы не успели даже добежать до аллеи. Покамест укрылись под деревом, порядком вымокли. Дерево оказалось клонившейся к земле оливой, оно почти не защищало от дождя. Я боялся, что Рена простынет, а она беспрестанно веселилась и раз за разом выталкивала меня плечом из укрытия. В эти минуты она была на редкость обворожительна и желанна. Я обнял её, но, ловко извернувшись, она выскользнула из моих объятий и ту же секунду очутилась под ливнем. Беззаботно смеясь и подставив лицо под проливные струи, Рена раскинула руки в стороны и кружилась на месте; чувствительный её носик был умилительно наморщен, приоткрытые губы обнажали бриллиантовый блеск белейших зубов. «Рена, простынешь, довольно уже!» — я повторно затащил её под дерево, с неё стекала дождевая вода, промокшее платье прилипло к телу, подчёркивая восхитительные бёдра, упругий стан и дивную округлость груди. Рена всем телом тесно прижалась ко мне и, неспешно убирая волосы назад, исподлобья следила за мной смешливыми, полными тайны глазами. Тело у неё было тёплое, мягкая, как свежая сдоба, грудь и вовсе пылала жаром. Дождь не прекращался, я взял Ренино лицо в руки, губами легко скользнул по её губам. Под прохладным ветерком и не слабевшим дождём это доставляло непередаваемое блаженство; Рене, похоже, тоже нравилась эта игра... Наши губы скользили, едва соприкасаясь, наше дыхание, мало-помалу становясь чаще, сливалось, однако мы не целовались, отнюдь, я с превеликим усилием растягивал это наслаждение. Доведённые волнами страсти до пароксизма, мои губы выдержали ещё сколько-то мгновений; наконец, уже не в состоянии сдерживаться, мои воспалённые губы нетерпеливо впились в страстные губы Рены... Я целовал её с неутолимым исступлением, даже, пожалуй, грубо, прямо-таки кусал припухлые её губы, и, не в силах ни слова вымолвить, она молила меня глазами не делать этого. Я стал целовать её совсем иначе — нежно, с паузами — и смотрел на неё с некоей отвлечённостью, поскольку глаза не верили, просто не могли поверить, что сейчас, в эту самую секунду губы слиты с её трепетными розовыми устами. Словно потрясённый происходящим, язык отнялся, в ушах шумело из-за непривычного тепла. Тепло просачивалось или проникало под кожу, кровеносные сосуды разносили его по всему телу, и я всецело подпадал под обаяние сладких грёз. Я без устали целовал Рену, Рена отдавалась моим поцелуям самозабвенно и нежно, подаваясь вперёд и буквально вжимаясь в меня... Господи Боже, какое это было невыразимое блаженство, как обворожителен был этот райский дар под льющим как из ведра тёплым дождём.

Дождь оборвался так же внезапно, как и начался, сквозь мелкие листья оливы к лицу Рены пробился яркий солнечный луч, она сощурилась и залилась дивным смехом, я обнял её пахнущие теплом голые плечи, и мы вышли из парка. Здесь, у гостиницы «Москва», на пригорке, я случайно заметил Яшара с фотокамерой на груди. Он вышел с пресс-конференции. Я попросил его снять нас.

Поначалу Рена стояла справа от меня, потом быстренько поменяла место, стала по левую руку, чтобы сняться ещё разок, и сказала со смехом: «Так я ближе к твоему сердцу». Сказала негромко, но Яшар услышал, улыбнулся, сделал ещё один снимок. Спустя два дня, когда я показал Рене цветные фотографии, она сперва зачарованно их разглядывала, потом неожиданно надулась. «Как это так? — упрекнула она меня. — Я улыбаюсь, как легкомысленная девчонка, а ты на обоих снимках такой чинный, степенный, словно вовсе не рад со мной фотографироваться. Не мог одёрнуть меня, чтобы держалась посерьёзней? Что люди скажут?» — «Да что ж они скажут? — прижав её к груди, засмеялся я. — Лишь одно. Какие у этой красавицы красивые волосы, какие красивые глаза, красивая улыбка и красивый талисман». — «Ты прав, — искренне обрадовалась Рена. — Талисман виден очень отчётливо. Это главное». В её голосе прозвучал улыбчивый восторг. «Смотри, — сказал я. — Весь город как на ладони: приморский парк, Девичья башня, наш телерадиокомитет, “Новый интурист”, море. Годы спустя посмотрим и вспомним, до чего ж это было нам дорого и близко». Вот что сказал я тогда Рене. Тёмные тенистые аллеи, где мы целовались вдали от чужих глаз, и ныне стоят как ни в чём не бывало. Неодолимая ностальгия по этим издавна знакомым и родным местам сжала мне сердце, перевернула душу. Бог мой, неужели всё это было наяву и завтра я повстречаю мою ненаглядную, бесподобную Рену? Я включил симфоническую музыку. Мёртвая квартира мигом ожила, обрела дыхание. Переливы и рокоты мелодии, подхватив, унесли меня в иной, изумительный и фантастический мир с внезапными его громами, тёплыми проливными дождями и звездокрылыми хлопьями снега, и звенели бубенцы на шеях пасущихся на лесной опушке коров... Сменяли друг друга бесчисленные видения: то мы с Реной на пляже в Бильгя, то в Набрани, то гуляем с ней по приморскому парку, а я шепчу ей тихие слова любви. Мелодия временами слабела, затихала в шелесте листвы, временами легко и бодро взмывала ввысь, реяла и низвергалась, как водопад, временами, ветерком пробегая по лесу, баюкала его, а мы с Реной брели по этому лесу, и красноклювая птаха специально для Рены рассыпала свои трели, и под лёгким шелестом ветерка деревья колыхались, постанывали наподобие струнного оркестра, и весь этот поток звуков, их раздирающие душу волны и валы, всё это было не где-нибудь, а во мне, внутри меня... Я поздно лёг, а поутру проснулся, разбуженный странными голосами.

Плотная толпа демонстрантов с грозными кличами двигалась в сторону моря, к Дому правительства.

Одевшись и выпив чашку кофе, я направился в сберкасса. Сдал сберкнижку и принялся ждать. Сотрудница с моей книжкой в руке поднялась по деревянной лестнице на второй этаж и через некоторое время вернулась. В её обращении сквозила подчёркнутая любезность. Она нашла мою карту, выписала на бумагу сумму — 40 917 рублей — и протянула бумагу мне.

— Заполните расходный ордер, — сказала она с той же демонстративной любезностью, — и приходите после перерыва, в три часа.

«Получу деньги, куплю белых роз и прямиком к Карине», — предвкушая скорую встречу с Реной, воодушевлённо подумал я, и при мысли, что наяву и скоро, совсем скоро увижу Рену, мне захотелось отблагодарить эту добрую и такую любезную женщину. Получу деньги, решил я, и непременно оставлю ей рублей двести.

Без нескольких минут три я уже был у сберкассы. Сверху, со стороны Арменикенда, по проспекту Ленина спускалась многочисленная толпа, напоминавшая вышедшую из берегов многоводную реку. Раздавались истеричные выкрики: «Карабах наш, Карабах наш!», «Аллаху акбар, Аллаху акбар, ордумуз дахима олсун музафар!»¹⁷, «Да здравствует Турция!», «Верните Алиева!», «Слава героям Сумгаита!» В толпе мелькали женщины и подростки. Я быстро пересёк улицу и у входа в сберкасса увидел на лестнице ту самую женщину, которая так любезно ко мне отнеслась. Она не отрывала взгляда от толпы, и вдруг я заметил, что глазами она показывает на меня. Длилось это каких-то полсекунды; тут же, поняв сигнал, от толпы отделились несколько человек и кинулись ко мне.

Всё произошло до того быстро, что я не успел даже снова посмотреть на ту женщину. Первый удар опустился мне на голову. Я ощутил на щеке кровь. Отталкивая друг друга, каждый из напавших жаждал ударить меня самолично. Новый удар они нанесли в лицо, при этом, странная штука, мысль моя работала чётко и безотказно. «Убивают, — подумал я, — сейчас убьют».

Не было ни страха, ни ужаса. Вдобавок я вовсе не чувствовал боли.

Удары сыпались отовсюду. Пихая меня, падая со мной и подымаясь, они выталкивали меня на середину улицы. Вот ударили чем-то твёрдым по левому глазу, почудилось, что глаз лопнул, я попробовал открыть его — понапрасну. В толпе наперебой орали, бранились, я, однако, ничего не разбирал. Били со всех сторон, и рот наполнился солёной кровью. Я вновь ощутил тёплую струю крови, но на этот раз она текла по телу. Кто-то занёс надо мной железный прут, я успел за долю секунды зафиксировать этого типа — долговязый, со слюнявым ртом и злобным оскалом. «Эрмяни сян — олмяли сян»¹⁸ — злобно сказал он, с размаху рассёк прутом воздух; я увернулся, прут опустился на чью-то голову, тот со звериным воплем повалился наземь. Очередной удар — я почувствовал, это был не железный прут — пришёлся мне по руке; кольцо слетело с безымянного пальца и покатилося в сторонку, за ним устремилось двое-трое. Я попытался воспользоваться шансом, оторваться от громил, да не тут-то было. Меня держали и били сразу трое. Я резко развернулся и в краткий этот миг увидел женщину из сберкассы; стоя на лестнице, она с улыбкой наблюдала за интересным зрелищем. «У них это подстроено, — молнией мелькнуло у меня в голове. — Они всё знали заранее». Неописуемое бешенство придало мне сил, я рванулся, двое на миг отцепились от меня и упали, но третий удерживал что было мочи, не давая бежать. Я был в расстёгнутой импортной куртке и просто-напросто выскользнул из неё и заодно из пиджака, те остались в руках у парня, который держал меня. Воспользовавшись мгновенной неразберихой — трое увлеклись исследованием карманов моей одежды, другие приводили в чувство валявшегося в крови приятеля, прочие искали кольцо, — воспользовавшись этим, я метнулся в ближайшую подворотню. Опомнившись, ватага с улюлюканьем припустила следом, искавшие кольцо к ним присоединились, но в чужой двор не полезли, шумели себе у ворот. Они, должно быть, не знали этих мест, понятия не имели, что двор проходной и выходит ещё и на проспект Ленина.

Утирая с лица кровь, я выбежал на противоположную сторону и опрометью кинулся к восьмому отделению милиции, стоявший у входа в которое милиционер безучастно взирал на происходившее. Было ясно, что единственный способ спастись — откреститься от своего армянства.

— Я не армянин, — выпалил я, подбежав к милиционеру, — меня приняли за армянина.

— Сегодня всякое возможно, — сказал служитель закона, подтолкнул меня к соседнему подъезду и закрыл за мной дверь. Я слышал, как, подбежав к нему, мои преследователи спросили:

— Не видел тут армянина?

— Нет, — ответил милиционер.

— Он убежал куда-то сюда.

— Нету здесь никаких армян, — отрезал милиционер. В ту же минуту в двух шагах от подъезда толпа нашла новую жертву. Через дверную щель я видел, как десяток ног топтал упавшего на асфальт человека. Что до моих преследователей, они погнались за очередной добычей. Я кое-как держался на ногах, подпирая спиной холодную стену

¹⁷ Аллаху акбар, Аллаху акбар, ордумуз дахима олсун музафар — Аллах всевышний, Аллах всевышний, пусть армия наша будет могучей (азерб.).

¹⁸ «Эрмяни сян — олмяли сян» — «Раз армянин — должен умереть» (азерб.).

подъезда. Колени буквально ходили ходуном, я знал — если сесть или упасть, уже не подняться. Дрожал всем телом, тряся, зуб на зуб не попадал. И было не понять, от холода это или от ран.

— Ты ещё живой? — быстро войдя в дверь, спросил милиционер.

— Угу, — кивнул я, — живой.

— Сейчас вызову скорую помощь. Как машина подойдёт, я мигом открою дверь, и ты сразу полезай в неё. Понял?

— Понял.

Милиционер спешно вышел, я по-прежнему держался в той же позе. По проспекту Ленина, потрясая над головами отливающими белизной металлическими прутьями, спускалась новая толпа. Бессчётная, неисчислимая, воющая стая зверья, конца ей не было видно, она шла и шла, от её воплей и криков, ора и шума стены тряслись. «Да здравствует Турция!» — неслось окрест, — «Горбачёв с нами!».

«Режьте армян!», «Армяне, вон!», «Смерть армянам!», «Слава городу-герою Сумгаиту!»... Кого-то повалили наземь, потом несчастный очутился над толпой и продвигался по ней точно вплавь с безумными глазами и неестественно разинутым ртом. Этого молодого парня видно было секунду-другую, потом его швырнули под ноги, вокруг сгрудилась орава, потопталась на месте, и через минуту парень лежал на земле в луже крови.

Из дома, примыкающего к кинотеатру «Шафаг», напротив отделения милиции, с грохотом выбросили пианино, а следом кресло с седой женщиной в нём. Она с криком шлёпнулась об асфальт в двух шагах от кресла; вся в крови, женщина шевелилась, ползла и, видимо, парализованная, пыталась подняться. Двое парней, ухватив её за волосы, поволокли к пианино и с хохотом — это было видно и даже слышно — привязали к нему. Кто-то плеснул бензина, и они, женщина и пианино, сразу же запылали. С балкона второго этажа с гвалтом и гоготом кидали в костёр домашнюю утварь и книги. С улицы и из окрестных домов до меня время от времени доносились отчаянные, душераздирающие вопли. Ватага парней окружила у кинотеатра старуху, казалось, они спокойно беседуют, я видел это, но спустя минуту-другую парни отошли, а старуха лежала на тротуаре. Снова раздались истошный женский крик, безутешный детский плач и выстрелы. В дверную щель я разглядел карету скорой помощи, водитель быстро отворил заднюю дверцу, а милиционер так же быстро — дверь подъезда, и я каким-то подобием прыжка нырнул в машину. Позже я поражаюсь, да и теперь ещё поражаюсь — откуда в обессиленном и потерявшем столько крови человеке взялась такая прыть?

Водитель скорой помощи, не закрывая задней дверцы, сорвался с места и повёл машину по встречной полосе.

— Звери, — сказала врач скорой помощи, русская, — звери в человеческом обличье. — Повернулась ко мне и сочувственно покачала головой: — Потерпите, скоро доедем.

Между тем силы покидали меня, как если б я истекал кровью. У комитета партии района Насими раздался надрывный крик ребёнка. Машина резко свернула с проспекта Ленина на улицу Сурена Овсепяна и помчалась вверх. И снова шум и крики. Я прижался было к окошку и тотчас отпрянул в ужасе. На перекрёстке улиц Овсепяна и Бакиханова с верхнего этажа выбросили одноногого инвалида, я видел, он летел вниз головой, судорожно сжимая костыль. В Ереванском переулке у ресторана «Муган» лежал человек. Он медленно на четвереньках сдвинулся с места, поднялся, простоял какое-то мгновение весь в крови и ничком, точно срубленное дерево, рухнул, простирая руки вперёд.

Возле дома культуры имени Шаумяна машина свернула влево и по Четвёртой Нагорной улице, прямо по трамвайным рельсам устремилась к больнице имени Семашко. Между домами подростки тащили телевизор, а тут и там неподвижно лежали люди. На пересечении улицы Самеда Вургуня близ исполкома района Насими с балкона и из окон четвёртого этажа швыряли разного рода скarb, а толпа внизу, стар и млад и даже бабёнки с крашенными хной волосами рвали друг у друга чемоданы, ковры и бежали с добычей прочь. Это происходило словно бы не наяву, а во сне, жутком, кошмарном сне. Я всё время думал, как мне представиться в больнице. Называться армянской фамилией было небезопасно, а скрываться под чужой фамилией не хотелось. Удивительное дело, меня страшила не столько смерть, сколько смерть в безвестности, с чужим именем. В конце концов я надумал переkreить свою фамилию так, чтобы любой знакомый сразу догадался, кто это.

— Национальность? — Таков был первый вопрос, заданный мне в приёмном покое больницы Семашко.

— Еврей, — ответил я. — Адунцман Лео.

— Отчество?

— Леонидович, — уверенно сказал я.

Врач, мужеподобная дебелая женщина, выкрашенная хной, недоверчиво смерила меня взглядом.

— Хорошо, — сказала она и, повернувшись к кому-то, распорядилась: — Позовите кого-нибудь из врачей-евреев.

— Зачем?

— Пусть поговорят с ним по-еврейски, — был ответ.

Было ясно, что речь идёт о европейских евреях, которые говорят на идише, основанном на каком-то диалекте немецкого языка. Это вовсе меня не смутило. Некогда я вознамерился прочесть «Фауста» в оригинале, несколько месяцев кряду всерьёз штудировал немецкий, даже выучил наизусть «Мариенбадскую элегию» по-немецки. «Евреи народ умный, — подбодрил я себя, — произнесу несколько слов, они сразу смекнут, в чём дело, и помогут».

Санитар, посланный с поручением, вернулся ни с чем.

— Все евреи смылись по домам, — сказал он.

— Все? — строго спросила врач.

— Все, — стоял на своём санитар.

— Ладно, — немного подумав, уступила крашенная. — В понедельник выясним. Они же так или иначе явятся на работу. С меня сняли всю вымазанную кровью одежду, взамен же ничего не дали. Я остался в одних трусах и босой. Стоял в холодной приёмной, а голова и бока по-прежнему кровоточили. Кругом галдёж, плач и стоны.

— Бу эрманиди, — внезапно взвизгнула одна из медсестёр, тыча пальцем в мою сторону, — эрманиди¹⁹.

Худое лицо и буравящий взгляд медсестры показались мне тоже знакомы, только вот где ж я видел её?

— Это армянин, — не в силах уговориться, прошипела медсестра, — говорю вам, армянин.

— Может, ошибаешься? — сказала ей другая женщина. — На нём живого места нет, как ты его признала?

— Она меня с кем-то путает, — из последних сил я попробовал защититься.

— Нет, он армянин, эрманиди, — с ненавистью твердила та.

Но коль скоро мою принадлежность к евреям исключить было всё-таки нельзя, меня, несмотря на протесты медсестры, отправили в хирургическое отделение.

Хирург был из горских евреев. Он безотлагательно занялся раной у меня на голове. Тут-то в его кабинет и вломилась упёртая медсестра.

— Это армянин, — опять завизжала она, — незачем ему повязку накладывать.

— Кого ко мне направлять — это ваше дело, а не моё, — невозмутимо возразил хирург, обрабатывая как ни в чём не бывало рану. — Но раз уж человек попал сюда, будь он хоть африканец, я сделаю всё, что надлежит.

— От пса родится пёс, от человека — человек, — глубоко вздохнув, сказал врач, когда медсестра ушла. — Вот от таких, как эта, никто, кроме зверя, не родится. Двунюхого зверя, какими забиты сегодня бакинские улицы. Такие, как она, наплодили... Главное — обработай раны на голове, — довольно поздно пояснил он, — а раной на боку я заняться уже не успею, видишь, сколько народу?

Коридор являл собой жуткое зрелище — окровавленные, сходящие от боли с ума люди со следами побоев, издевательств и пыток, стоны, слёзы, рыдания.

— Преимущественно это ваши соотечественники, — сказал врач. — Боятся признаться, что армяне, но всё-таки ваши соплеменники. — И, помолчав, пробормотал, словно себе самому: — Боже, за что, за какие прегрешения Ты караешь детей Своих столь тяжкими карами?

Хирург наложил мне шесть швов на голове и ещё несколько под глазом и на подбородке.

Всё ещё раздетый и босой, я кое-как, цепляясь за двери, вышел в коридор и, спиной опираясь о стену, медленно убрался в сторонку. Было холодно, меня трясло, то ли сон одолевал, то ли мучили кошмары, неодолимо соблазнял, притягивал, манил к себе пол, однако я всё-таки держался на ногах. Мало-помалу остатки сил иссякли, коленки сами собой подкосились, и, усталый, ослабший, я опустился на пол и тотчас ощутил, как он холоден. Я так и сидел, голый и босой. Всё тело ломило, во рту пересохло. Но никому не было до меня дела. До ушей долетали обрывки разговоров, будто потерпело крушение судно, под завязку набитое армянами, в Первомайском переулке зарезали детей, там и сям похитили десятки совсем юных красивеньких армянков, чтобы вывезти в Турцию и сбыть в ночные клубы. Я до смерти устал и обессилел от нескончаемых этих мук, непрерывных криков, плача, тяжких стонов и причитаний.

Постепенно все эти крики, плач, причитания и стоны сливались в отдалённый и неразличимый гул. Я чётко понимал, что сознание временами покидает меня, и чувствовал, что из раны слабо сочится кровь, чьё тепло даёт о себе знать. Позже почудилось, что кто-то произнёс моё имя. Я вздрогнул, потому что не называл его врачам. Меня подташнивало, голова стала горячей, набухла, в сладкой полудрёме я с предельной отчётливостью разглядел на лестнице сотрудницу сберкассы с её улыбочкой, едва заметное колыхание занавески овевало прохладой лицо, между тем черты визгливой медсестры и женщины из сберкассы смешивались между собой, и сколько я ни силился, всё равно не разбирал, кто тут медсестра и кто та, что так обходительно и любезно обслуживала меня в сберкассе. Я пребывал в лихорадочном, бредовом, полубоморочном состоянии, временами забывая, где я, собственно, и что за шум вокруг; то мне мерещилось, будто я здесь давным-давно, а то, наоборот, — это тянется всего лишь один день. Разом стемнело, рассветало и снова стемнело, или ж это просто включают и выключают свет? Иной раз мне казалось, что меня собираются куда-то увести, что из-за меня спорят и ругаются. Сквозь пелену глубочайшего забытья мне виделась поодаль, близ окон, группа юношей и девушек в белых халатах. Я почему-то не сомневался — это студенты мединститута, и Рена среди них... Именно так, она была среди них, я видел её... только б она меня не заметила, не подошла... Чуть погодя мне показалось — я отчётливо слышу Ренин голос, Бог ты мой, я же не хотел, чтоб она меня видела в таком состоянии, не хотел. У меня не доставало сил открыть глаза и увидеть её, я только слышал её голос. «Я соскучилась по тебе, — сказала Рена, голос её слышался более чем ясно. — Соскучилась, — повторила она, — но

¹⁹ Бу эрманиди, эрманиди — Это армянин, армянин (азерб.).

ничего не могу поделать, я до тебя не дотягиваюсь...» Ренин голос отдалялся, почему-то мне слышалась в нём горечь. «Пошли со мной, — сказала она, — заберёмся на другую планету, туда, где другие законы, и люди тоже другие, совершенно не похожие на тех, что здесь...» Я силился встать и подойти к Рене, да только ноги не подчинялись мне. Далее вроде бы зазвучала траурная музыка, мне хотелось окликнуть, удержать Рену, но не выходило, губы не разлеплялись. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» — прошептал я, теряя последнюю надежду, и почувствовал, что по щекам текут крупные тяжёлые слёзы. Потом всё разом обрушилось, низвергнулось и погрузилось в непроницаемый мрак.

Я пришёл в себя в больничной палате. Левый глаз не видел вообще, правый, наполовину заплывший, — только сквозь ресницы. Да, это была больничная палата — четыре койки, грубо оштукатуренные стены, с потолка на местах ободранном электропроводе свисала лампа в сто пятьдесят ватт. Две койки у правой стены, две у левой, все заняты, при каждой койке тумбочка. Я лежал справа от двери. Про себя я наделил своих соседей по палате порядковыми номерами. Слева от двери первый и, ближе к окну, второй, напротив второго, у правой стены, — третий. Сам я оказался четвёртым.

— Эй, Хафиз, глянь-ка, что сотворили с этим парнем, как отделали да разукрасили, — со смехом сказал номер первый, вставая с постели. — Валлах, будто тысяча пчёл его покусала.

— Страшное дело... Атаганын джаны²⁰, Аллаверди, не приведи Господь быть в Баку армянином. И не только быть, но даже походить на него. — Это произнёс второй номер.

— Может, он уже концы отдал? — тот, кого называли Аллаверди, осторожно подошёл и немного постоял около меня. — Да нет, вроде бы дышит. Молодой парень. Отдубасили его что надо. Должно быть, армянин. Вроде похож.

По тому, как прошаркали шлёпанцы, я понял, что он отошёл и сел на койку.

— Атаганын джаны, в городе жуть что творится, сплошные погромы и грабежи. Кое-кто, как в восемнадцатом году, за день миллионером становится. Я уже различал их голоса; это был Хафиз.

— Верно, резня и грабежи знатные, — подтвердил Аллаверди, словно сожалея, что в такое замечательное время их угораздило слечь в больницу. — Здесь что, в Карабахе — вот где надо резать. В Агдаме одиннадцать тысяч вагонов оружия — против Ирана. Если столько в Агдаме, представь, в других-то местах сколько. Вот это оружие надо пустить в ход не в Иране, а против бунтовщиков-армян. Жанна Галустян, Зорий Балаян, Серж Саркисян, Роберт Кочарян, Максим Мирзоян, Манучаров, Игорь Мурадян — всех их надо вырезать и ограбить. Нужно тайком по одному уничтожить всех этих сепаратистов. Для такого святого дела денег жалеть не надо. Они мутят воду. Явились, мы их приютили на своей земле, теперь они надумали хозяевами там стать, к Армении присоединиться. Можно подумать, настоящие-то хозяева вымерли.

— Правильно говоришь, — одобрил его Хафиз. — Самолётами хачкары свои завозят, в лесах сбрасывают, а потом, дескать, смотрите, тут историко-архитектурные наши памятники.

— Да брось ты, Хафиз, что ещё за памятники? Надо будет, взорвём, с землёй сровняем, как в Джульфе было, кому какое дело. Кто силён, тот и хозяин, у сильного всегда виноват слабый. Для слабака, для немощного нигде нет ни любви, ни спасения. Это не я сказал, Некрасов сказал сто с лишним лет назад. А мысль Аристотеля, мол, истина превыше всего — просто глупость. Нефть, к примеру, дороже истины. Так было, так и будет. Карабахский вопрос не только в том, чтоб удержать Карабах в руках Азербайджана. Неважно, что 1 декабря 1920-го Нариман Нариманов и Серго Орджоникидзе произнесли высокопарные речи, а Бакинский совет принял резолюцию, что Азербайджан добровольно отказывается от спорных территорий и передаёт Зангезур, Нахичеван и Нагорный Карабах советской Армении. По этому поводу, кстати, и Сталин выступил в «Правде». Это, Хафиз, была чистой воды дипломатия, создавалось общественное мнение. Вот и сегодня вопрос не только в том, чтобы сохранить Карабах в составе Азербайджана, но и в том, чтобы вернуть себе Зангезур и наконец-то достичь заветной цели — соединиться через него с нашими братьями. Демирель недаром говорит, что двадцать первый век — век турок. — Аллаверди сделал небольшую паузу. — Наш век, Хафиз, потому что никакие мы не азербайджанцы, это всё выдумки Сталина, мы турки, асил²¹ турки, и Эльчибей это подтверждает. Пьянство, наркотики, мздоимство и падение нравов погубили могущественную Византию и открыли тем самым дорогу туркам. Сегодня на краю столь же бесславной гибели стоит Россия. Александр Второй за семь миллионов долларов продал Аляску Америке. Более полутора миллионов квадратных километров с колоссальными запасами золота и рыбы за такую ничтожную плату. Чего ждать от подобного государства? Крым отдали Украине, сотни тысяч квадратных километров — Казахстану. Правая рука не знает, что делает левая. Территорию, в шесть раз большую, чем Карабах, да ещё богатую газом и нефтью в Беринговом море, Горбачёв и Шеварднадзе недавно подарили той же Америке. Ставь на России крест, нет больше России. Вся русская нация пьяной валяется под забором, молодёжь, и парни, и девушки, загублена водкой и наркотиками. Её песенка спета, роста нет.

²⁰ Атаганын джани — клянусь Атаганом (*азерб.*). Атаган — реальный человек по имени Мир Мовсум, живший в посёлке Шувелян близ Баку, где и похоронен. Считалось, что у него нет костей, об этом говорит его прозвище (Атага означает «состоящий из мяса»). Слыл святым, его могила стала святилищем, у неё совершают жертвоприношения.

²¹ Асил — настоящие, чистокровные (*азерб.*).

Русское население за год уменьшается на два-три миллиона. Знаешь, чем это пахнет? Через пятьдесят-шестьдесят лет русские не будут уже составлять большинство в своей стране. Тут и кроется наша следующая задача, дорогой мой Хафиз... Да, в двадцать первом веке нас ждёт большое будущее. Большое и светлое. Пока что под ногами у нас путаются манкурты-армяне... временные наши соседи...

— Как тут не посетовать? — вздохнул Хафиз. — И как только наши не покончили с ними в пятнадцатом-двадцатом годах... А теперь они снова голову подняли... Только вот 17 октября 1942-го турецкие войска должны были войти в Армению, армия Исмета Иненю стояла наготове у границы, да Сталинград испортил всё... Атаганын джаны, я бы на первом же телеграфном столбе повесил Зория Балаяна, втором — Абела Аганбекяна, ну а потом Серо Ханзадяна, Брутенца, Шахназарова, Токмаджяна, Ситаряна, Кркоряна, Шарля Азнавура, Гюльбенкяна, Алиханяна, Хачатуряна, Капутикян...

— Больших людей у них столько, что у вас телеграфных столбов не хватит, — вмешался в разговор третий номер.

— А, так вы проснулись уже, — сказал Аллаверди. — А мы думали, спите.

— Если думали, что сплю, почему же так громко разговаривали? — сделал замечание третий.

— Простите, вы правы, — согласился Хафиз. — Атаганын джаны, валлах, совершенно правы.

— Меня зовут Мирали-муаллим. — Третий помолчал секунду и добавил: — Мирали Сеидов. Я работаю в Академии наук. А как зовут вас?

Хафиз и Аллаверди представились. Выяснилось, что Хафиз работает в таксомоторном парке, а вот Аллаверди — редактором в одном из издательств.

— Когда меня привезли, вы спали, — спокойно сказал третий. — Давно вы здесь?

— Пожалуй, недели две. Меня с Хафизом положили практически одновременно и выпишут, видно, тоже вместе, — широко улыбнулся Аллаверди. — Уже надоело, да и лечение подходит к концу. Лекарства и дома можно принимать.

— А у меня давление, — пожаловался третий, Мирали-муаллим. — Случается, за двести зашкаливает. Ужасно. Как схватит за шею, так и жмёт, того гляди, голову сорвёт. А этот вон товарищ, он кто? — Похоже, третий спросил обо мне. — Видно, состояние у него тяжёлое, всё время стонет, бредит.

— Кажется, еврей. Привезли часа два назад. За два дня с этой койки четверо ушли на тот свет. Все армяне, все избиты, жутким образом изувечены. Одного звали Володя, фамилия Саркисян, другой Михаил Саруханян, ещё один совсем старик, еле-еле душа в теле, глаз у него вышибли, звали его Галустом, по фамилии Налбандян. Ещё один был Пётр Налбандян. Имена у меня записаны, надо бы ребятам отдать.

— Ты посмотри, слово «налбанд» и то у нас украли, — хохотнул Хафиз. — Интересно, чем их кололи, что через пару часов — готов, отдал концы? Атаганы джаны, главврачу Джангиру Гусейнову надо бы дать звание национального героя. Точно вам говорю.

— Мы думали, этот тоже ноги протянул, — засмеялся Аллаверди. — Ан нет, дышит.

— Ну, раз дышит, может, ещё не помер, — сострил Хафиз и сам загоготал над своей остротой. — Видно, здорово ему наkostenяляли.

На минутку все умолкли. Тех двоих я не видел, а вот Аллаверди стоял прямо напротив, его я разглядел. Губастый, с мохнатыми бровями, мутными глазами, торчащим кадыком и широкими ноздрями детина лет тридцати пяти, словно накурившийся гашиша. Жидкие волосы то и дело падали на лоб, иногда он убирал их назад. Говорил он медленно, слова точно нехотя падали из-под желтоватых прокуренных усов.

— Пойдём покурим, Хафиз, — предложил Аллаверди; по полу снова прошаркали шлёпанцы.

Увидел я и Хафиза — среднего роста, сухое, покрытое мелкими морщинами лицо и блестящая под светом электролампочки лысина на вытянутой, как дыня, голове.

Они вышли. Настала затяжная тишина. Третий номер, должно быть, углубился в чтение, отчётливо было слышно, как он переворачивал очередную страницу.

— Йа аллахи бисмиллахи рахмани рахим²². Атаганы джаны, чего только не рассказывают, — вернувшись через некоторое время в палату, воодушевлённо произнёс Хафиз. — На берегу, как в сентябре восемнадцатого, суматоха, всё перемешалось, родители детей не находят, брат сестру, жена мужа. У кого не нашлось денег пробраться на пароход, ополоумев, кидаются за ним вплавь по морю, потом идут ко дну. Армян поджигают и с верхних этажей швыряют вниз, убитых спешно собирают по дворам и улицам и вывозят на самосвалах, а у Сабунчинского вокзала, говорят, жарят шашлык из молодых армянок и пируют.

— А ты, Хафиз, ел шашлык из хорошенькой девицы? — смеясь в усы, спросил Аллаверди.

— Чего не ел, того не ел, — помотал головой Хафиз и двинулся к своей койке. — Занятно, каков он на вкус, — уже оттуда послышался его голос. — Атаганы джаны, ни из армянок, ни из свинины шашлыка не пробовал. — Он хохотнул.

²² Йа аллахи бисмиллахи рахмани рахим — Во имя Бога, милостивого, милосердного (*араб.*).

— Этого им ещё мало, надо их под корень истребить. Ну, может, оставить одного, чтобы в музее выставить, как говаривал кайзер Вильгельм.

— Позвонил я брату, — сказал Аллаверди. — Так он говорит, мемориал двадцати шести комиссарам в пыль и прах разнесли, меркуровские статуи разбили, вот уже два часа, говорит, ломают дверь армянской церкви, пока не поддаётся. Парни половчей поднялись на купол, выломали крест, влезли сверху внутрь и всё, что там было — все эти книги с крестами, иконы или что там у них, — всё вышвырнули на улицу и сожгли. Кто-то, говорят, углём на церковной стене большими такими буквами написал «Абщественни тувалет». Народ сгрудился, хохочет, аплодирует. Памятники Кирову и Ленину тоже скинули. Хотя, между прочим, отменные были памятники. Особенно памятник Кирову... Русские тоже бегут.

— Русские-то почему? — спросил Мирали-муаллим.

— Потому что понимают — с армянами покончат, придёт их черёд. Списки живущих в городе русских уже готовы. По специальному распоряжению они второй месяц не получают пенсии, в магазинах им, как и армянам, даже хлеб не продают. Так-то вот... Кому не известно, что русский — извечный враг турка? Пускай проваливают с глаз долой в свою страну, это наша земля, на своей земле жить нам и никому другому. Говорят, все стены пестрят надписями «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы». Неплохо, да? С моим братом дверь в дверь жили русские. Я раньше у брата жил, всех их знаю. Так вот, вышибли у них дверь, вошли, хозяина как следует огрели по башке, а жену, Галину Ильиничну, и дочку Ольгу, ей двенадцать лет, очень красивенькая, пальчики оближешь, вшестером изнасиловали. У них ещё дочка есть, Марина, четыре годика, её, пока дверь выламывали, успели спрятать под диваном на кухне, ну, те и не заметили. Ещё двух-трёх русских девушек изнасиловали в разных местах, несколько семей выгнали из квартир. В центре города одного убили — Александр Гаврюшин, сорок лет. Топором зарубили, он вроде бы пытался жену и дочку защитить, которых потом двадцать человек изнасиловали. Придурок он, тот русский, чего, спрашивается, против двадцати душ попёр? Из-за этого случая среди русских, говорят, возникла паника. Говорят, в сегодняшних газетах к ним обратился Бахтияр Вагабзаде — дескать, не уезжайте.

— И зря, — весело отозвался с места Хафиз. — Пускай катятся, ещё лучше. Дома-то и имущество нам останутся.

— Забыл сказать. У русских и зарубежных журналистов отнимают и разбивают фотоаппараты и видеокамеры. Вот это правильно. Не то пойдёт гулять по миру всякое враньё про нас. Ах да, — от души рассмеялся Аллаверди. — В Кировабаде снесли памятник маршалу Баграмяну, а памятник Шаумяну здесь повалили, на его место собаку привязали.

— Молодцы! — обрадовался Хафиз. — Получай, чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, жри. Валлах, этого ещё мало. Мемориал двадцати шести комиссаров надо снести, надо с землёй сровнять и сказать — нету, не убивали, все восемь комиссаров-армян удрали в Индию.

— В Кировабаде из дома инвалидов вытащили двенадцать армян — одиннадцать баб и мужика — да и похоронили заживо километрах в сорока от города. На берегу Куры. Шестерых таким же манером у Аджикенда схоронили. Ещё говорят, что с вертолётки видели — в окрестностях Ханлара висельники на деревьях.

— Ай, молодцы, ай, здорово, — снова воодушевился и обрадовался Хафиз. — Надо б армянские кладбища разрушить, чтобы духу их тут не было. Правительство наше наверняка этим займётся.

— А что они себе думали! Подсчитано, в одном только Баку и окрестностях девяносто две тысячи домов и квартир освободятся, — сказал Аллаверди. — Каждой азербайджанской семье из Армении по три квартиры. Пускай живут и кайфуют в армянских домах. Хватит, отмучились под их властью. Профессор Вагиф Арзуманов разрушил стену, влез к соседям-армянам и вытурил их на улицу.

— Атаганы джаны, пора домой, мне тоже квартира нужна, — воскликнул Хафиз. — Сегодня же выпишусь. Горсовет принял специальное постановление — занимать жильё армян. Пойду приберу к рукам какой-никакой домишко.

— Послушай забавную историю, Хафиз. На втором этаже девятнадцать армян, женщины, мужчины, избитые, человеческий облик утратившие, набились в шестую палату. Ну-ка вообрази, девятнадцать человек, обезображенных, израненных, в пяти- или шестиместной палате. Настоящая душегубка, помощи никакой, совершенно никакой, наоборот, азербайджанцы, врачи и больные, приходят с разных этажей, поносят их последними словами и лупят почём зря. Два мужика и бабка восьмидесяти лет этой ночью концы отдали. Должно быть, от духоты или от жажды.

— А я что говорю? — оживился Хафиз. — Главврачу звание героя надо дать. Пускай все так и сдохнут. Умирает один турок, зовёт муллу, смени, мол, мне веру, хочу стать армянином. Мулла меняет ему веру, тот испускает дух и напоследок говорит: «Вот и славно, ещё один армянин помер».

— Дверь они подпёрли изнутри койками и прочим, — продолжил Аллаверди, — забаррикадировались, чтобы наши к ним не входили. Карабах, видишь ли, захотели, миасун, миасун, — растягивая слова, закончил он. — Ну, вот и получите свой миасун²³.

²³ Миасун — искажённое армянское слово, означающее «воссоединение».

— Не мiasун, а мiasум, — поправил его третий номер. — Япония тоже, к примеру, хочет «мiasум», требует вернуть Шикотан и другие острова Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Хабомаи. Почему же русские не режут японцев? Русские в Крыму устроили демонстрацию, требуют присоединить Крым к Российской Федерации. В Москве очень видные деятели, Лужков и другие, поддерживают их в этом вопросе. Почему же украинцы не режут русских в Крыму? Баски в Испании требуют самоопределения и независимости, но их в Испании никто и пальцем не трогает. То же самое с шотландцами в Великобритании. Примеров такого рода сколько угодно, всё это в цивилизованном мире в порядке вещей. Неужели же мы не нация, не народ, а сборище разномастных полудиких племён? На мирную демонстрацию в Степанакерте мы ответили чудовищной сумгаитской резнёй, скотским образом насиловали старух и детей. Какая связь между сумгаитскими бедолагами, армянами-рабочими, и митингами, которые проходили в сотнях километров от них? Никакой.

— В Аскеране убили двух невинных азербайджанцев, — попытался привести довод Аллаверди.

— Есть у тебя твёрдые доказательства, что их убили армяне? Нет. Потому как армяне их не убивали, их убили наши. Чтобы организовать бойню в Сумгаите, нужен был предлог. В день инцидента всё республиканское руководство было там — в Агдаме, в двух шагах от Аскерана, следующим вечером они в том же составе — Багиров, Гасанов, Сеидов, Асадов и другие — были уже в Сумгаите. Это вам ни о чём не говорит? А насчёт этих двух невинных азербайджанцев я вам задам вопрос. Что они там делали, их что, армяне на свадьбу в Карабах пригласили? Многотысячная толпа шла громить мирное армянское население, и они шли в этой толпе. Тем временем армяне стояли перед обкомом партии и облисполкомом. И, не нарушая ни единого пункта Конституции — Основного закона советской страны, обратились к Верховным советам Азербайджана и Армении с просьбой — не требованием, а просьбой — присоединить область к Армении. Почему? Потому что в минувшие шестьдесят семь лет — и этого не отрицают ни политбюро, ни генеральный секретарь — непрерывно подвергались дискриминации. Права армянского населения постоянно ограничивались и попирались. Ни в дни сумгаитского кошмара, ни после армяне не позволили себе спровоцировать ответную резню, продемонстрировали такой уровень национального самосознания и гордости, который сравним с польским сопротивлением тоталитаризму. Вот это и есть величие нации, потому что измеряется оно вовсе не в количестве, как не измеряется ростом величие человека.

— Но ведь в Капане-то наших убивали? — сказал Аллаверди.

— Если мы серьёзные люди, — чрезвычайно спокойно возразил Мирали-муаллим, — и говорим всерьёз, то не должны опускаться до уличных пересудов и газетных «уток» иных борзописцев. Есть факты и есть умозрительные предположения, это разные вещи. Нам подобает говорить языком фактов. И я как профессор, доктор наук и человек, проживший на свете семьдесят лет, знающий несколько языков и в их числе армянский, читающий армянских историков и прессу не в переводе, предумышленно исковерканном и сознательно искажённом, иными словами, тенденциозно перекроенном, а в оригинале, так вот, я со всей ответственностью заявляю, что в Капане не был убит ни один азербайджанец. Всё это ложь. После погромов в Сумгаите, Кировабаде и других местах в Гугарке, горном районе Армении, произошли столкновения, в ходе которых погибло несколько азербайджанцев и армян. Памятуя, что каждая смерть сама по себе трагедия, скажу — в Армении, где до этих событий проживала сто шестьдесят одна тысяча азербайджанцев, погибли двадцать три наших соотечественника. Эта цифра неоднократно звучала у нас в парламенте. Именно столько. Между тем число убитых у нас армян исчисляется сотнями. Только в Баку, Кировабаде и Сумгаите, не считая Нагорного Карабаха и районов — Шемахи, Ахсу, Исмаиллы, Шамхора, Шаки, Дашкесана, Шаумяна, Ханлара и так далее, — только в этих трёх городах жило более полумиллиона армян, то есть втрое больше, чем азербайджанцев во всей Армении. Мой сын работает на высоком посту, не скажу где, но будьте уверены, он знает реальное положение вещей. Ну а то, что передают по телевидению и выдумывают в газетах, не имеет отношения к истине.

— Но вы же не отрицаете, что в восемнадцатом-двадцатом годах дашнаки творили насилие над нами, — сказал Аллаверди. — Один только Андраник как только не издевался над нашим мирным населением в Карабахе. Между прочим, это я включил известное стихотворение Расула Рзы против Андраника в первый том его сочинений.

— Во-первых, Андраник никогда не был в Карабахе, во-вторых, твои слова никак не связаны с нашим разговором, — в тоне Мирали-муаллима прозвучало некоторое раздражение. — Но я всё-таки отвечу. — Да, — подтвердил он, — я вовсе не отрицаю, что в Зангезуре были разорены тридцать азербайджанских деревень, не отрицаю, что зло порождает зло. Давайте вспомним содеянное мусаватистами. Пользуясь тяжёлым положением Армении, грузины захватили Ахалкалак, Ахалцих и значительную часть Лори и в сентябре восемнадцатого года позволили мусаватистам вместе с турецкой армией Нури-паши пройти из Тифлиса в Баку через Гянджу. По пути они разрушали и разоряли всё армянское. После их вступления в Баку здесь три дня и три ночи, да и позже тоже, продолжалась армянская резня. Одним из главных виновников резни был министр внутренних дел Бехбутхан Дживаншир, семью которого и его самого укрыл в своём доме во время мартовских событий Шаумян и тем самым спас от смерти. Между прочим, за организацию резни армянские мстители казнили Дживаншира и премьер-министра Хан-Хойского; первого в Стамбуле, а второго в Тифлисе. Точно так же за массовое уничтожение армян в пятнадцатом году заплатились жизнью Талаат-паша, Энвер-паша, Джемаль-паша,

великий везирь Саид Халим и другие... Кстати, останки Таалата из Берлина были переданы Турции по распоряжению Гитлера. Это о чем-то говорит?.. Словом, в то время в Баку, как и сегодня, рушили и жгли армянские жилища, грабили их имущество и насиловали кряду детей от пяти-шести лет до шестидесятипятилетних старух, и никто не смел схватить изуверов за руку... Я рассказываю это вам, в других местах не стану, прочёл документы в госархивах. Так вот, по этим архивным документам в те дни были изнасилованы пятьсот семьдесят две армянки, от пожилых женщин до юных девушек, причём отмечены многочисленные эпизоды, когда один и тот же человек был групповым образом изнасилован несколько раз. Были случаи, когда девочек десяти, двенадцати, четырнадцати лет насиловали на глазах родителей, когда мать и дочку насиловали одновременно и рядом, когда убивали мужчин и рядом с их трупами насиловали их жён, матерей, сестёр и дочек...

— В Сумгаите тоже такое бывало, — отозвался Аллаверди и широко, во весь рот зевнул. — На заседании политбюро, я читал стенограмму, министр обороны Язов сказал, что в Сумгаите азербайджанцы отрезали двум армянкам груди, одной голову, а с одной молоденькой девушки попросту содрали кожу. Наш народ, он такой — как почует запах крови, не знает удержу...

— И мы зовёмся нацией, — возмутился Мирали-муаллим, — зовёмся людьми? Кто же в таком случае зверь, если мы люди? По официальным данным за два месяца того самого восемнадцатого года в Баку были похищены тысяча сто сорок две молодые армянки — замужние и девушки. Повторяю, по официальным данным, а сколько их похитили на самом деле, один Аллах знает. Их прятали в предместьях Баку, на дачах, в деревнях. Кого-то продали в Персию курдским бекам, кого-то увезли в Турцию и арабские страны. Сколько ни бился Бакинский армянский национальный совет, пытаюсь отыскать их и спасти, — тщетно, никого не нашли. Из живших тогда в Баку ста десяти тысяч армян почти половина была в те дни перебита. А двадцать пять тысяч голодных и почти раздетых армян, которые успели бежать из Евлаха, Гёкчи, Агдаша, Ахсу, Шамахи и других мест накануне вступления туда турецких войск, — с ними-то что случилось? Они в страшных условиях укрывались в Маразе и в других молоканских деревнях, но дальнейшая их судьба неизвестна, как и тех десяти-двенадцати тысяч армянских солдат и офицеров, которые возвращались с западного фронта. После кровавых январских событий в Шамхоре, в чем виновны и грузинские меньшевики, а именно Рой Жордания и Рамишвили, железная дорога была перекрыта, из-за этого они застряли в Баку. Начиная со станции Альят вдоль всего железнодорожного полотна — Кюрдамир, Ляки, Гаджигабул, Халдан, Уджар — вплоть до станции Пойлу на грузинской границе создавались концлагеря. Там день и ночь заставляли работать армян. Доведя до полного изнеможения, их убивали. Тюремь тоже были битком набиты армянами, которых там чудовищным образом истязали. Армян без всяких на то оснований хватили на улицах и даже в собственных их домах, уводили, и больше никто и никогда их не видел. Увы, наше первое государство поднялось на крови невинных жертв. В 1916 году на территории Шаки проживало сорок пять тысяч армян, после прохождения здесь турецких войск Нури-паши их осталось четыре тысячи четыре человека, то же самое в других местах, населённых армянами. На территории Шамахов, где до турок жило семьдесят две тысячи армян, по переписи 1926 года осталось двенадцать тысяч, шестьдесят тысяч были уничтожены. А что сделали мусаватисты и турки со многими тысячами армян Кубы, Хачмаза и Ленкорани? В десятках деревень в этих краях армян истребили. В Нухе за несколько дней сожгли одиннадцать армянских деревень. Не прошло и десяти лет, как повторно были razорены все армянские селения Нахичевана, Ордубада, Ареша, Казаха, Евлаха, Гёкчи, Ахсу, Агдаша и город Агулис. В одном только нынешнем Шемахинском районе разрушили двадцать пять армянских деревень, не считая армянского квартала в самой Шемахе, доброй сотни деревень в Карабахе и города Шуши. Грузинская газета «Цкори Фурцели» писала в те дни об участии этого города: мол, был на Кавказе бриллиант, а турки его разбили. Впрочем, речь у нас не об этом.

— Как бы то ни было, армянам не следовало требовать у нас Карабах, — растянувшись на койке и снова смачно зевнув, сказал Аллаверди.

— Здесь я с тобой солидарен, — быстро сказал Мирали-муаллим. — Сейчас объясню почему.

Склонив голову набок, Аллаверди внимательно смотрел на собеседника.

— Во-первых, скажу, что Карабах для нас это лишь территория, а для них — святая родина, во-вторых, армянам не следовало требовать у нас Карабах, потому что Карабах, как и Нахичеван, отнял у них отнюдь не Азербайджан — их подарила нам Москва. Точно так же в 1921 году, согласно московскому договору, Арарат, как и некоторые другие армянские районы, был передан Турции взамен на Батуми, который был присоединён к Грузии. Поэтому здесь я с тобой согласен, армяне должны требовать Карабах не у нас, а у Москвы, которая и спровоцировала национальные раздоры и вражду. Вот тебе новое тому доказательство — в Баку сегодня армян беспощадно убивают, а в Нагорном Карабахе, где нашли прибежище армяне из Сумгаита и других мест, Горбачёв ввёл паспортный режим и чрезвычайное положение. Да и сумгаитские погромы подстроили не азербайджанцы, а наша партийная мафия, повинувшись указаниям из Кремля. Почему погромы не были пресечены, почему армия три дня не вмешивалась и бездействовала? Почему по распоряжению министра внутренних дел за несколько дней до погромов из тюрем выпустили семьсот уголовников? Ясно почему. Знаете, что ответил первый секретарь ЦК компартии Азербайджана Абдурахман Везиров одному из руководителей народного фронта, старшему сыну Самеда Вургуну Юсифу Самедоглы? Самедоглы передал ему, что в субботу

тринадцатого января в городе ожидаются армянские погромы и следует предпринять срочные меры. В ответ прозвучало: «Ничего, пусть ребята немного порезвятся».

Мирали-муаллим немного помолчал.

— Вот что такое тщательно организованные погромы. Да, по всем признакам эти погромы организованы под прикрытием сверху. Перед нами последовательно проводимая имперская политика — разделий и властвуй. Почему организаторы и исполнители сумгаитского геноцида, этого жуткого злодеяния, не понесли достойной кары? Если б их примерно наказали, сегодня в Баку ничего бы не было. Руководство страны совершило не менее тяжкое преступление — массовое истребление армян в Сумгаите по национальному признаку было квалифицировано как обычное уголовное преступление. Почему возглавить расследование поручили тому, кто замешан в этом деле? Неужели кто-то сомневался, что Катусев в лепёшку разобьётся ради того, чтобы развалить дело? Кто даст ответ за такое головотяпство? Да никто. Потому что межнациональные распри и погромы затевают враги перестройки, они погубят и перестройку, и Горбачёва, как погубили в своё время Хрущёва, натравив его на интеллигенцию и тем самым лишив его самых надёжных единомышленников, тех, кто был благодарен ему за освобождение из лагерей. Разве не противники перестройки сделали так, что политбюро на закрытом заседании послало двух своих членов, Александра Яковлева и Егора Лигачёва, к нам в Закавказье? Яковлева — в Ереван, где тот заявил, что Карабах — историческая часть Армении, а Лигачёва — в Баку, где тот сказал прямо противоположное: «Карабах останется в составе Азербайджана». И тут сразу подняли голову организаторы Сумгаита и те, кто падок на дешёвую популярность у народа. Хотя на самом-то деле плевать им на народ. Только что кто-то из вас намеревался повесить на телеграфных столбах Зория Балаяна, Серо Ханзадяна и прочих... А что, Зия Буниятов, у которого, между прочим, первая жена была армянка, она-то во время войны и выходила в госпитале, спасла от смерти командира штрафной роты Буниятова, а потом родила ему сына, Бахтияр Вагабзаде, чья бабка тоже была армянка, Байрам Байрамов, Халил Рза, Гасан Гасанов, Сабир Рустамханлы, Зейнаб Ханларова, Азад Шарифов и другие, — что, все они так-таки безгрешны? В 1905 году, когда Николай Второй коварно столкнул лбами наши народы, и в восемнадцатом, после поражения Бакинской коммуны, достойнейшие сыны двух наших народов — Сабир, Ованес Туманян, Джабар Джабарлы, известный карабахский врач и поэт Левон Атабекян, которого убили, когда он шёл на переговоры с белым флагом в руках, — все они поднялись против дикости и осудили как инициаторов, так и организаторов розни. А что делают сегодняшние наши писатели и деятели культуры? Они заняты тем, что стравливают народы и возбуждают страсти. К несчастью, и армяне, и мы, азербайджанцы, постоянно выпячивают то, что нас разделяет, и совсем не задумываются над обратным, ибо того, что нас объединяет и связывает, гораздо больше того, что разъединяет. Ведь у нас, за ничтожным исключением, схожие обычаи, музыка, песни и пляски, кушанья, почитание родителей и вообще старших, уважение к женщине, нравственные устои. Мы одинаково понимаем семейную честь и гостеприимство, у нас одинаковые свадьбы, душевные беседы, смех и веселье, да почти всё такое родное и близкое. И всё это игнорируется, потому что не выгодно Кремлю и нашей верхушке. Англичане за три дня достигли Фолклендских островов, а те находятся за много тысяч миль от них. И столько же времени понадобилось нашим армейским подразделениям, чтобы добраться с военной базы Насосная под Сумгаитом до самого города. Они опоздали не на три часа, Горбачёв по обыкновению лжёт, а на три дня. Ну, а на сколько дней армия опоздает сюда, в Баку, неизвестно. Многие из тех, кто совершает постыдные дела, мастера произносить красивые речи. Горбачёв из них. Сегодня на дворе январь 1990-го, я бы сказал, чёрный январь. Попомните моё слово, эта резня устроена специально для того, чтобы ввести войска в Баку. И не для защиты армян, а чтобы провести предстоящие парламентские выборы в условиях чрезвычайного положения и сохранить коммунистический режим. Очень скоро вы станете тому свидетелями.

— Мирали-муаллим, — сидя на койке, вкрадчиво и хрипло сказал Аллаверди. — Я вижу, у вас феноменальная память и вы знаток истории. Я тоже неплохо её знаю, но я специалист по литературе и, между прочим, издал две книжки стихов. Наверное, вы слышали моё имя — Аллаверди Мамедлы. Словом, я не историк. Я редактировал шеститомное собрание сочинений Расула Рзы, много раз встречался с ним на втором этаже Пассажа, в его шикарном доме. Так вот, он говорил, что карабахские армяне — пришлые, это Грибоедов переселил их из Ирана к нам в Азербайджан. И ещё он сказал одну вещь, которая не выходит у меня из головы. Нельзя, говорит, отдавать другим землю, коня и свою жену, их, говорит, завоёвывают кровью.

— Я был во Франции в национальной библиотеке. Там хранится редкая карта семнадцатого века работы крупного итальянского картографа Джакомо Кантелли. Согласно этой карте, на землях, лежащих на правом и левом берегах Аракса, вплоть до правобережья Куры, жили армяне. Лишь армяне. Не было в этих краях никаких наших следов. Судя по этой карте, армянам принадлежали не только Ван, Карин (по-нашему Эрзрум), Карс, Ани, но и Нахичеван, Шуши и Джуга, которую мы впоследствии назвали Джульфа. Что пишут о нас энциклопедии мира? Скажу так — ничего. Первое издание британской энциклопедии было в восемнадцатом веке, и про Азербайджан там не было ни одного слова. То же самое в известной энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Интересной кажется исламская энциклопедия, первый том которой был издан в Нидерландском городе Лейден в 1913 году. Здесь название «Азербайджан» есть, но оно касается Иранского Атрпатакана-Азербайджана. О каком-нибудь Азербайджане в пределах Кавказа нет ничего. По этой энциклопедии

Атрпатакан-Азербайджан на севере граничит с Кавказом. То есть на Кавказе нет Азербайджана, а есть только южнее Кавказа, по ту сторону Аракса. Этому Азербайджану в энциклопедии посвящены полторы страницы, Армении — целых четырнадцать страниц. При этом, что касается Карабаха, то указано, что он является губернией Армении. В знаменитом Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона — она начала выходить в Санкт-Петербурге в конце прошлого века — тоже содержится ответ на твой вопрос. Вот выпью адефлан и отвечу, — помолчав, сказал Мирали-муаллим. — Давление немного поднялось. Я услышал бульканье воды из бутылки. Должно быть, Мирали-муаллим запил таблетку водой. Сидел он или лежал, не знаю, я его не видел. Подперев рукой подбородок, Аллаверди ждал ответа на свой вопрос.

— А во втором томе этой энциклопедии, — спокойно начал Мирали-муаллим, — название «Азербайджан» употреблено в качестве сугубо географического понятия и вовсе не относится к стране или государству. Ты прав, — обратился он к Аллаверди, — если природа и наградила меня чем-то, так это редкостная память, я могу поэтому назвать даже страницу. Там чёрным по белому написано: «Адербиджан, Адербейджан, Азербайджан, Азербейджан или Азарбайджан — область на севере Персии с озером Урмия, южная граница проходит по реке Кызыл-Узень, северная — по Араксу... Населена по преимуществу персами, но имеются также кочевые племена. Греко-римские писатели называли её Атропатена». О нынешнем Азербайджане речь там не идёт, об Армении говорится на нескольких страницах, есть и Грузия, и даже Дагестан, причём уезды Кюринг и Куба с городами Баку и Дербент входят в состав Южного Дагестана. Да, обо всём этом прочесть можно, но вот об Азербайджане — ни слова. Потому что ни прежде, ни в то время, то есть ровно сто лет назад, севернее Аракса, на всей территории Восточного Закавказья не было, не существовало такой страны — Азербайджан. Турецкий историк семнадцатого века Челеби в своей книге путешествий «Джихан-нума» приводит слова умершего в 1222 году Макаматы Шарнеша о том, что Армения состоит из трёх частей. Первая из них — Дебил, Каликала, Хлат и Шемисат, вторая — Партав, Байлакан, третья — Нахичеван. Партав и Байлакан охватывали всё междуречье Куры и Аракса, то есть Арран, который согласно арабским, персидским, турецким и европейским авторам являет собой северо-восточную часть Армении. Столица Аррана Партав, сегодняшний город Барда, в Средневековье назывался Эрмяни шагар²⁴, недалеко от Барды, под чинарами, и сегодня существует родник под названием Эрмяни булаг²⁵. Одним словом, страны, называемой «Азербайджан», в этих краях не было, её создали с помощью наших братьев турок, англичан и большевиков в 1918 году, главным образом за счёт Дагестана, Талишстана, Армении и Грузии. А также личных усилий Сталина и благодаря Сталину, потому что после расстрела Шаумяна, к которому Сталин безусловно причастен, все касающиеся Кавказа доклады и все вопросы Ленин поручал ему, советовался с ним. Жившие на отведённой нам территории народы и кочевые мусульманские племена — таты, амшары, турки, курды, татары, даглинцы, а в северных районах лазы, албаны, лезгины, ираноязычные талыши и таты и другие, — все они под диктовку того же Сталина в тридцать шестом году начали зваться азербайджанцами, по временному названию «Азербайджан», данному новосозданной республике. Ну а если возникла страна, то этой стране нужна своя история. Было решено создать и её тоже. По предложению Сталина в тридцать восьмом году создаётся комиссия во главе с русским учёным Дяконовым, куда входит и армянский историк Сурен Еремян. Дело их продолжил Ямпольский, а с шестидесятых годов — Зия Бунятов и другие. Поначалу речь шла о том, чтобы счесть нашими предками мидийцев, потом — албан. В двадцать третьем году у нас в Баку вышла книга «Краткий очерк истории Азербайджана». Её автор — Евгений Пахомов, и всё, что я тут сказал, можно найти в этой книге, почитайте сами. Если, конечно, найдёте её. — Немного помедлив, он добавил: — Впрочем, едва ли найдёте.

— Почему? — недоумевая, спросил Аллаверди.

— Согласно седьмой статье указа о цензуре султана Абдуллы Хамида в Османской империи запрещалось упоминать наименование «Армянское Нагорье», «Армения» и прочих историко-географических реалий наподобие этого. Я тебя спрашиваю, почему? В палате стало тихо.

— А не говорил ли тебе Расул Рза, что в роскошном доме Балабека Лалаева, где он с шиком обитает, его собратья девятого февраля пятого года зарезали всё семейство и домочадцев, включая малых детей, общим счётом двадцать четыре человека, самого же Лалаева с женой расстреляли прямо на лестнице? Ну а великолепный дом и всё имущество присвоили.

Снова стало тихо.

— Я не знаю, что тебе говорил Расул Рза, он ведь говорил это не мне, а тебе, — наконец произнёс Мирали-муаллим. — Что же до Грибоедова, это верно. При его содействии и непосредственной помощи сорок тысяч армян в соответствии с Туркманчайским договором перебрались в Армению, в Араратскую долину. Но их не выселили из родных мест, а наоборот, вернули туда, откуда их предков угнал шах Аббас. По приказу шаха в 1604–1605 годах были разрушены многие армянские сёла и города, а их жители — триста пятьдесят тысяч армян насильно переселены во внутренние районы Персии. Примерно столько же угнал и Надир-шах в 1734. Их потомками заселены в Карабахе всего несколько

²⁴ Эрмяни шагар — армянский город (*азерб.*).

²⁵ Эрмяни булаг — армянский родник (*азерб.*).

сёл. Ещё одно село из тех мест — Мадраса в Шемахинском районе, близ старинного селения Сагиян. В этом Сагияне тоже, как в Амарасе, Месроп Маштоц основал некогда армянскую школу. Повторяю, то, что я здесь излагаю, я нигде больше, конечно же, не стану рассказывать. Есть у армян поговорка: кто говорит правду, тому нужен конь у ворот. Однако мы обязаны знать истинное положение дел. На территории Карабаха, или, как говорили в старину, Арцаха (в разные времена она называлась по-разному: Орхистан, Цавдек, Малый Сюник, область Армянский Восток, Хачен), от восточного берега озера Севан и до Куры с Араксом, а оттуда до южной границы Грузии армяне жили с древнейших времён, отнюдь не после Грибоедова. Иначе византийский император Константин не адресовал бы в первой половине десятого века своё послание «в Армению, владетелям Хачена». В романе нашего классика Юсифа Везир Чменземели «Али и Нино» есть один отрывок, где описывается, что приехавшему в Шуши на отдых Али хозяин дома — азербайджанец рассказывает о том, как их предки пришли в Карабах, а также объясняет, что в старину Карабах назывался Агванк, а ещё ранее до этого — Арцах. Почитайте труды Ксенофонта, Страбона, других античных историков, а также Марко Поло, Алишана, Орбели, арабских авторов, и вы поймёте, что культурная среда на правобережье Куры была армянской, именно армяне создали эту среду. Все монастыри, церкви, крепости, хачкары на этой земле поставлены армянами, на самолётах это всё не перебросишь, как и другие историко-археологические памятники. Армянскими буквами и на армянском языке высечены десятки тысяч лапидарных надписей. И упоминаемые в них события, лица, факты, многократно засвидетельствованные Хамдаллахом Газвини, Шараф-ханом Битлиси, Джакомо Кантелли, Шарлем Дилом, Тревер, ибн Хаукали, а ещё назову имена Вольтемара, Жана Шардена, Аль-Истаками, Линча, Аль-Мугадасина, Абу-ль-Фараджа, средневековых армянских историков и иностранных авторов, в их числе и всех наших дореволюционных историографов. И наконец, названия у всех этих памятников тоже армянские.

— Выходит, их привёл к нам не Грибоедов? — спросил Хафиз.

— Если после стольких объяснений ты задаёшь такой вопрос, то стоит ли мне продолжать? — устало и с некоторой обидой в голосе сказал Мирали-муаллим и всё-таки продолжил: — Начиная с конца шестнадцатого века армянские мелики Карабаха установили дипломатические связи с рядом европейских государств и Россией. Документы, относящиеся к их взаимоотношениям, опубликованы. Они свидетельствуют, что европейские страны признавали меликов Арцаха-Карабаха самостоятельными, независимыми правителями. Сохранились послания католикаса Есаи и армянских меликов как римскому папе, так и Петру Великому, написанные в Гандзасаре в 1701 году. В них они просят помощи у папы и русского царя. Сохранились также два письма, написанных в 1726 и 1729 годах в крепости Шуши, о том, что в Карабах вторглось сорокатысячное турецкое войско. Имеются и грамота Петра Великого, и письмо императора Павла, адресованные меликам. В последнем конкретно указано количество армянского населения Карабаха — одиннадцать тысяч семейств. А Екатерина Вторая даже пообещала восстановить в Арцахе армянское государство. Наконец, доньше стоит построенный в четвёртом веке монастырь Амарас, где в начале пятого столетия, как я сказал, Месроп Маштоц открыл школу, где обучали армянской грамоте. Надо упомянуть и монастырь Гтич, построенный в девятом веке, и Гандзасар, и Дадиванк, построенные в двенадцатом веке, которые Якобсон считал энциклопедией армянского зодчества. А в то время, на которое ты сослался, в Шуши уже печатались армянские книги и периодические издания.

— А наши Панах-хан, Ибрагим-хан, Мехти-Гули-хан? — попытался сделать ответный выпад Аллаверди.

— А вот они — пришельцы, — незамедлительно дал ответ Мирали-муаллим. — В книге Пахомова, про которую я говорил, об этом очень обстоятельно сказано. Внутренние усобицы армянских меликов использовал предводитель среднеазиатского кочевого племени сараджаллу Панах-Али. Он бежал из Персии, где Надир-шах приговорил его к смертной казни, и нашёл прибежище у джрабердского армянского мелика Аллахули-султана. Кончилось это тем, что он потом повелел отсечь голову своему спасителю, который не единожды лгал в ответ на запросы Надир-шаха, мол, «в моём краю такого человека нет». Позже Панах-Али установил дружеские отношения с меликом Варанды Шахназаром Вторым, который, убив родного брата, завладел титулом мелика и его наследием, что и породило враждебное к нему отношение других меликов. За оказанные ему Панахом услуги Шахназар дарит ему крепость Шуши, построенную юзбаши Аваном в 1720-х годах. Между прочим, прежде Шуши был не крепостью, а торговым городком и назывался Каркар. В ереванском Матенадаране хранится Евангелие, переписанное в этом Каркаре, я сам его видел. Укрепившись и почувствовав силу, Панах-Али провозгласил себя ханом, хотя все карабахские мелики — Варанды, Хачена, Дизака, Джраберда и Гюлистана — так и не подчинились до конца ни ему, ни его наследникам Ибрагиму и Мехти, который в 1822 году бежал в Персию. На этом просуществовавшее семь десятков лет ханство рухнуло. На территории пяти армянских меликств этот Панах очутился случайно. У него даже не было здесь родового кладбища. Хаченские князья Гасан-Джалалыны выделили ему земельный участок близ нынешнего Агдама, что в старину назывался Акна... В рапорте Суворова, направленном из Астрахани князю Потемкину, сообщалось, что варандинский мелик Шахназар предатель своего отечества, призвал Панах-хана, бывшего прежде начальником мелику незначительной части кочующих магометан близ границ карабахских, уступил ему свой крепкий замок...

До Панаха во всём Карабахе не было ни одного мусульманского поселения, — продолжал Мирали-муаллим. — Этого не отрицали даже его письмоводители. Они не считали эти земли своими, так как исторические корни нашего народа находились на других землях, наши предки были кочевым народом, жившим в основном за счёт скотоводства и мигрирующим по огромным территориям в поисках сочных пастбищ. То же самое говорит и Чичерин, комиссар по иностранным делам советской России. В письме Ленину он отмечал, что Карабах — исконно армянская земля, однако в низинной его части после истребления армян поселились татары. И это правда, наши не строили городов, в отличие от оседлых армян. Мы, как говорят, вели свои стада за солнцем, в то время как армяне занимались земледелием, осваивали ремесла и строили города. И не случайно у нас на всей этой территории нет ни одного историко-архитектурного памятника, потому что мы действительно городов не строили и крепостей не ставили — кочевали от пастбища к пастбищу... Что касается Кавказской Албании, она издревле граничила с Арменией, а граница пролегла по Куру, которая в древности называлась также Кирос, Кир. О том, что всё правобережье Куры принадлежало Армении, а левобережная часть вплоть до начала десятого века — Албании, поскольку после десятого века Албания как таковая больше не существовала, — так вот, об этом писали и Страбон, как я уже говорил, и Плутарх, и Дион Кассий, и ряд иных историков античного мира. Все они границами Албании указывали Кавказский хребет, Каспийское море, реки Куру и Аракс. Со стародавних времён бытовала поговорка: «Что есть у Куры?» Ответ: «Два берега, один в Армении, другой у аланов». Одним словом, Кавказская Албания занимала левобережье Куры, где жили двадцать шесть христианских племён, которых впоследствии, в восьмом веке, арабы вынудили поменять веру. В 420-е годы для одного из этих племён — гаргаров — Месроп Маштоц создал письмена, однако те так и остались без применения. Да, вот ещё что. Материалы, сохранившиеся в старинных источниках, свидетельствуют, что в Кубе, Хачмазе, Вардашене, Шаки, Куткашене и других местностях Кавказской Албании было пятнадцать тысяч восемьсот армянских домов. Этих армян, в разное время переселившихся из различных селений Арцаха, также заставили перейти в ислам.

— Академик Зия Бунятов, Фарида Мамедова, Ахундов, Гёюшев и кое-кто ещё придерживаются другого мнения. В частности, Фарида-ханум настаивает, что армяне чужеродный, пришлый народ. Однако речь у нас не об этом, — примирительно сказал Аллаверди, переложив подушку под спину, к стене. — Почему армяне в Османской империи всякий раз изменяли туркам и переходили на сторону русских?

— Что говорит Уинстон Черчилль: «Нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечные интересы». Так оно и есть. В политике нет народов-изменников и народов-друзей, — с тем же миролюбивым неспешным спокойствием пояснил Мирали-муаллим. — Существуют лишь политические и национальные интересы. Во имя своих национальных интересов всякое государство либо народ выстраивает и проводит ту или иную политику. Да, во время всех без исключения русско-турецких конфликтов армяне неизменно становились на сторону русских, против турок. С помощью различных посулов и прямых обманов русские использовали армян, а потом бросали один на один с противником.

— Большая резня пятнадцатого года для того и произошла — чтоб армяне опять не перебежали на сторону русских, — воодушевлённо подхватил Аллаверди. — Николай Второй встретился в Тифлисе с армянским католикосом и посулил ему золотые горы. Армяне обрадовались. А на самом деле Николай хотел туда заселять казаков... Прав был Тацит, когда называл армян ненадёжным народом, — добавил он, ёрзая на месте.

— По словам египетского историка Мухаммада Рефата аль-Имама, армянский народ в Османской империи называли «миллат садыки», что значит «благородная нация» — именно за благородство и верность по отношению к стране и султану. Но это между прочим... Только что ты ссылался на Мамедову — мол, армяне чужеродный, пришлый народ, — с искренней горечью сказал Мирали-муаллим. — А вот сорок первый царь Армении Зармайр, из поколения патриарха Айка, возглавлял армяно-эфиопские войска на Троянской войне против эллинов. Зармайр был смертельно ранен стрелой, выпущенной из лука Ахиллеса. Другой пример — немецкий исследователь Карстен Нибурн переписал расположенную на скалах Бихистуни в Персии клинопись и отвёз в Германию, после расшифровки в параграфе двадцать шесть прочитали: «Я направил своего слугу — армянина Дадарси в Армению». Надпись на скале Бихистуни была сделана более 2500 лет назад. Это одна из древнейших надписей об армянах. И Тиглатпаласар в двенадцатом веке до нашей эры, и Геродот в пятом веке, тоже до нашей эры, и твой Тацит — он-то жил уже в новой эре, в первом веке, — так вот, все они свидетельствуют: армяне обитали здесь задолго до новой эры. Тацит писал о племяннике императора Тиберия полководце Германике, что тот счёл первой своей заботой побыстрее достичь армян, чья страна испокон века, слушай внимательно, это его слова, сопредельная с римскими провинциями, глубоким клином загнана во владения мидян. За семьдесят лет до новой эры Армения стала одним из крупнейших государств Ближнего Востока. Простиралась она в то время от Каспийского до Средиземного моря, от Кавказа до Палестины и Киликии. Дошедшая до наших дней вавилонская глиняная табличка упоминает всего шесть стран, и одна из них — Армения... Многие наши историки, в их числе и ученица Бунятова Мамедова, видимо, не испытывают необходимости читать иноязычных авторов и своими ничем не обоснованными, так сказать, измышлениями ставят в неловкое положение себя и нас. А прочли бы, убедились бы — эти авторы, все без исключения, считают чужеродными и пришлыми на этой земле не армян, а нас. Ситуация такова, что мы в Закавказье

действительно не коренной народ. Известный кавказовед Бейденбаум опубликовал в «Кавказском календаре» за тысяча девятьсот семнадцатый год обширное исследование. В нём он неопровержимо доказывает, что закавказские мусульмане — представители монголоидной расы, остатки тюрко-татарских племён, ушедших некогда откуда-то от Байкала. Для них, как и для кочевых племён пустыни, эти просторы оказались весьма благоприятны, они осели в здешних краях и преумножились... А что касается великой резни армян, — устало добавил он, — то хорошо бы вам знать, что первый канцлер Федеративной Республики Германии Аденауэр, преклонив колени в Иерусалиме, у Стены плача, попросил прощения у еврейского народа за страшное злодеяние, совершённое гитлеровским фашизмом. Между прочим, это злодеяние было совершено в Германии и других европейских странах, тогда как армян уничтожали на их исконной земле, в Западной Армении. В Османской империи политику тотального уничтожения армян взяли на вооружение ещё в конце девятнадцатого века, а не в годы Первой мировой войны или конкретно в 1915-м. Многие государства уже признали факт геноцида армян, — продолжил он. — Турция не хочет этого признавать. Ясно, какой же преступник добровольно признает своё преступление. Не хочет, потому что многие из тех, кто занимал высокие посты в правительстве Ататюрка и ныне выступают национальными героями, не только повинны в армянском геноциде, но и нажили огромные состояния за счёт сотен тысяч убитых. Турция украла у армян не только родину, но и детей армянского народа, которых лишила их родителей, языка, принадлежности к религии, к культуре, лишила крова и имущества. Два союзных государства, Турция и Германия, подстрекая друг друга, совершили в двадцатом веке два самых ужасающих преступления против человечества — армянский геноцид и еврейский холокост. Геноцид армян — одна из основ построения турецкой нации, и именно в этом причина столь сильного отрицания, потому что, если принять геноцид армян, вся турецкая история, турецкие герои превратятся в ничто. Да, Турция не хочет признавать геноцид, потому что, признав, должна будет вернуть земли — Арарат, озеро Ван, горные районы Муш и Сасун, ряд северо-восточных вилайетов, а также возмездие убитых, а ведь это не одна сотня миллиардов долларов в разных банках. Кроме того, придётся возместить нанесённый армянам ущерб, моральный и материальный. Из трёх тысяч церквей и почти пятисот монастырей в современной Турции остались всего сорок армянских культовых сооружений, тридцать четыре из которых находятся в Стамбуле. Потому-то и не признаёт. Попомните моё слово, пока Турция не признает свою вину и не вернёт имущество и земли жертв их наследникам, она по-прежнему будет противопоставлять себя цивилизованным странам и не сможет влиться в их семью. Турецкое правительство отрицает очевидный факт, однако передовые турки его принимают. Писатель с мировым именем Назым Хикмет, шейх Фаез Гусейн и другие. Когда Турция на коленях попросит у армян прощения за совершённый против них геноцид, начиная от Султана Хаида до Талыта и Камалы Ататюрка, а также за преступления, совершённые у нас при непосредственном их участии в 1905-м и 1918—1920 годах? А когда перед армянами повинимся мы — за те же пятый и восемнадцатый-двадцатый годы, за Сумгаит и за то, что творится сейчас у нас на глазах? По данным Зири Бунятова, в Сумгаите погибло семьсот человек. Не знаю, насколько верна эта цифра, ведь по официальным данным там погибло всего тридцать два человека. Это число, разумеется, не соответствует действительности. Начальник штаба оперативно-следственной группы МВД СССР Кривоусков в одном из интервью говорит, по сути, то же самое — число погибших в Сумгаите армян достигает нескольких сотен. Это значит, что цифра, приведённая Бунятовым — семьсот жертв, — по всей вероятности, близка к истине. И ещё я хочу сказать, что нет на свете большего бесстыдства, чем отречься от собственных грехов.

Снова послышалось бульканье воды. Должно быть, Мирали-муаллим опять выпил лекарство.

— Мировую цивилизацию невозможно представить без армян, — продолжил он немного погодя. — Так утверждаю не только я, но многие известные люди, начиная с Байрона и Магды Нейман до Мари-Фелисте Броссе, Андрея Сахарова, Дмитрия Лихачёва, Дэвида Лонга. Армянскому театру две тысячи лет, а в наших театрах мужчины ещё недавно играли женские роли, у них есть Матенадаран, изумительная миниатюра, зодчество и превосходная средневековая лирика, которую Валерий Брюсов считал одним из крупнейших достижений мировой литературы. Они дали миру Тороса Рослина, Саят-Нову и Параджанова, дали миру Звартноц и Гехард, дали Нарекаци и Айвазовского, написавшего шесть тысяч замечательных картин, они первыми в мире провозгласили христианство своей государственной религией. А через восемьдесят шесть лет после этого события Персия и Византия поделили Армению между собой. Так армяне потеряли свою государственность, была уничтожена их письменность и литература, но через сто лет они создали новый алфавит; это было шестнадцать столетий назад. А у нас, к сожалению, по сей день нет даже своего алфавита. За короткий срок мы восемь раз меняли свой алфавит. Скажу больше, хотя вы сами всё это хорошо знаете. Сколько насчитывалось армян к началу Великой Отечественной войны? Полтора миллиона. Из полутора миллионов армян шестьсот тысяч ушли на войну, триста тысяч солдат и офицеров погибли на фронтах. Имея в три раза меньше населения, чем Азербайджан, армяне дали Советскому Союзу на войне более ста Героев Советского Союза и столько же генералов. Кстати, многомиллионная Средняя Азия, Северный Кавказ и Закавказье не дали вместе ни одного боевого маршала, зато смотри, сколько их у армян — Баграмян, Бабаджанян, Худяков-Ханперянц, адмирал Исаков... И все, кстати, карабахцы. Между тем герои-азербайджанцев не больше четырёх десятков, куда, между прочим, входят и талыши, и лезгины, и таты, и аварцы, и другие. А боевых генералов у нас всего два — Ази Асланов, да и тот, как известно, талыш, и Махмуд Абилов, по

национальности лезгин... Скажите на милость, кого мы дали миру, кроме кровожадных варваров Сумгаита и директора школы Аршада Даштамир-оглы Мамедова, который в 1966-м году в карабахском селе Куропаткино зверски изнасиловал, а затем зарезал своего ученика, восьмилетнего мальчика-армянина?

— Низами дали, — не сразу ответил Аллаверди.

— Низами персидский поэт, писал на языке фарси, родился в персидском городе Гуме, в двухстах километрах от Тегерана, и в Персии же похоронен. Он классик персидской поэзии, один из великих поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнёсший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Был бы наш, не писал бы о нас, что «Благородным кровям мы принадлежим, Не подобает нам на языке дикарей-кочевников-турков писать, На языке благородных подобает нам читать». Или этот: «Мы во дворце не терпим тюркский дух, И тюркские слова нам режут слух...» Так что к нашему народу он не имеет никакого отношения, как и Бабек, Насир ад-Дин Туси, Хагани, Физули, Саади, Катран Тавризи, Насими, Шейх Мохаммад Хиабани, Ризае Аббаси, Бабрак Хурамаддин, Рашид-эд-Дин, Шахрияр, словом, от арабского путешественника, ныне ставшего нашим, Абд ар-Рашид Бакуви, до лезгина по национальности Узеира Гаджибекова и чеченцев Муслима Магомаева — деда и внука, и многих других. На армянском языке и о своём народе, об армянах, писали Мовсес Каланкатуаци и Киракос Гандзакечи, Давтак Кертох и Мхитар Гош... Я скажу, что приписывать себе культурные ценности другой страны не считаю достойным поступком, потому что, не имея этих самых культурных ценностей, кое-кто из наших думает, что можно присваивать ценности других стран. Такой шаг с нашей стороны не чем иным, как культурной кражей, нельзя назвать. Присваивать чужую историю, её памятники и знаменитых деятелей, да ещё и кичиться этим как собственным достоянием — позорнее этого я ничего себе не представляю. Поймите же, нелепо создавать историю и культуру за чужой счёт. Нам не нужна ни выдуманная, отсюда-оттуда переписанная фальшивая история, ни фальшивые историки вроде того же Буниятова. Между прочим, он совсем недавно перевёл на русский язык статьи двух известных кавказоведов Доусти и Роберта Хьюсена и, нимало не стесняясь, опубликовал их под своим именем. И, как обычно, в кардинально искажённом виде: там, где в оригинале значилось «Армения», он писал «Азербайджан». Прочитав оригиналы этих статей, я был ошарашен. Авторы научно обосновывают: и князь Гасан-Джалал, и его предки считали себя чистокровными армянами. Далее там сказано, что все надписи Гасан-Джалала на построенном в 1238-м году монастыре Гандзасар и на других историко-архитектурных памятниках, находящихся в Карабахе, а также на его мече — он, к слову сказать, хранится в Эрмитаже, — так вот, все они сделаны на армянском языке, и ничего албанского там нет и быть не может. В переводе же всё наоборот. Точно так же Буниятов повёл себя с книгой немецкого путешественника Шилдербергера, подменив армянские топонимы тюркскими, Армению — Азербайджаном, и нашим великим историком и просветителем Аббас Кули-ага Бакихановым, при переводе на русский язык преднамеренно искажая его сочинение «Гюлистан-и Ирем». Это особенно возмутительно, поскольку Буниятов вычеркнул из текста оригинала не только то, что потомок Аргун хана эмир Теймур, затем и Шах Исмаил из Сирии, Ирака и Турции перевезли на Кавказ двести тысяч турок и поселили их в Эриване, Гандже и Карабахе, где они со временем размножились, но из книги им также было вычеркнуто и упоминание о территориях, населённых армянами. Тем самым не только фальсифицируя историю, но и не уважая мнение самого Бакиханова, чьё имя носит азербайджанская Академия наук, где он работает директором института истории.

Повисла долгая пауза.

— Увы, Зия Буниятов выделяется лишь одним — убеждает нас поверить в то, во что сам хочет верить, — немножко погода продолжил Мирали-муаллим. — Например, жившего во времена татаро-монгольских нашествий архимандрита Киракоса Гандзакечи упорно не желает считать армянским историком. По его мнению, написав историю кавказских албан, Гандзакечи написал историю наших предков и, следовательно, принадлежит нашему народу. Это ещё раз доказывает, что своими умозаключениями мы частенько сами подрываем свой авторитет. На деле же Гандзакечи написал не о нас, а против нас; глава в его истории, где речь идёт о наших предках, у него названа так: «О том, как появились татары, чтобы опоганить весь свет». Рейхсмаршал Герман Геринг говорил: у меня нет совести, моя совесть — Гитлер. Совесть ряда сегодняшних наших историков — Зия Буниятов, гнусные инсинуации которого в адрес армянского народа и его истории я считаю разнузданным разбоем. Коран — главная священная книга мусульман, считает: ложь, произнесённая человеком за жизнь, будет с ним в Судный день. Однако, судя по всему, Буниятова это мало волнует. На днях, прямо перед Новым годом, гулял в Приморском парке, встретился с нашим известным писателем Акрамом Айлисли. Акрам талантливый писатель и честнейший человек, не случайно он несёт звание народного писателя, творчество его высоко отмечено высшими наградами нашей республики. Говорили о том, о сём. Речь зашла и о Буниятове. Акрам убеждён, что ему не умереть своей смертью, он говорит, его убьют, и, скорее всего, убийцами будут наши, азербайджанцы. Он прав, можно постоянно вводить в заблуждение часть народа и какое-то время — весь народ, однако постоянно водить за нос весь народ невозможно. Совесть — украшение человеческой натуры, недаром говорят, что совесть — элемент веры. Так оно и есть, и это не подлежит забвению, как и то, что нельзя служить собственному народу, пороча другой народ. Чужая история нам не нужна, нам нужна своя, собственная. Был такой профессор Микаил

Рафили, он ещё в тысяча девятьсот сорок седьмом году в статье «Культура азербайджанского народа до Низами» утверждал, будто, описывая в «Одиссее» циклопов, Гомер подразумевал азербайджанцев. Получается, что наши предки — пещерные людоеды. Зачем далеко ходить? Ректор Нахичеванского университета Абибейли недавно написал, что пророк Ной после всемирного потопа долгое время жил в Нахиджеване и был обычным рабочим, который добывал соль в пещерах Дуздага. Он предлагает в его честь построить музей. Тот же Абибейли пишет, что Гомер сочинил свою «Одиссею» под влиянием азербайджанского эпоса «Китаби деде Горкут»²⁶, а шумеро-вавилонский эпос «Гильгамеш», где трагическая неизбежность смерти впервые в мировой литературе преодолевается бессмертием человеческого героизма, вавилонцы украли у азербайджанцев, ибо имя «Гильгамеш» имеет азербайджанское происхождение и образовано от слова «гямыш»²⁷. Кстати, глупые мысли приходят в голову каждому, только вот умные не предают их огласке. К тому же, понося чужого бога, не сделаешь своего сильнее. Точно так же, браня соседского отца, не докажешь любви к своему. Это так, между прочим.

Вновь повисла долгая пауза.

— А возвращаясь к твоему вопросу... Да, со времён царя Алексея Михайловича армяне устремляли свои взгляды к России, ожидая от неё помощи, — наконец заговорил Мирали-муаллим. — Но этой вожденной помощи они отродясь от России не видели. Напротив, Россия всегда вредила им. Чем, например, отплатила Россия за кровь, пролитую армянами в четырёх войнах первой половины девятнадцатого века? Согласно Гюлистанскому договору, значительная часть Восточной Армении вышла из-под ига Персии. Хотела ли Россия создать какую-либо административную единицу, чтобы возродить армянскую государственность и частично решить армянский вопрос? Именно во имя этого армянские добровольческие дружины — почти триста тысяч самоотверженных воинов — сражались от Балкан до Кавказского фронта, демонстрируя личный героизм и беспримерную верность долгу. Нет, этого Россия как раз и не хотела. В угоду нашим бекам и богатеям царизм включил армянские земли в различные губернии, разъединил их и фактически лишил армян права на родину. Вот откуда идут всегдашние распри и споры. И ещё один факт. В 1903-м году русское правительство экспроприировало земли Армянской церкви, закрыло церковные школы, библиотеки, благотворительные и культурные общества, в том числе и в Баку. Этого показалось мало. И в восьмом, девятом, десятом, двенадцатом годах, во времена Столыпина, тюрьмы заполнились армянской интеллигенцией. Сидели в тюрьмах Александр Ширванзаде, Аветик Исаакян, великий поэт и миротворец Ованес Туманян, которого в закрытом вагоне увезли в Петербург. Не хочу затягивать. Возьмём события двадцатых годов. Почему советская Россия уступила Турции армянские земли, оставив более трёхсот тысяч безоружных беженцев лицом к лицу с регулярной армией Мустафы Кемаля? Кто вооружил турок и спровоцировал их против армян? Россия. В 1920-м году территория Армении достигала семидесяти двух тысяч квадратных километров и включала Карабах, Борчалу вместе с Казахом, Шулавером, Цалкой, Дманиси, Акстафой с Тоузом, а также Сурмалу, Шарур-Нахичеван, Карс, Ардаган, Ахалкалак и Ахалцих... По Севрскому договору к Армении должны были перейти ещё девяносто тысяч квадратных километров: часть Восточной Армении, Ванский вилайет, Эрзрум, Битлис, Багеш, Трабзон. Лев Давидович Бронштейн-Троцкий, конечно, не без ведома Ленина и по тайной договорённости с Талаатом издал приказ о выводе русских войск с Кавказского фронта, видимо, чтоб открыть туркам дорогу на Кавказ и взамен получить право основать еврейское государство в Палестине. Кроме того, с помощью Сталина и при его личной заинтересованности русско-турецкий договор от 16 марта 1921 года фактически аннулировал Севрский договор. Территория Армении была разделена между Турцией, Азербайджаном и частично Грузией. Турции досталось сто двенадцать тысяч квадратных километров, Азербайджану — шестнадцать тысяч и Грузии — четыре тысячи. Армении осталось менее тридцати тысяч квадратных километров, то есть одна десятая часть исторической территории. Вот вам и благодарность за вековую преданность армян России и приверженность ей.

Мирали-муаллим надолго замолчал, а потом добавил:

— Взамен территорий Турция послала в дар Армении три вагона соли, три вагона муки, восемьдесят овец и сорок коров. У Аллаверди удивлённо поползли вверх мохнатые брови, ещё сильнее отвисла жирная мокрая губа, он грузно поднялся с места, ударил ладонью по колену и, схватившись за живот, от души захохотал. Смеялся долго и, не отсмеявшись до конца, спросил Хафиза:

— Гагаш²⁸, курить не хочешь?

— Атаганын джаны, ещё как хочу, — отозвался Хафиз. — Как не хотеть? Пошли на второй этаж, поглядим, этих трусливых армяшек ещё не зарезали? Говорят, вывели из всех отделений больницы четыреста армян и увели в неизвестном направлении.

Смеясь, они покинули палату. Наступило молчание.

— Всё в руинах и трауре, здесь прошли наши, — в тишине вновь послышался голос Мирали Сеидова.

²⁶ «Китаби деде Горкут» — «Книга моего деда Горкута».

²⁷ Гямыш — буйвол (*азерб.*).

²⁸ Гагаш — братец (бакинский городской жаргон) (*азерб.*).

Невесть откуда взявшаяся муха, монотонно жужжа, носилась по палате; слышно было, как она то и дело билась о стекло. Потом жужжание прекратилось, мухе, должно быть, удалось улететь. Опять стало тихо, покойно. Вероятно, Мирали-муаллим погрузился в чтение, потому что время от времени слышалось шуршание страниц. Я попытался сдвинуться с места. Сделать это было трудно, от боли перехватывало дух. Матрац намок от крови, я чувствовал это спиной. Никто из врачей ко мне так и не подошёл. Я коснулся рукой бока, пальцы тут же повлажнили, бок ещё кровоточил. Я не знал, что меня ждёт. Догадается ли Зармик, где я? Знает ли он мою фамилию? Когда мы брали билеты на самолёт, он заглянул в мой билет, но прочёл ли при этом фамилию? Впрочем, если он встретится с Реной, она ему скажет. Мне бы не хотелось, чтобы Рена пришла сюда и увидела меня в таком состоянии. Не дай Бог. С другой стороны, если даже Зармик знает мою фамилию, поймёт ли он, что Адунцман — это я. Сиявуш бы понял, а он — едва ли. Да и потом, Зармик, может, и сам угодил в лапы погромщиков, и поди знай, жив ли он. Удалось же той дряни, медсестре, заронить подозрения у персонала, в противном случае кто-нибудь да подошёл бы ко мне. Мне показалось, если до утра никто из врачей не подойдёт, я попросту истеку кровью. Снова попытался повернуться, и снова неудача, сильная боль скрутила меня.

— Вам плохо? — донёсся до меня голос Мирали-муаллима. Я попытался разлепить губы, не получилось. Его шаги медленно приближались.

Передо мной стоял густоусый толстогубый полноватый пожилой человек с седыми волосами. Он смотрел на меня, прищурив глаза.

— Вам плохо? — повторил он. — Вы меня видите?

Я кивнул.

— Ваши знают, что вы здесь?

Я отрицательно покачал головой.

— У вас есть телефон? Дайте мне номер, и я им позвоню.

Я молча взглянул на него, и он, вероятно, всё понял.

— Жизнь похожа на театр, где лучшие места занимают мерзкие люди, — сказал он, сочувственно глядя на меня. — Нет ли у вас близкого друга азербайджанца? Я могу позвонить ему.

У меня в душе забрезжил слабый лучик света. Я с признательностью поднял на него глаза и, с усилием шевеля губами, произнёс имя Сиявуша.

— Артист Сиявуш?

Я отрицательно качнул головой.

— Сиявуш Сарханлы?

Я снова покачал головой: нет. И, приложив невероятные усилия, с чудовищной болью в уголках рта чуть слышно выговорил фамилию Сиявуша.

— А-а!.. — обрадовался Мирали-муаллим. — Сиявуш Мамедзаде. Как же, как же, очень хороший парень, я его знаю. Не беспокойся, — тихонько сказал он по-армянски, и в голосе его прозвучала интонация родного человека, — я позвоню ему. Номер помнишь? Если даже не вспомнишь, не беда, сам отыщу. Не тревожься, всё будет хорошо. Я кое-как дал ему понять, что помню номер телефона, и пальцем изобразил в воздухе цифры. Внимательно следя за движением моего пальца, Мирали-муаллим записал на бумаге и показал мне — 964658.

— Правильно?

«Да», — кивком подтвердил я и глазами поблагодарил его.

— Я написал большую книгу о Саят-Нове, — тем же дружеским тоном, но уже по-азербайджански сказал он и, накинув пиджак на плечи, вышел из палаты.

Я потерял чувство времени и пространства, не знал, где и давно ли нахожусь. В палате жизнь тоже словно бы замерла. А где соседи, почему никого нет? Или уже ночь, и все давно спят?

Кто-то вошёл — молодой, в белом халате, на голове белый колпак из той же ткани. Я смотрел на парня в белом халате и поначалу не заметил Сиявуша, вошедшего следом и внимательно смотревшего на меня. Они уже поворачивались вспять, собираясь уйти.

— Это я, Сиявуш, это я, — кое-как объяснил я. — Помогите.

— Для того мы и пришли, — повернувшись обратно, улыбнулся парень в белом халате.

Сиявуш поспешно подошёл ко мне и чуть ли не опустился на колени.

— Что они с тобой сделали, Лео, — сказал он, не в силах сдержать слёзы и возмущение. — Я тебя не узнал. Почему ты не позвонил? Неужели ты был здесь, в городе?

Я не смог ему ответить, но дал понять, что позже всё объясню.

— Я вчера поздно добрался до дому, в полночь. Пешком шёл от сестры, представляешь? Ни трамвая, ни автобуса, ничего не работает, — объяснил Сиявуш. — Ужасные, жуткие вещи творятся, Лео, ты просто не представляешь. Едва

переступил порог, Валя говорит, что звонили из Семашко, надо срочно идти туда. При этом ни имени, ни фамилии, ни отделения, ни номера палаты. Я отыскал Натига, он врач в детском отделении, мы вместе пришли, просмотрели журнал приёма больных, наконец нашли фамилию Адунцман. Я сообразил, что это ты, — улыбнулся он. — Хорошо придумал, иначе искали бы мы тебя два дня по всем отделениям. Я вспомнил, что Мирали-муаллим не спросил у меня ни имени, ни фамилии, а сам не догадался назваться. Всё равно, я был ему безмерно благодарен.

— Раны на голове я вижу, — сказал Натиг, пододвигая табурет. — Есть ещё раны?

Я откинул ворсистое покрывало. Увидев мой бок, он сжал губы и покачал головой.

— Я... мать их так, кто провозглашает этих сапожников врачами, — гневно процедил он. — Я... так и разэтак их клятву Гиппократата и купленный за взятки диплом, — не успокаивался он. — Так и разэтак тех, кто считает их людьми.

— Всю ночь кровоточило, — сказал я.

Натиг вышел, вернулся с ватой и лекарствами, принялся обрабатывать рану.

Сиявуш смотрел на меня из-под очков, участливо улыбаясь.

— Повезло тебе, — после довольно продолжительной возни сказал Натиг, — попади удар на несколько миллиметров правой — проткнул бы почку. Тогда выкрутиться было бы сложновато.

— Не пойти ли поблагодарить их? — пошутил Сиявуш.

Перевязав рану, Натиг пошёл выяснить обстановку.

— Знаешь, кто лежит здесь, в отделении реабилитации? — вдруг вспомнил Сиявуш. — Скажу — не поверишь. Завсектором ЦК Хейрулла Алиев. Помнишь, он звонил тебе насчёт поездки в Карабах? По предложению Везирова его назначили первым секретарём райкома в Джалилабад. Он известный литературовед, уважаемый человек, долгие годы работал в ЦК и, главное, коренной джалилабадец. Прежде тамошнее руководство народного фронта выгнало взащей трёх секретарей — Гурбанова, Агаева, Годжаманова — за то, что не местные, чужаки. Не успел доехать Хейрулла до пункта назначения, верховод районного народного фронта Миралим Байрамов, который в былые времена славился грабежом идущих в Армению вагонов и продаж нагнанных, распорядился выгнать его из района. Сказано — сделано. Хейрулле перебили ломом рёбра, проломили голову. Несколько учителей с помощью тамошнего сеида кое-как вырвали, спасли его и, залитого кровью, переправили в Баку. Замешкайся они чуть-чуть, его бросили бы в горящую машину. Две недели лежит без сознания, в себя не приходит. Какой ЦК, какие власти, главари народного фронта чувствуют себя в республике хозяевами... За ними, невидимые, стеной стоят Гейдар Алиев, Сулейман Демирель и Тургут Озал, Аллахшукюр Пашазаде, а ещё Руслан Хасбулатов, Виктор Поляничко, Гасан Гасанов, шеф КГБ Крючков...

Не успел он договорить, как в палату в наброшенном на плечи пиджаке вошёл Мирали-муаллим и, увидев Сиявуша, радостно поприветствовал его:

— Ты пришёл? Очень хорошо, очень хорошо, — сказал он. — Значит, всё-таки передали. Я собрался было перезвонить.

— Так это вы звонили, Мирали-муаллим? — удивился, вскочив с места, Сиявуш и уважительно пожал ему руку. — Спасибо. Вы не назвали ни имени, ни фамилии, ни палаты. Или жена моя что-то напутала?

— Верно, забыл спросить имя товарища, но в какой он палате, кажется, сказал. Наверное, твоя жена недопоняла. Ничего страшного, главное, что ты здесь. В свой черёд и я кивком головы поблагодарил Мирали-муаллима. Того, что он для меня сделал, и его доброе лицо мне никогда уже не забыть.

— А с вами что случилось? — поинтересовался Сиявуш.

— Высокое кровяное давление, Сиявуш, я гипертоник, — объяснил Мирали-муаллим, нахмурившись. — Иншаллах²⁹, меня лечат, посмотрим. Требуется покой, спокойная жизнь, однако... Можно ли помышлять о покое, когда вокруг анархия... — Он помолчал. — Нещадно проливая кровь тысяч неповинных и беззащитных людей, зверски убивая, насилуя пожилых женщин и грабя всё кряду, шовинисты из народного фронта хотят добиться независимости. Такие же зверства и насилия принесли и первую нашу республику. Неужели, Сиявуш, это и есть национальное самосознание и демократия? Если да, то, прости покорно, плевал я и на то, и на другое. У всякой тайны имеются ноги и крылья, и, по правде говоря, меня всерьёз удивляет большинство наших шовинистов — Зия Бунятов, Бахтияр Вагабзаде, Исхандар Гамидов, Иса Гумбатов и прочие. Они из кожи вон лезут, требуя прогнать с работы всех, у кого матери либо жёны армянки. Между тем они сами вовсе не азербайджанцы, во всяком случае, не чистокровные азербайджанцы. То же надо сказать о Гейдаре Алиеве, у которого мать армянка, по национальности он курд, родился в селе Джомардлы Сисианского района Армении. Семья в самом конце двадцатых годов, точнее в двадцать девятом году, переехала в Нахиджеван. Кстати, говорят, что бабка его по отцу была из окурдизированных армян села Уруд того же Сисианского района. Брата Гейдара — Гасана Алиева, ныне академика, ещё в тысяча девятьсот тридцать восьмом году газета «Бакинский рабочий», а вслед за ней и газеты Нахичевани называли первым курдом в республике, кто защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Так же точно не были чистокровными турками Талаат-паша, родом из болгарских

²⁹ Иншаллах — слава Богу (*араб.*).

цыган, Энвер-паша, помещь албанца и черкешенки, основоположник пантюркизма и самый яркий его поборник Зия Гёгалп, курд из Диарбекира. Да и Кемаль Ататюрк отнюдь не чистокровный турок. Не помню, кто высказал истину — Божьи создания порой прикрывают наготу мундирами жандармских генералов и шёлковыми рубашками палачей. Всё это гнусно и бесчеловечно, — возбуждаясь, повысил голос Мирали-муаллим, — я затрудняюсь даже дать имя этой мерзости. Кто спас Баку, когда конница горцев во главе с имамом Гоцинским в марте восемнадцатого года дошла до Баладжары и напрямую угрожала городу? Армяне, вот кто. Армянские воинские части с шестнадцатью тысячами солдат под началом Амазаспа, которого позднее большевики зарубили топором в ереванской тюрьме. Части Амазаспа преградили горцам путь, наголову разбили, обратили в бегство и преследовали до самого Дагестана. В марте же, семнадцатого числа, началась кровавая бойня между рабочим революционным комитетом «Красная гвардия» и солдатами Дикой дивизии, которые приехали из Ленкорани на похороны покончившего с собой Мухаммеда — сына богатейшего Хаджи-Зейнала Нагиева. Бойня длилась четыре дня, и армяне спасли тринадцать с половиной тысяч азербайджанцев, укрыв их у себя в домах. Спустя примерно полгода за гуманность армянам отплатили — те же наши соплеменники, влившись в ряды вошедшей в город турецкой армии, самым варварским образом расправились со своими спасителями, разумеется, присвоив их имущество. Первую нефтяную скважину здесь, в Биби-Хейбате, в 1847 году пробурили армяне, — продолжал Мирали-муаллим. — В 1897м году, согласно переписи населения, в Баку проживало семьдесят девять тысяч армян, нас тогда было в несколько раз меньше, они построили первые школы и больницы, открыли первые библиотеки и другие очаги культуры, потому что наших-то грамотеев можно было пересчитать по пальцам. Наш председатель Верховного Совета Мир-Башир Касумов не мог даже свою фамилию написать. В начале века и ещё долгое время большинство в Баку составляли армяне и русские, мусульман здесь было не более трети населения. В годы войны десятки и десятки тысяч азербайджанцев приехали в Баку из районов и пошли работать на заводы и нефтепромыслы для получения брони, чтобы не забрали их на фронт. И даже после этого нас в городе было немного, городские новосёлы даже стеснялись говорить на родном языке. В Баку мы составили большинство только недавно. В начале семидесятых годов все предместья и близлежащие деревни, населённые в основном азербайджанцами, по распоряжению Гейдара Алиева включили в состав столицы. Словом, если сегодня Баку стал процветающим городом, то во многом благодаря золотым рукам и большому таланту армян. А как забыть архитекторов Тёр-Микелова, Баева, Саргисова, Тёр-Ованнисяна, Каспарова? Построенные ими здания и сегодня радуют глаз красотой и удобствами. По проекту того же Тёр-Микелова удалось отодвинуть море на пятьдесят метров, и возникло настоящее чудо — прибрежный бульвар, излюбленное место прогулок. Нешадно убивать людей по национальному признаку, изгонять их из отчих домов, где родились ещё их деды, — чудовищное преступление против справедливости и Бога. — Мирали-муаллим тяжело покачал головой. — Только что рассказывали, в кинотеатре «Шафаг», куда собирают из разных мест уцелевших армян, изувеченных и истерзанных, милиция нагло отнимает у них украшения и последние гроши, оскорбляет, рвёт их паспорта, документы. У людей отбирают всё, оставляя только право думать и страдать. Кто мы, Сиявуш, откуда пришли, куда идём? Ничего не понимаю. Простит ли за это Бог, простят ли другие люди?

— Не знаю, как другие, но сами мы не вправе себя простить... У меня, Мирали-муаллим, есть знакомый карабахский армянин на Баилове, Сергей Петросов, работал на заводе кондиционеров инженером, известный рационализатор. В прошлом году я о нем готовил передачу на телевидении, пару раз был у него дома. Короче, у этого моего знакомого была единственная дочь Лола, ей было двадцать лет. Я видел её — писаная красавица. Мама у неё была латышка. Перед кинотеатром «Низами» в присутствии многочисленной публики её в групповую изнасиловали и повесили вниз головой на дереве. Причём на глазах у двух двоюродных её братьев, которых, также жестоко избив, убили и повесили на дереве, растущем на улице... Вчера Анар рассказывал страшные вещи. Говорит, недалеко от армянской церкви, в саду Парапета, он своими глазами видел, как старика армянина живьём сжигали на костре. Он рассказывал, что...

Сиявуш прервал рассказ, чем-то возмущённый, неожиданно вернулся Натиг, но, должно быть, опасаясь Мирали-муаллима, ничего не сказал.

— Что случилось? — поинтересовался Сиявуш и, поняв, чего он остерегается, представил Мирали-муаллима, пояснив, что это он позвонил ему домой.

— Есть здесь мерзкая медсестра, — уже напрямую сказал Натиг. — Ходит по коридорам и объясняет всем и каждому, что в отделении лежит раненый армянин. Представители народного фронта уже знают это. Кто-то из них даже заявил, что если сестра сказала правду, надо будет его прикончить.

— Я позвоню кому надо, — вмешался Сиявуш.

— Нет, — отрезал Натиг. — Я говорил с доктором Мамедьяровым, Юнус отличный парень, отвезём Лео к нему. Я бы, конечно, взял его к себе, но у меня и без того две семьи армян.

— А почему не ко мне? — похоже, Сиявуш обиделся. — В конце концов, это мой товарищ, я обязан...

— К тебе нельзя, — снова прервал его Натиг. — У тебя дома с утра до вечера тронутые поэты, возьмут и выдадут. У Юнуса удобно, знаю, что говорю.

— Но мне нечего надеть, — хоть и тихо, зато внятно сказал я. — Моя одежда у них.

Натиг отправился выручать моё рваньё, однако вернулся в подавленном настроении.

— У них приказ — измазанную кровью одежду не выдавать, — растолковал он. — Боятся, что ты повезёшь её в Москву и предъявишь в доказательство погромов. Чуть не силком урвал пару ботинок сорок четвёртого размера.

— Не беда, наденет мой плащ, — сказал Сиявуш, снимая плащ. — Завтра я что-нибудь принесу.

— Выйдем с чёрного хода, — предупредил Натиг. — По коридору я пойду впереди, а вы держитесь от меня на расстоянии.

Напялив на голое тело плащ, а на босые ноги — холодные, на два размера больше ботинки, обессиленный болями и потерей крови, я вышел с Сиявушем из палаты. В последнюю минуту обернулся и кивком поблагодарил Мирали Сеидова, который с пергаментным нездоровым лицом, с чёрными от бессонницы кругами под глазами молча, грустно и одиноко стоял у кровати. Тех двоих не было. Сиявуша я взял под руку, почти повис на нём. Мы вышли в коридор и, сопровождаемые вздохами, болезненными стонами и плачем бессчётного множества людей, медленно двинулись вслед за доктором Натигом.

Он подогнал машину тютельница в тютельку к двери. На долю секунды мой взгляд упёрся в расположенный за мединститутом, дальше многоэтажек Хутор с его самостройными, населёнными почти сплошь армянами домами; над ним тут и там подымался дым, и густой этот дым застил солнце... Там в мае орава вооружённых железными прутьями азербайджанцев с дикой бранью — «Долой армян!», «Смерть армянам!» — вторглась в эту слободку. На второй улице Хутора они заполнили дворик Алёши Агабекяна, безжалостно избивая подростков сыновей и волоком таская по земле жену и малолетних дочек. И тут пулей из охотничьего ружья с кровли дома Алёша уложил наземь главаря ватаги — одетого в гражданское майора милиции Фазиля Исмаилова. Озверевшая свора замерла, в ужасе попятилась и обратилась в бегство. Кинувшись врассыпную, погромщики вопили: «Армяне вооружены», «Они нас убивают». Так было пресечено кровопролитие, и впоследствии никто не рискнул сунуться в Хутор. Интересно, как сложилась Алёшина жизнь, удалось ли ему спастись...

— Садись, садись, времени нет, — поторопил Натиг.

Сиявуш помог мне устроиться на заднем сиденье.

— Ляг, чтобы никто не увидел, — обернувшись, велел Натиг. — Сиявуш, садись вперёд, рядом со мной.

Больницу мы покинули удачно. На улицах, как и тогда в Сумгаите, ещё дымились выгоревшие машины. На трамвайных путях у рынка в Арменикенде горела машина скорой помощи, из открытой дверцы свисала безжизненная мужская рука. Там и тут горели костры, кое-где лежали на боку опрокинутые ларьки. Весь Арменикенд пропадал в дыму. За рынком, на улице Фабрициуса вооружённая железными прутьями ватага молодёжи гнала вниз, в сторону вокзала, двадцать, двадцать пять девушек в нижнем белье, а то и вовсе почти голых. Натиг на большой скорости повёл машину вверх, потом свернул вправо, на улицу Инглаб, и помчался в сторону стадиона. Возле трамвайного парка широкую улицу быстро пересекали две девушки, одна совсем ещё девчушка, в колышущемся под ветром красном платье. Старшая споткнулась о трамвайный рельс и опустилась на колено, но стремительно поднялась и глянула назад; в чёрных её глазах мелькнул ужас. Вслед за ними с ором шла ватага парней. Шакалий их вой «а-а-а-а» пропадал где-то за домами.

— Натиг, — мрачно процедил сквозь зубы Сиявуш, — скажи-ка, имеем мы право жить на свете?

— Мы — да, — ответил Натиг. — А вон те — нет. Они и им подобные жить не вправе. И те, кто наплодил их, тоже.

По улицам и дворам, словно по кошмару, метались туда и сюда людские ватаги. Откуда-то донёсся истошный женский вопль.

Врач Юнус Мамедьяров уже был дома. Нас он встретил всерьёз обеспокоенным. По его словам, погромщики из народного фронта уже не раз приходили к нему, спрашивали, не прячет ли он армян.

— Мать их, — грубо выругался Юнус, провожая меня в одну из комнат.

— Я уже перевязал его, — деловито сообщил Натиг. — Утром приду сменить повязку. И посмотрю раны на голове.

— Да я сам поменяю, — предложил Юнус, — я что, не врач?

— Врач-то ты врач, но не надо, — добродушно засмеялся Натиг. — Неужто тебе с твоими-то железными пальцами можно что-то доверить? Я сам приду.

Натиг имел дело с малышами и повязку накладывал и вправду крайне обходительно, мягко. Разумеется, они перешучивались и, возможно, пытались шутками рассеять обуревавшую их тревогу.

Номер Каринино телефона так и остался в кармане куртки. Я попросил Сиявуша сходить в дом с аэрокассами, в квартиру сорок три — навести справки.

— Будет сделано, — пообещал он. — Всё разузнаю. Рано утром приду с Натигом.

Юнус принёс мне поесть, дверь чуть не во всю стену завесил ковром. Посторонний вряд ли бы догадался, что за этой стеной есть ещё комната. Я оценил предусмотрительность Юнуса позже, когда спустя время к нему заявились несколько человек и начали выпрашивать, нет ли в доме армян.

— Нет, — спокойно сказал Юнус. — Можете проверить.

— А если проверим и найдём? — угрожающе процедил один.

— Где ж ты их найдёшь, если нету? — твёрдо и грубовато, как мне показалось, ответил Юнус. Я сидел за стеной и с замиранием сердца ждал, чем это кончится.

Мало-помалу затихая, голоса смолкли. Слава Богу, подумал я, убрались.

Поутру, как и обещали, пришли Сиявуш и Натиг. Но, Боже мой, что за вид был у Натига! Его лицо, скорее всего, ничем не отличалось от моего. Оно вспухло, под глазом вздулся крупный чёрный синяк. Я сразу сообразил — это дела медсёстры. Так и оказалось. Ох уж эта свирепая, лютая, кровожадная медсестра... Она донесла народному фронту, что врач Натиг Расулзаде перевязал армянина и забрал с собой из больницы. Несколько человек, ввалившись в отделение, раскололи ему о голову стул, избили ногами. Я виновато посмотрел на него.

— Какие наши годы! — улыбнулся Натиг опухшими губами. — До свадьбы заживёт.

Сиявуш сказал, что пошёл к Карине, но сорок третья квартира была заперта, никто не отозвался. Мне почему-то показалось, что он чего-то не договаривает. Подумал было, может, он не ходил, времени не хватило, но Сиявуш развеял мои сомнения.

— А знаешь, — неожиданно сказал он, — Саида живёт в том же доме.

— Что за Саида? — удивлённо спросил я.

— Сеидрзаева. Случайно её увидел. Живёт на том же этаже, в сорок пятой квартире. Сказала, тебя ищет какой-то парень.

— Меня?

— Ну да. Азербайджанец по имени Закир. Говорит, вы вместе прилетели из Москвы.

— А, верно. Интересно, где он. — Я страшно обрадовался, что Зармик жив-здоров.

— Я оставил Саиде свой номер. Сказал, как появится, пусть позвонит. Между прочим, Саида очень беспокоилась о тебе. Но я ничего ей не сказал.

Натиг два дня приходил перебинтовывать меня. Я чувствовал себя уже сравнительно неплохо. Пора было уходить, потому что погромы и убийства армян в городе все ещё продолжались. Но как уйти, коль скоро документов у меня не было, паспорт и все бумаги остались в руках погромщиков.

— Держи хвост торчком, старик. Сиявуш обо всём подумал, — подбодрил меня Сиявуш. — Замначальника управления гражданской авиации близкий мой знакомый, я с ним поговорю.

Назавтра Сиявуш явился в отличном настроении, сказал, что уже договорился, завтра в шесть утра мы едем в аэропорт «Бина». С утра Сиявуш преподнёс мне новый сюрприз — привёл с собой Зармика. Это крайне меня обрадовало. Я рассчитывал узнать что-нибудь о Рене и попросить у него денег.

— Был у Карины? — спросил я. — Не знаешь, она нашла Рену, или позвонить не удалось?

— Не удалось, — ответил Зармик. — Знаешь, сколько я тебя искал? — быстро добавил он. — Обошёл все больницы, морги, даже в Мардакянах был, а там убитые, сотни убитых — мужчины, женщины, дети, — навалены друг на друга, как на складах. Вчера проходил у дома правительства, митинг. Хотел послушать, что говорят. Здесь и там жгут огромные костры. Морозно, туман, с моря дует холодный ветер. Чтобы согреться, влез в толпу. Высокий парень рассказывает: «Остановили мы машину ноль один, вытащили оттуда армянина и давай дубасить. А как перестал сопротивляться, швырнули в костёр. Он попытался вылезти, тогда парень из наших воткнул ему в грудь заточенную арматуру. И так всё время. Хочет из огня выбраться — длинный прут ему в грудь втыкается. В конце концов сгорел». Народ сидит у костра и хохочет. Я плюнул, ушёл. На улице Хагани, у парка двадцати шести комиссаров, двух женщин, мать-старуху и дочку, сожгли. Жуткое зрелище, своими глазами видел. На перекрёстке улицы Басина и проспекта Ленина из углового дома, левее аптеки, где магазин «Динамо», женщину с ребёнком из окна выбросили. То же самое — в нескольких десятках шагов оттуда, в кооперативном доме напротив русской церкви. Совсем седую, полуголую женщину тащили с балкона в комнату, она кричала, бедная, звала на помощь. Потом её и старика швырнули вниз. Одно и то же по всему городу, от центра до предместий. Что творится! То ли это советская страна, то ли Освенцим или Бухенвальд. Сколько уже дней армян режут без всякой жалости, грабят, насилюют, голыми гонят по улицам, разводят костры и сжигают. А где государство, Горбачёв, неужто Москва не видит этого?

— Почему не видит? Она же сама это и организовала, — возмутился Сиявуш. — Примаков, Язов, Бакатин, Гиренко здесь, сидят себе в ЦК, планы строят — как бы спасти режим. Человек абсолютно беззащитен перед государством. Государство может в любой момент устроить погром и резню, стереть в пыль не только отдельно взятого человека или группу людей, но и целый народ по национальному, религиозному, партийному либо какому-нибудь ещё признаку и позже квалифицировать это как организованные кем-то хулиганские выходки. Судить о законности в государстве нужно в первую очередь по тому, как защищена здесь личность и национальные меньшинства, — продолжал Сиявуш. — Если они не защищены, значит, это государство и его существование аморальны. Боевики народного фронта ворвались в Сальянские казармы, захватили оружие. Наверху ждут, пока они силой возьмут одно-два отделения милиции и райкома, и тогда уже

пустят в ход армию. И объяснят: войска, мол, введены для защиты армян, и тем самым дополнительно посеют в народе ненависть и вражду к армянам. — Сиявуш глубоко вздохнул. — Воистину, прав был Илья Эренбург, когда говорил, что чудовищна страна, где Каин и законодатель, и жандарм, и судья.

По дороге народнофронтовцы вместе с милиционерами проверяли машины. Пока доехали до аэропорта, нас остановили раз пять, но, всякий раз, увидев за рулём высокого ранга офицера в авиационном мундире, пропускали без проверки. В аэропорту машина замначальника управления беспрепятственно проехала прямо на лётное поле, в глубине которого стоял на взлётной полосе самолёт, а возле трапа теснился экипаж.

Здесь меня поджидала другая, не меньшая неожиданность. Оказалось, в Баку самолёт приземлился случайно, летел он из Ленинабада в Москву, но в силу какой-то технической неполадки совершил вынужденную посадку. А самое главное — командир воздушного судна и замначальника управления — старинные друзья, вместе учились в Воронежском лётном училище. Я от души поблагодарил замначальника, обнял Сиявуша. «Старик, всё будет хорошо», — со слезами на глазах сказал он. Я тоже не смог сдержать слёзы. В последний миг Сиявуш сунул мне в карман деньги: «Прости, взял из дому пятьдесят рублей, больше не было». Мы снова обнялись. Зармик помог мне подняться в самолёт. «Я тебе должен ещё кое-что сказать», — произнёс он, отчего-то пряча глаза.

— Что? — со странным беспокойством и внутренним страхом спросил я.

— Карину убили азербайджанцы, — глухо выговорил он.

— Да что ты!

— Да. Её за ноги стащили по лестнице с шестого этажа вниз, при этом голова билась о перила и ступени, и бросили в огонь. Саида, ваш бухгалтер, видела всё, ведь это происходило у неё на глазах. Она пыталась вмешаться, но её никто не слушал, наоборот, ударили два раза. Я сам видел, у неё почти не открывался глаз. Я отправился тебя разыскивать, меня попросила Рена. Она всё время плакала, была уверена, что с тобой что-то стряслось, потому что шёл уже шестой час. Она послала меня к тебе на квартиру, но туда уже вломились погромщики.

— Рена была там? — осипшим от волнения голосом спросил я.

— Да, — подтвердил Зармик. И, подняв на меня глаза и не отводя их, добавил: — Её тоже убили.

В первое мгновение до меня не дошло, что сказал Зармик. А потом... известие меня потрясло. Жизнь остановилась, замерла, дыхание перехватило, на лбу выступил холодный пот. Эти несколько секунд я стоял на краю пропасти, между минувшим и будущим. Я потерял себя.

— Что ты такое говоришь, Зармик?.. — Потрясённый, я не соображал, что делаю, и кулаком ударил его в грудь. — Что ты несёшь...

— Я не хотел тебе говорить это там... Саида рассказала мне всё. Случилось это у них на лестничной площадке. Один из бандитов, должно быть, их заводила, внезапно протянул руку и сорвал у Рены с шеи цепочку и кулон. В ярости Рена влепила подонку пощёчину, и тот, взбеленившись, приказал: «Яндырын!»³⁰. Со всех сторон посыпались удары, Саида заголосила, что девушка не армянка, азербайджанка, но её снова никто не слушал, да и сама Рена не говорила: я, мол, не армянка. Кто-то даже спросил её: «Ты азербайджанка?», и она, вся в крови, замотала головой: «Нееет». — «Раз она с ними, — кричал тот, — значит, одна из них. Она не азербайджанка! Она армянка! И с ней нужно поступать именно так: и бить, и насиловать, и сжечь...» Саида видела, как её, грубо колотя об стены, с воплями тащили на первый этаж. Её сожгли... Я не хотел тебе говорить это там...

Меня душил неотвязный спазм, удушье, как мучительная щекотка, то перехватывало, то вдруг отпускало горло, сердце болезненно сжималось от давящей тупой тяжести, меня охватывала слабость, и холод, ошеломительный холод одиночества расползался по душе...

Слева стояло здание аэропорта, там, за стеклянной стеной второго этажа, в белом платье стояла Рена с волосами, распущенными по плечам, и беспрестанно махала рукой в знак прощания. «Вечного прощания», — со скорбью и безмерной болью мелькнуло в голове, и нежданно мне припомнился звенящий золотом колокольчик её голоса: я сделаю, сделаю это, вот увидишь, уйду и не вернусь, если ты захочешь, и на глаза навернулись жгучие слёзы...

Зармик говорил так же глухо, голос его доходил до меня из дальнего далека. Потом я расслышал:

— Ну ладно, пойду, трап уже убирают.

Прозвучал тяжёлый хлопок закрывающейся двери. Немного погодя самолёт затрясло, потом он медленно заскользил по бетону, на миг остановился, снова затрясся, с грохотом помчался по взлётной полосе и разом оторвался от земли.

Всё внизу было мертво: море, голые леса, горы и ущелья, где неподвижно висела прозрачная дымка, сменяющие друг друга заснеженные пустынные равнины, немое, отливающее кровью солнце. В аэропорту «Домодедово» я прошёл на стоянку такси. Откуда ни возьмись объявился милиционер и, вскинув руку к козырьку, потребовал: «Ваши документы». Я попробовал объяснить ему, что чудом спасся в жутких бакинских погромах и документов у меня нет, а потом

³⁰ Яндырын — сжечь (азерб.).

продемонстрировал всё, чем богат, — те самые пятьдесят рублей, которые дал мне в последнюю минуту Сиявуш. Он взял деньги, повертел их в руке и сказал: «Добавь ещё хотя бы десятку, нас трое, поделим поровну». Я обернулся; поодаль стояли два милиционера, сытые, как и этот, крупные, высотой и толщиной что твой шкаф, и смотрели на нас.

— У меня ничего больше нет, — устало сказал я. — Вы же видите, я от смерти спасся.

— Так и быть, иди, — разрешил милиционер, забирая мои полсотни.

Я стоял униженный и оскорблённый и не знал, что делать.

— Ты куда едешь? — спросил кто-то.

Я повернулся на голос. Заговорил со мной кавказец среднего роста, с чёрными усами, из-под бровей сочувственно смотрели на меня глаза.

— Никуда, — сказал я. — Просто стою.

— Видел я, как мент захапал у тебя деньги. Так вот они и обирают народ. Поехали, — предложил он.

— Куда? Денег у меня нет.

— Знаю, что нет, — сказал он. — Не беда, поедem. Из Дагестана я. Я аварец, соотечественник Расула Гамзатова. Пустяки, в другой раз отдашь.

Открыв дверь, мама с недоумением взглянула на меня.

— Вам кого? — неуверенно и чуть испуганно спросила она.

— Это я, мама, — сказал я. — Не узнаёшь? — и попробовал улыбнуться.

— Вай, Боже, — вскрикнула мама. — Во что ты одет, где твоя одежда, что с тобой сделали? Боже, Боже, и волосы поседели. — Она с плачем упала мне на грудь. — В каком ты виде, мама родная, на кого ты похож... Уедem, уедem скорей, — сказала она. — Скроемся, пропадём, исчезнем из этой проклятой страны...

*Март — октябрь 1990,
Ленинград*

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Прежде чем беженцы-армяне, бросив дом, убитые горем и всеми покинутые, как гонимое оголодавшими дикими зверьми стадо, рассеются по всему миру — от холодной негостеприимной России до далёких американских штатов, — прежде чем те, кто не в силах окажется вынести бедствие и умрёт в дороге, а пыль забвения, как вечная беспросветная ночь, укроет их имена, как имена тех, чьи тела торопливо убрали с улиц и из домов Сумгаита и Баку, и они так и остались в списках без вести пропавших...

Прежде чем Демичев, по просьбе Багирова, прикажет командиру вошедших в Сумгаит подразделений Краеву не применять оружие против озверелых убийц и в считанных шагах от проходившей по городу бронетехники во дворе многоэтажного здания семидесятилетнюю Пирузу Мелкумян из деревни Гарнакар Мартакертского района на потеху свесившимся с балконов любопытным соседям заставят плясать голой, пока не воткнут в неё железный прут и её душераздирающий крик не послышится из дальнего далека, прежде чем ударом ножа рассекут живот беременной двадцатилетней Лолы Авакян, чтобы выиграть спор — мальчик или девочка, прежде чем грудного младенца убитой на троллейбусной остановке Вики Маркосян, обвязав ему шею ремнём, поволокут по улицам, прежде чем в квартире Ованнисянов на глазах лежавшего в крови мужа изнасилуют жену, а сыновьям, инженеру с учителем, прикажут совокупиться с собственной матерью и, отказавшихся, бросят их на глазах вытащенных на улицу отца с матерью в огонь... Прежде чем то же самое не проделают с Меджлумянами и то же, изнасиловав и зарезав целое семейство с родителями и детьми, — в квартире Мелкумянов по соседству с набитым солдатами общежитием, прежде чем их похоронят на бакинском кладбище «Волчьи ворота» в холодный и дождливый день под присмотром танков и русских солдат и одна из чудом уцелевших невесток, увидев стоявшую недалеко милицейскую машину, с глухими рыданиями скажет: это они, они всё сделали... И прежде чем выброшенные из армянских квартир вещи сожгут наскоро на городской свалке, а разгромленное жильё отремонтируют с той же поспешностью, чтобы скрыть следы погромов и чтобы Бог не увидел этих злодеяний и не сказал злодеям: коль скоро вы сотворили сие, то будете прокляты всеми скотами и полевыми тварями и поползёте на животе своём и будете пожирать землю во все дни жизни вашей... И прежде чем на заседании бюро ЦК, а на следующий день — на пленуме Муслимзаде перечислит одно за другим имена организаторов сумгаитской резни, а тот самый Катусев проигнорирует телеграмму участвовавших в заседании армян генеральному прокурору Теребилову, и прежде чем он сорвёт следствие, переправив часть дел в дальние города, но часть оставив таки в Сумгаите, прекрасно сознавая, что родственники убитых и пострадавшие не смогут отправиться в эти дальние города, тем более в Сумгаит, где были зверски замучены и сожжены в уличных кострах их родные и где живут все участники злодейств...

Прежде чем безнаказанных погромщиков провозгласят на бакинских митингах национальными героями, а Сумгаит — городом-героем, прежде чем спустя несколько месяцев после резни Москва, словно бы в пику армянам, признает Сумгаит победителем всесоюзного соцсоревнования за большие успехи по воспитанию молодёжи в коммунистическом духе, а Горбачёва, который так и не дал политической оценки резне в Сумгаите и даже не счёл нужным хотя бы двумя словами пособолеть родным невинным жертв, удостоят Нобелевской премии мира... И прежде чем с площади перед домом правительства, украшенной гигантскими портретами Атаюрка, Гейдара Алиева и героя сумгаитской резни Ахмада Ахмадова, пятидесятитысячная толпа, как зловещий чёрный поток, потечёт к домам армян и затеет массовые погромы в Баку, где снова сожжёт на кострах невинных людей, а на привокзальной площади займётся готовкой шашлыков из девушек-армянок, угощая ими прохожих, из многоэтажных зданий будут выбрасывать стариков — инвалидов войны и пожилых женщин, завладевая их квартирами, прежде чем сотрудники милиции, зверским образом изнасиловав Арфеню Хачиян из восьмого дома по улице Солнцева, утопят её в море, восьмидесятилетнего Георгия Шафирова с улицы Низами, двадцать три, забьют до смерти в подъезде его дома, а Софью Бадалян, девятилетняя от роду, Елену Ванеян, профессора Николая Давтяна и первого председателя Союза художников Азербайджана Шмавона Мангасарова, Героя Советского Союза полковника Гранта Авакяна, бывшего главного художника Бакинского армянского театра Арсена Ованнисяна и ещё многих и многих босыми и полураздетыми погонят по улицам, избивая, к последнему их пристанищу, прежде чем жену погибшего под Москвой Героя Советского Союза Ованнеса Даниэляна Саиду Аванесян на глазах у прикованного к постели сына-инвалида изнасилуют героини — боевики народного фронта, прежде чем в собственных квартирах зарежут Хачатура Григоряна и Германа Оганяна, Ивана Хачатурова и Лену Бадалян, мать и дочь Зарвард и Евгению Пашаян, задушат Григора Григоряна, а перед тем на его глазах целой оравой изнасилуют его дочь Нору, прежде чем в Баку случайно совершит посадку самолёт, летевший из Ашхабада в Ставрополь, и Валерия, сына карабахского собкора армяноязычной газеты «Коммунист» Манвела Ованнисяна, выволокут из самолёта, ограбят, будут, избивая днём и ночью, мучить три недели, благодаря деньгам и друзьям освободят из этого неопишемого ада, и тот, кое-как добравшись до Пятигорска, там уснёт вечным сном, прежде чем рядом с домом правительства в кооперативном писательском доме на глазах у сына-школьника, двух дочерей и жены-азербайджанки

Эльмиры Джавадовны Гусейновой замучат сотрудника газеты «Коммунист» поэта Аркадия Хачатряна родом из деревни Бадара Аскеранского района, а Рауфа Али-оглы Алескерова забьют ногами, требуя отказаться от матери-армянки, прежде чем с паромов по пути в Красноводск сбросят в море изнасилованных женщин и девушек, прежде чем бывшему командиру партизанского соединения Арутюну Сагумяну выколуют глаза, чтоб он больше не смотрел на Альят, где покоились его родные, убитые в резне 1918-го, и выкинут его с восьмого этажа, прежде чем пятнадцать-двадцать погромщиков от четырнадцати до шестидесяти лет изнасилуют заслуженную журналистку Нору Багдасарян, а сын публициста Хорена Боджикяна будет четвертован на глазах русской жены, детей и отца, которому накажут навсегда запомнить это... И прежде чем без движения стоявшие вблизи Баку войска с недельным опозданием войдут в город якобы спасать армян... Прежде чем против этих войск выплывет неисчислимая свора зверей-людоедов, беззащитных армян, привязанных друг к другу, погонят навстречу танкам и сзади мерзко будут стрелять по танкам, провоцируя на ответный огонь по невинным людям, прежде чем из неисчислимой этой своры сорок девять будут уничтожены, и словно бы нарочно оскорбляя память тысяч невинных армян и десятка убитых русских солдат, этих убийц и людоедов объявят святыми мучениками и с превеликими почестями похоронят на холмах Парка имени Кирова — некогда христианском армяно-русском кладбище, и прежде чем советские спецназовцы обнаружат колодец, набитый трупами русских и армян, а вандалы варварски не закатают под асфальт все армяно-русское кладбище Баку, а надгробные памятники усопших не переделают на бордюры тротуаров улиц города и облицовку станций метро...

Прежде чем солдаты генерала Макашова начнут избивать армян-пассажиров в аэропорту «Звартноц», прежде чем советские каратели разорят армянские города и деревни на границе с Азербайджаном, стремясь втянуть Армению в карабахское противостояние, прежде чем Гейдар Алиев при поддержке народного фронта, турецкой террористической структуры «Серые волки», своих московских единомышленников и в союзе с Эльчибеем и героем карабахской войны Суретом Гусейновым из родного Нахичевана победным маршем вернётся в Баку, чтобы выгнать президента Абульфаза Гадиргулы Алиева-Боюкбея-Эльчибея в деревню Келеки далёкого Ордубадского района, в прошлом покинутый армянами городок Кахакик³¹, а Сурета Гусейнова водворить в Гобыстанскую тюрьму близ Баку... Прежде чем на многолюдном митинге в Сумгаите Алиев поинтересуется: «Бяс ханы бизим Хыдыр?»³², и жёгший на кострах беззащитных армян Хыдыр Алоев, собственно, поэт и директор школы Хыдыр Алоев-Аловлы, выйдя из толпы уже без лайкового плаща, бороды и чёрных очков, улыбающийся, гордый и счастливый пойдёт навстречу пейгамбару³³, и пейгамбар тепло обнимет его, похлопает по спине и назначит главой городской исполнительной власти Сумгаита и депутатом милли меджлиса... Прежде чем незадолго до своего ареста министр нацбезопасности Азербайджана Вагиф Гусейнов, намекая на некоторых политических деятелей из Народного фронта республики, заявит, что январские события 1990 года в Баку и события в Ходжалу — это дело рук одних и тех же людей, а бывший главный прокурор Азербайджана Ильяс Исмаилов объявит с трибуны милли меджлиса, что организаторы сумгаитского и бакинского погромов сидят сегодня в этом зале с мандатами, удостоверяющими их парламентскую неприкосновенность, а всем известный Джордж Сорос в своей книге «Концепция Горбачёва» отметит, что не так уж оторваны от реальности предположения, что первые армянские погромы в Азербайджане были инспирированы местной мафией, управляемой бывшим руководителем КГБ Азербайджана Гейдаром Алиевым, чтобы создать тупиковую ситуацию для Горбачева и чтобы, разумеется, снова взять власть в свои руки, чего он и достиг, в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других местах во имя власти и славы, беспощадно проливая кровь тысяч невинных талышей, лезгин, аварцев, парсийцев и турок-мехетинцев, не щадя даже своих соотечественников в самом Ходжалу и пригороде Агдама... Прежде чем всплывёт правда о том же Ходжалу — что не армяне, а боевики азербайджанского народного фронта на собственной территории, в нескольких сотнях метров от Агдама открыли огонь по мирным людям, а затем, под эгидой одного из руководителей Народного фронта Азербайджана Тамерлана Караева, уродовали трупы топорами и сдирали с них кожу и фиксировали всё это на плёнку, чтобы продемонстрировать в милли меджлисе и скинуть с поста первого президента страны Аяза Муталибова, о чём поведал сам Муталибов в интервью чешской журналистке Дане Мазаловой, прежде чем азербайджанские журналисты Эльдар Гусейнов, Али Якуб, Рафик Таги, Чингиз Мустафаев и Аждар Ханбабаев станут жертвами правды, а десятки людей на долгие годы попадут в тюрьму, в том числе и широко известный Эйнулла Фатуллаев за свой «Карабахский дневник», прежде чем, вкладывая в это миллионы, азербайджанцы растреляют по всему миру фальшивую историю про Ходжалу, чтобы свалить на армян собственное преступление... И прежде чем по инициативе командира квартировавшей в Кировабаде 23-й мотострелковой дивизии Советской армии генерал-майора Александра Будейкина и при участии азербайджанского ОМОНа советские каратели в сопровождении танков начнут чудовищную операцию «Кольцо» — акт государственного терроризма против мирного населения — пятидесяти армянских сел Северного Карабаха, изгоняя армян из всех населённых пунктов Шаумянского района и десятков сел Мартакерта, сровняют с землёй деревню Вагуас и, не щадя ни стариков, ни детей, истребят жителей Мараги, а всех

³¹ Кахакик — букв.: городок (*арм.*).

³² Бяс ханы бизим Хыдыр? — А где наш Хыдыр? (*азерб.*).

³³ Пейгамбар — пророк (*азерб.*).

прочих отправят за решётку, где они будут ежедневно подвергаться пыткам, а многие бесследно пропадут, и прежде чем обуреваемая традиционной манией грабить, и насиловать, и захватывать в домах армян всё, что те нажили, дикая толпа с идущими следом армейскими танками ворвётся в эти селения и с ликующим рыком кинется врассыпную хватать армянское добро... Прежде чем достойный наследник таких армяноненавистников, как Григорий Голицын, великий князь Николай, Лобанов-Ростовский и ничтожный Величко, кровожадный палач Владислав Сафонов набьёт тюрьмы мирным населением взятого в кольцо блокады Карабаха, прежде чем в маленьком аэропорту Ходжаллу, близ Степанакерта, пассажиров-армян начнут ежедневно избивать и всячески унижать, прежде чем доверенный советник Бабрака Кармаля и Наджибуллы Виктор Петрович Поляничко, этот Талаат-паша наших дней, возглавив разбойничьи банды, разрушив тысячелетние армянские селения Мартакерта, Гадрута, Шаумяна, Бердадзора и Геташена, примется давить их население гусеницами танков, сдирать скальпы с мужчин, а юных девушек на глазах их утопающих в крови родителей дарить своим друзьям из народного фронта, прежде чем, должно быть, именно за это вельзевул Горбачёв телеграммой поздравит с днём рождения это чудовище и удостоит его звания героя, а семерых его сподвижников — убийц из ОМОН МВД Азербайджанской ССР наградит орденом Красной Звезды, и прежде чем на осаждённый Степанакерт обрушится ни днём, ни ночью неиссякаемая лавина снарядов...

Прежде чем Орудж Идаятов за заслуги в организации театрализованных постановок в Сумгаите станет помощником Гейдара Алиева по национальным вопросам, прежде чем спасителя сотен армян посёлка Хутор в Баку Алёшу Арменаковича Агабекяна родом из деревни Гюрджеван Ахсуйского района по доносу одного из таких как Геворг Атаджанян и Роберт Аракелов бросят в тюрьму города Кировакана, ожидая, что, как обещал прокурор Армении Владимир Назарян своему азербайджанскому коллеге Исмаилову, его скоро отправят по этапу на растерзание в Баку, прежде чем его старший сын Арег рукой одного из армян, нанятых друзьями Фазиля Исмаилова, будет убит в окрестностях ереванской площади Ленина, в сыром закутке недостроенного дома в Арташатском районе умрёт его жена Нина, и, не выдержав огромного этого горя, умрёт и сам Алёша Агабекян — забытый и покинутый миром и людьми, прежде чем Геворг Атаджанян доберётся до Еревана, расскажет о том, какой он храбрец, и герой, и невинный страдалец, и поступит на работу в Союз писателей Армении литературным консультантом и будет бесплатно жить в одной из гостиниц за счёт Союза писателей, а его ближайший дружок и подельник Роберт Аракелов, опять же как армянин-страдалец, будет разгуливать по Еревану и ещё целый год по Карабаху, а позже в одном самолёте с Поляничко и Сафоновым сбежит в Баку, где мученически погибли девять тысяч армян, и сочинит против армян клеветнические книжки; прежде чем Александр Катусев покончит самоубийством, а Поляничко и герой СМЕРШа Зия Бунятов лягут в землю от пули мстителя — один в горах Осетии, другой — на пороге своего дома... И прежде чем героический и долготерпеливый Карабах, теряя надежду и веру в человеческую справедливость, зарычит от ярости и двинется насмерть биться с супостатом за свободу родного края, как некогда Сасун и Васпуракан, как Мусалер и Сардарпат, сожмёт кулаки, восстанет и ценой жизни шести тысяч лучших, отважнейших своих сынов подавит все огневые точки врага и высвободит из плена священную свою землю, а привыкшее сражаться в Сумгаите и Баку с несчастными стариками и беспомощными старухами стотысячное воинство всяких там асадовых, сто тысяч вояк и в их числе пакистанцы, свыше трёх тысяч афганских моджахедов исламистской террористической организации Афганистана, возглавляемой Гульбеддином Хекматияром, турки, украинцы и чеченские наёмники во главе с Шамилем Басаевым, Гелаевым, Хаттабом и Салманом Радуевым, предвидя крах, в ужасе драпанут из Карабаха без оглядки в Баку, и за блистательное это бегство сто тринадцать человек удостоятся звания национального героя Азербайджана... И прежде чем истерзанная многострадальная арцахская земля сызнова вздохнёт и расцветёт, а на мирных отчих полях опять зазвучит древний и бессмертный дедовский оровел³⁴...

Итак... прежде чем беженцы-армяне, храня в душе светлый и прозрачный образ любимого, мало-помалу отдаляющегося берега, где у них были кров и родина, как голодное, гонимое хищниками стадо, рассеются по миру от холодной негостеприимной России до далёких Юты, Мичигана, Торонто и Род-Айленда, и прежде чем те, кто, не в силах перенести лишения и бедствия, покончат с собой или умрут в дороге от голода, холода, неисцелённых ран и болезней, и пыль забвения, словно вечная ночь, тьмой безвестности покроет святые их имена, случилась эта вот история — как гимн и реквием любви и самосожжению...

³⁴ Оровел — песня пахаря (*арм.*).

«Отдаляющийся берег» — подлинная история. И то, что повествование в книге ведётся от первого лица, не случайно — это история моей исковерканной жизни, история каждого из моих несчастных собеседников, потому что автор от их имени говорит о безвестных муках и оборванных мечтах.

Рассказывая о душевной боли Леонида Гурунца — большого неповторимого человека и преданного патриота, — я хотел ещё раз обнажить причину, породившую гнев Карабаха, — армяноненавистническую разнузданность Азербайджана. По словам Гурунца, всё, о чём он так страстно говорил, уже давно им написано, но не напечатано, и, как он повторял, мало надежды, что когда-нибудь удастся напечатать. Не знаю, смог ли Леонид Караханович опубликовать эти истории. Если нет, пусть они воспринимаются как дань уважения и любви его бессмертной памяти. Я приношу глубокую благодарность двадцатидвухлетней Марине Ованнисян, с которой мы встретились тогда в Будённовске; рассказывая, она заново пережила чудовищный сумгаитский кошмар, когда в день рождения нелюди на глазах истерзанного отца скотски изнасиловали мать, младших сестёр и её. Я благодарен Эмме Саргсян; убитая горем, она беспрерывно рассказывала, как сожгли её мужа, плакала и продолжала повторять, что после его смерти ей незачем жить... Выражаю свою признательность моему дальнему родственнику Бармену Бедяну за его рассказ в те дни в здании горкома. Обезображенный побоями, со страшными синяками на лице, он сквозь слёзы, показывая свои мозолистые руки строителя, говорил, что возвёл в Сумгаите десятки жилых домов и что сотрудники милиции схватили его и сдали толпе убийц.

Этой книгой автор обязан очень и очень многим, в том числе и Вильяму Русяну с проспекта Ленина, 32, в Баку. Он говорил: те, кто не смог ускользнуть от озверелой своры, ничего уже не расскажут, кое-что способны рассказать лишь те, кто чудом уцелел в том аду. И я уговорил его записать, обязательно записать эти свидетельства.

Выживший после массовых бакинских убийств, которые начались тринадцатого января, он своим достоверным рассказом очевидца помог воссоздать подлинную картину той страшной резни.

Вечная память безымянным мученикам!

Вечная слава выжившим страдальцам!

=====